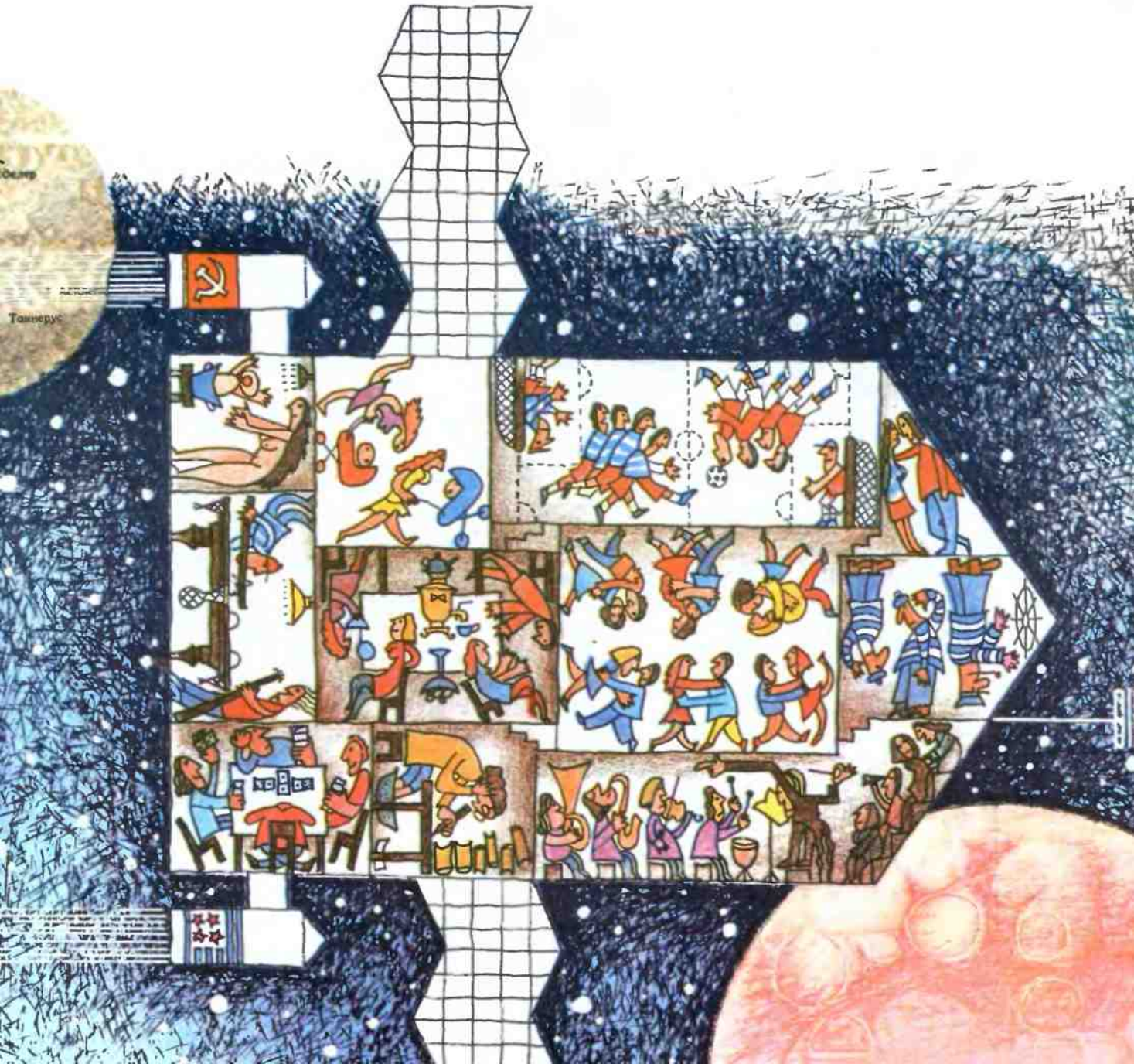
ISSN 0132-2036

ЮНОСТЬ

4 '88



**В. И. Ленин во дворе Кремля
на прогулке по выздоровлении после ранения.
1918 г., 16 октября.**

*Фрагмент кинокадра.
Операторы: А. Винклер, А. Левицкий.*

ЮНОСТЬ

4 (395) '88

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1955 ГОДУ

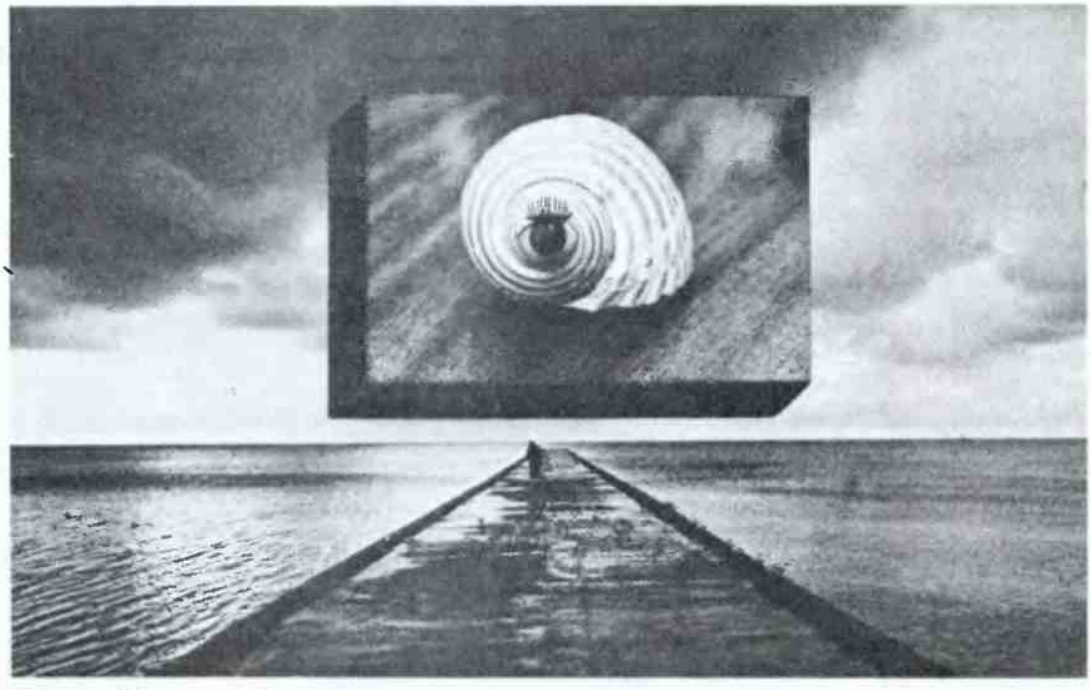
Главный редактор
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Редакционная коллегия:
Анатолий АЛЕКСИН
Владимир АМЛИНСКИЙ
Борис ВАСИЛЬЕВ
Юрий ЗЕРЧАНИНОВ
Натан ЗЛОТНИКОВ
Фазиль ИСКАНДЕР
Римма КАЗАКОВА
Кирилл КОВАЛЬДЖИ
Виктор ЛИПАТОВ
(заместитель главного редактора)
Игорь ОБРОСОВ
Мария ОЗЕРОВА
Виктор РОЗОВ
Юрий САДОВНИКОВ
(ответственный секретарь)
Александр СЕРЕБРОВ
Евгений СИДОРОВ
Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ

Издательство ЦК КПСС «Правда»
Москва

«ЮНОСТЬ» в 1988 году

Читайте в последующих номерах:
роман братьев Стругацких «Отягощенные злом, или 40 лет спустя»;
рассказы Андрея Платонова;
«Колымские рассказы» Варлама Шаламова;
«Университетскую поэму» Владимира Набокова;
стихи и эссе Максимилиана Волошина и неопубликованные произведения Саши Черного;
«Дело» Михаила Зощенко в документах, фактах, комментариях;
стихи Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко, Владимира Корнилова, Норайра Багдасаряна, Мамеда Исмаила, Отара Чиладзе;
повесть Владимира Амлинского «В марте 1953-го»;
новую повесть Даниила Гранина;
продолжение повести Андрея Битова «Преподаватель симметрии»;
документальную повесть Юрия Щербака «Чернобыль» (вторая часть);
автобиографическую повесть Михаила Жванецкого;
роман Энна Ветемаа «Пришелец»;
фантастический роман Альфреда Бестера «Тигр! Тигр! Тигр!»;
фантастическую повесть Кира Булычева «Многоуважаемый микроб»;
сатирическую повесть Феликса Кривина «Упрагор»;
под рубрикой «Испытательный стенд» стихи и рассказы молодых поэтов и прозаиков.



Журнал «Юность» объявляет конкурс фантастического и приключенческого рассказа. Рукописи принимаются до конца года. Лучшие рассказы будут опубликованы в журнале в 1989 году.

Объем — не свыше 2 п. л., то есть не больше 48 страниц на машинке. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

В составе жюри — писатели, критики В. Бабенко, В. Бакланов, Кир Булычев, Е. Войскунский, С. Гансовский, Э. Геворкян, В. Гопман, А. Илецкий, В. Михайлов, В. Покровский, В. Ревич.

20 КОМНАТА

ЗАСЕДАНИЕ ПЯТНАДЦАТОЕ

Здравствуй, как живешь?

Операция «периферия»

— Касимов? Это где? — Да ты что, не знаешь Касимова? Он Москве ровесник. — Хороший город? — Красивый. А вообще провинция... — Что там за молодежь? — Обычная провинциальная...

Стоп! Вот и тема: какая это такая — «провинциальная»? Чем живут наши ровесники в сотнях этих маленьких городков, раскиданных по всей стране? Если, скажем, взять да подсчитать с карандашом в руке — так выйдет, что молодежи живет в них куда больше, чем во всех крупных городах, вместе взятых. А что мы знаем об этой молодежи? Да и о ней ли мы говорим, когда строго судим неформалов, ломаем копья вокруг рока, спорим о «высших духовных ценностях» в молодежной среде? Получается, что говорим мы в основном-то о молодежи городской да сельской. А что между?

«Между» — периферия. Та самая, пресловутая.

— Ну что, едем?

— Решено: едем!

г. Касимов декабрь 1987г.

Пятнадцатое (выездное) заседание «20-й комнаты» произошло в городе Касимове Рязанской области. Расстояние от Москвы — 292 километра.

Нет ничего хуже, когда посторонние люди приедут в твой родной город и давай судить, рядить о достоинствах и недостатках. Заедут накоротко, бросят беглый взгляд, поговорят со случайными встречными, заглянут в какие-нибудь нелицеприятные закоулки и, удовлетворившись такими поверхностными знаниями, отправятся восвояси вершить свои щелкоперские дела, — потом в таком свете увидишь собственный город, что и стыдно станет в нем жить.

Поэтому о Касимове у нас будут говорить сами касимовцы. В тот же день мы обратились по местному радио к молодежи города, прямо в сверстанный номер районной газеты (спасибо газетчикам!) дали объявление о встрече молодежи с «20-й комнатой» и у подъезда Дома культуры повесили афишу.

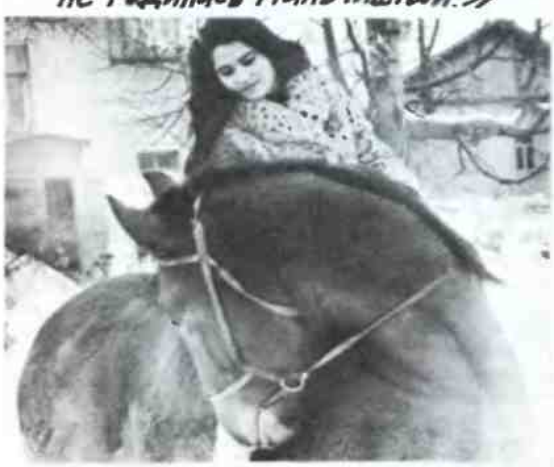
Пришло много горячих и бойких на слово молодых людей. Микрофон так и переходил из рук в руки, не остывая.

Потом уже, записав адреса, откликнувшись почти на все приглашения в гости, пожив в городе недельку, побывав на заводах, в школах, в училищах, на фабриках, в библиотеках и книжных магазинах, на дискотеках и в «тайных» подвалах, мы разобрались, что на той шумной встрече в Доме культуры собрались молодые люди, горячо любящие свой город. Их мы пригласили на наше заседание сегодня.

И, выбирая из монологов самое существенное, мы предлагаем нашему читателю начать разговор на тему довольно серьезную и трудную — о молодежной жизни в малых городах. Давайте вчитаемся в эти монологи: так ли уж тут одни касимовские проблемы?..

Евгений Перевозчиков: «Я верю в успех перестройки»

«Атаманша» — Лариса Ковалева: «Жалею, что не родилась мальчишкой.»



«По-человечески!»

Евгений **ПЕРЕВОЗЧИКОВ,**
рабочий, депутат городского Совета народных депутатов, 29 лет.

Люблю Касимов. Люблю здесь все, кроме нашего руководства. Говорю не о «верхушке», а о начальниках всех уровней. Жизнь по-прежнему бросает, как на весы, на одну чашу — попытки моего доброго отношения к ним, а на другую — все новые и новые примеры формализма и круговой поруки. Кто-то машинами ворует — и ничего. Попался бы на таком деле какой-нибудь работяга, не сомневайтесь — впаяли бы на полную катушку. Народу лишь удивляться осталось: как можно так? Значит, можно. Срабатывает даже не «звонок сверху», а «закон круговой поруки»: «ты — мне, я — тебе». Заведующая столовой, например, может достать все, что угодно, потому что и другие хотят от нее что-нибудь получить. Впрочем, не «что-нибудь», а продукты.

В городе свой мясокомбинат, молокозавод, пищекомбинат, а в магазинах ни мяса, ни колбасы, ни масла. Я имею в виду по человеческим ценам, а не по живодерным. Бутерброд с маслом по червонцу за килограмм и в горло не полезет. Куда продукты деваются? Часть в общепит идет, часть в торг. Пытаюсь узнать, куда из торга пропадают, мне солидно отвечают: вот это через магазин пошло, и это вот — через другой. А на прилавках — шаром покати. Загадка! Посмотрите любой автобус в Москву: две трети пассажиров, считай, за продуктами. Со своих предприятий мы продукты в Москву отправляем в «республиканский фонд» так называемый, а касимовцы их обратно из Москвы в своих сумках везут. Неужели так трудно разобраться, сколько в городе колбасы надо оставить, чтобы люди с междугородными авоськами не мучились! Тут и ЭВМ не надо для такой арифметики, в полчаса на счетах можно прикинуть. Но для начальства нашего, видимо, лучше родной город на голодном пайке оставить, чем цифра в отчете не сойдется. Хочу на моем заводе «Зооветоборудование» стол заказов сделать, чтоб обеспечить рабочих мясом и колбасой, пробиваю — но мертво стоят, пока результатов нет.

Много говорим мы сейчас о социальной справедливости... Чего проще доказать ее рабочему человеку справедливым распределением квартир. Каждый год сорок квартир на заводе распределяют. Кому, как, за что? — рабочим неизвестно. Пытался списки очереди найти — безуспешно. А почему квартиры не через цеха распределять? Мы тут работаем, знаем друг друга, видим, кому действительно жилье нужно, а кто его на какого-то дядю Васю получает. Спрашиваю в профкоме: «Почему вы этим занимаетесь, а не мы? Нам же сподручнее!» Насупились. Молчат. Да и что они могут сказать? Я на заводе десять лет работаю, все их уловки знаю. Война-то с руководством у меня давно идет.

Началось с тех пор, когда меня поставили «Комсомольским прожектором» руководить. Поставили — значит, дело надо делать. Посмотрел: лесоцех в ужасном состоянии, людей там зимой буквально травят ядовитым паром, что от сушилки идет. Растворный цех вообще на ладан дышит. Зимой — не то цех, не то холодильник. Я докладные директору писал, разговоры с руководством технического отдела вел — ну, никакого результата! Тут собрание отчетное, я встал и сказал: так и так, мол, не буду больше свое время гробить, мер начальство все равно не принимает. Такой вой начался: «А мы ничего не знали. А Перевозчиков нам ничего не говорил! И вообще он всю работу завалил!» — и опять поставили «Комсомольским прожектором» руководить. «Ах, вы ничего не знали? — думаю.— Ну, погодите!» Теперь рейд проведу, а акты тут же начальству: распишитесь, дорогие мои, что, дескать, ознакомлены с результатами рейда. Кое-что, конечно, получше стало, но многие пункты в моей сегодняшней депутатской работе еще с тех рейдов остались. Не отрекаться же.

С профкомом у меня война тоже по многим пунктам идет. Ну, например, огороды. У кого-то полно земли, у кого-то — ничего. Получается, кто больше ухватит, тот и прав. Я председателю профкома Гуськову говорю: «Давайте площади перераспределять». А Гуськов: «Я этими вещами заниматься не буду». Оно понятно: социальная справедливость — дело важное, особенно для роста авторитета профсоюза, только вдруг в борьбе за нее не с тем конфликтуешь. Думаю, мы все равно перераспределение участков проведем.

Но самая капитальная война идет у меня с начальством относительно досуга молодежи. Лет пятнадцать назад клуб у нас на Сиверке был — шашки, шахматы, бильярд, кино. Потом прикрыли его под предлогом, что «кресла режут». С тех пор все остановки, все стройки, все овраги — наши, молодежные. Собираются на автобусной остановке — и, что делать? — морды бить или водку пить? Куда только ни обращались. Давайте обратим внимание на молодых! После этого разговор у нас с директором завода, говорит: «Делайте, что хотите!» Решили танцплощадку делать. Сделали. Но вот зима — опять нечем заняться. Решили клуб соорудить в старой котельной. Директор опять: давайте! Котлы разобрали, помещение очистили. Потом мытарства начались со строительными делами. Помогать-то нам никто не рвался. Ребята, правда, старались. До утра в клубе сидели, уходили перемазанные, как чертенята, одни зубы блестят. Матери прибегали:

«Что ж ты, Женя, издеваешься над нами, что ли? Чем ты детей наших приманиваешь? Медом, что ль, полы натираешь?» А я тут шахматы, теннис поставил. Хочешь — работай, хочешь — играй. Кончили стройку — надо клуб кому-то на баланс передавать. И человека найти, который за 60 рублей станет здесь вечерами работать. Человека-то я нашел, а вот из-за 60 рублей такая каша заварилась!

Директор говорит: «Давайте дежурство на общественных началах будет». Я в ответ: «Пожалуйста!», и составляю список, себя туда записываю и ребят наших, а первыми ставлю фамилии секретаря парткома, председателя профкома. Директор прочитал: «Нет, на общественных началах не надо». «Хорошо, давайте тогда дежурство за отгулы будет». А директор: «Ох, и хитрый ты, Перевозчиков! Обмануть меня хочешь, старого дурака,— по три месяца гулять собираешься». Ну нет, так нет. Тут подвернулись ребята из дискотеки, им здание и передали. Так что строили клуб, а вышло — дискотека. Правда, самая лучшая в городе была. А по весне комиссия приехала, и дело прикрыли, так как вроде, по их расчетам, ребята из дискотеки получают больше, чем надо.

На заводе еще один депутат есть — директор наш, он уж много лет депутат. Толку от его депутатства нельзя сказать, что слишком много: все больше со мной воюет. Ну, а меня, с какой стороны ни кусай, съесть трудно, потому что работу свою я выполняю, куда больше, чем от и до. Если уж раньше не смогли, то теперь и подавно не смогут. Ибо перестройка, я убежден, льет воду на мою, а не на их мельницу.

Я верю в успех перестройки. Но больше власти надо рабочим давать, потому что рабочий класс всегда был и есть перестроившийся. До рабочих мест перестройка уже дошла, а начальство перестроить сложнее. Я так считаю: ввести бы выборную систему, половина руководителей своих теплых мест лишилась бы.

Считаю, что на своем месте сейчас нахожусь. Звали меня на комсомольскую работу, но терпеть не могу бумажную карусель. А тут работа живая, с людьми, мне и горком комсомола помогает, и горисполком — не все ведь начальство из одного блина выкроено.

Люблю Касимов. И поэтому не люблю, когда наплевательски относятся к моему городу. Вот, скажем, кабель прокладывали. Профессионалы приехали, распатронили все и уехали. А убирать кому? Кому по грязи топать? Касимовцам? А посмотрите на асфальт наш: его же прямо на снег клали. Он по весне пузырями пошел. Я тут предлагаю запретить по поселку движение большегрузных автомобилей, чтоб, во-первых, дороги не портить, они у нас и так плохие, а во-вторых, чтоб зря машины не гоняли. А то едут на КамАЗе или КрАЗе в детский садик за пацанами. А около детсада надо вообще движение автомобилей прекратить. Переход и так узкий, а тут еще техника снует. И эти вопросы я в горисполкоме поднимаю. К слову сказать, горисполком за этот год столько сделал, сколько за последние десять не делал. Улицы стали чище, за памятники архитектуры взялись...

Так что будем надеяться: вперед идет провинция. Трудно идет, медленно ноги переставляет, но вперед. И труднее всего будет преодолеть куркулизм в людях. Отчего люди в куркулей превращаются — ума не приложу. Пока неженатый — боец, а потом запрется дома и высиживает. Чего высиживает, неизвестно.

Цель жизни? Да, цель жизни у меня одна — с людьми жить по-человечески. Я же один вырос. Мать с отцом рано померли. Отец — когда я еще в четвертом классе учился. А мать, когда мне пятнадцать лет было — довели ее бюрократы разные. Судите сами: мать взялась дом ремонтировать, пришла бригада из рембытуправления. Так после их «ремонта» дом набок стал кренится — из хорошего плохой сделался. Мать по инстанциям ходила, жаловалась, умоляла, чтоб помогли ей. Где б мы еще денег на ремонт взяли? Зарплата-то у нее шестьдесят рублей была плюс пенсия за отца. А все эти начальники смотрят на нее, головой кивают и культурно выпроваживают. Мать ходила, ходила и не выдержала... Сестры у нас уже взрослые были, замужем, они двух братьев к себе взяли, а я отказался и остался в доме один жить. В ПТУ учился, потом на завод пришел. Я так считаю: вырастили меня соседи да добрые люди. Сейчас они уж все пенсионеры, старые стали... Пусть хоть на тридцать процентов жизнь у них лучше сделается — буду считать, что не зря на свете жил.

— Спасибо, Женя! Наверное, непросто жить человеку, воюющему со всеми сразу?

— Почему? Нормально жить. Я же не один. Вот если не буду воевать, тогда, наверное, один и останусь.

Для того, чтобы было понятнее, в каком городе живет и «воюет» Евгений Перевозчиков, коротко познакомим с Касимовом.

Типичный районный городок. Мужского населения на три тысячи меньше, чем женского. Четыре тысячи детей до 16-ти. Семь тысяч учащихся и шесть тысяч пенсионеров. Средний возраст горожан 35 лет. Причем женщины в Касимове живут гораздо дольше мужчин.

Касимовский район — самый крупный в Рязанской области. Благодаря тому, что в районе находятся три действующих карьера, практически все дороги заасфальтированы и можно доехать до любой дальней деревни.

Крупное предприятие — фабрика «Красный текстильщик», выпускающая сети и рыболовную оснастку. Завод «Холодмаш», изготавливающий промышленные холодильники, довольно молод, ему 20 лет. На десяток лет старше завод «Зооветоборудование», где работает Перевозчиков. На его заводе числится полторы сотни комсомольцев. Еще в городе есть механический и судоремонтный заводы. И очень хорошая овчинно-меховая фабрика, которая шьет дубленки. Куда деваются дубленки, узнать не удалось. На прилавках Касимова их нет. Удалось одну дубленку обнаружить под стеклом в краеведческом музее в зале современного периода...

Учатся здесь в индустриальном техникуме, педагогическом и медицинском училищах, трех профтехучилищах и семи школах. Есть еще спортшкола, станция юных техников, художественная школа и две музыкальные школы, одна из которых знаменита настолько, что сюда приезжают играть музыканты с мировыми именами.

В городе «сухой закон». Магазинов, торгующих вином, нет. Но мы провели журналистский эксперимент: достать бутылку самогона в незнакомом городе оказалось делом десяти минут. Но в основном едут за вином и водкой в соседнюю Владимирскую область. Летом по Оке на «Ракете». Закупают ящиками. А раз деньги оседают у соседей, то винно-водочная брешь в бюджете становится еще больше.

Кинотеатр — не очень опрятный и с фильмами далеко не первой свежести. Дом культуры, в котором есть поющий директор, несколько студий и кружков, а еще народный театр, тлеющий творческими замыслами. В двух шагах от горкома — клуб «Строитель». Афиша приглашает на дискотеку. Дискотека насквозь самодельная. Цветомузыка — мигающие лампы, вставленные в старые кинескопы. Двое ребят колотят в такт по пластинам выключателей на самодельном пульте. Денег у клуба практически нет, на год выделяется смехотворная сумма — полторы тысячи рублей. Городской отдел культуры не помогает абсолютно. Директор клуба Анатолий Путилин, на чьем энтузиазме все держится, говорит: «Впервые за девять лет сюда зашел из комсомола новый второй секретарь Николай Лоханов. Старается помочь».

Пятнадцать лет назад в клубе на танцах играло трио: кларнет, баян, ударник. Народу было не пробиться. Сейчас интерес к дискотекам резко падает. Идут, потому что «больше некуда». В самом клубе всего два помещения — комната и зал. Вторую комнату занял районный отдел культуры.

Ведущий дискотеки кричит в микрофон: «Кто узнает ансамбль, который исполняет эту песню?» Потом, пока меняются кассеты на магнитофоне: «Кто сможет больше всего рассказать об ансамбле «Машина времени», получает приз нашей дискотеки»... И снова музыка. На сцену кладут лист фанеры. Олег Фадеев опускает на глаза узкие брейковские очки, медленно натягивает перчатки. Восторженные девочки толпятся у самой сцены. Начинается узнаваемый ритм. Олег — самый известный в Касимове брейкер. Танцует он вполне классно. Крутится волчком на листе фанеры. На лицах — зависть.

А пока девочки смотрят на танцующего Фадеева, мы присмотримся к ним...

Блеск и нищета провинциалок

Касимовские девушки считают, что они выглядят хорошо. Причесываться предпочитают дома. Маникюр в парикмахерских не делают. Шьют и вяжут сами. И приезжих одевают. На местной барахолке по воскресеньям и четвергам можно купить вязаные платки и варежки, и даже дубленки.

В магазинах то, что нужно, не сыщешь.

Касимовский ЦУМ

— В универмаге из одежды ничего не покупаю,— говорит Лариса Александрова.— За обновками еду в Москву. Даже если у нас появятся хорошие вещи, все равно не куплю — не выношу инкубатор. Иногда завезут что-нибудь, а потом весь город ходит, как под одну гребенку.

Ларисе — семнадцать. Работает продавщицей. Слывет «модницей».

— Как сделать так, чтобы можно было хорошо одеваться, не выезжая за пределы Касимова?

— Наверное, не заваливать магазины одинаковыми вещами.

Дискотека

Темнота. Мечется по экранам самодельная цветомузыка. Душно. Танцуют прямо в шубах, куртках, дубленках, зажав под мышкой шапки и платки. В углу несколько пальто свалены в кучу. Стоит ли примерять для этого «бала» наряды? Зато косметику здесь не жалеют. Кладут краску густо, как масло на бутерброд. Блестят тени, тушь, помада, качаются клипсы. Лиц не различишь.

Но все-таки девушки, одетые со вкусом, встречаются часто.

— Как деньги появятся, так сразу в столицу,— смеются они.— Так что одеваемся не хуже, чем в Москве.

Можно неплохо поесть в гостиничном ресторане Касимова, где добродушные и словоохотливые тетечки-официантки подадут вам блюда с любовно придуманными названиями: мясо «Нежность», рыба «Фантазия». Впрочем, страсть касимовцев к таким названиям неистребима, даже клуб любителей бега зовут тут «Надеждой». По вечерам в ресторане продают пиво. Мужчины выносят трехлитровые банки, с которых ветер клочьями сдувает пену.

Среди приезжих в почете и кафе «Сказка». Поварихой там Наташа Носова. Ей всего семнадцать.

— У нас обедают студентки из медучилища, педучилища, техникума,— рассказывает Наташа.— Как им готовить дома, если нигде ничего не купишь. Продукты идут по блату. Не знаю, что бы ели мы в семье, если бы не сад и огород.

— А просто где-нибудь посидеть? Поговорить, выпить кофе... Есть такое в городе?

— Нет. Открыли молодежное кафе, а кормят, как в обычной столовой. Ни мороженого тебе, ни коктейля.

Тут в разговор вмешалась бабушка Клава, бросив на поднос груду ложек и вилок:

— Касимовские девки, корми их не корми, все равно и пьют, и курят. Хорошей девушке, если она этого не умеет, и из дому вечером не выйти, и на танцах не появиться. Значит, и жениха не сыскать. Была бы вся молодежь, как наша Натулька, тогда бы и помирать не страшно.

Записка из зала: «Просим прийти к нам в медучилище и посмотреть на наше общежитие. Гарантируем, такого вы не видели».

Деревянный дом в два этажа. Темные коридоры. Умывальная комната — шерстяной свитер не спасет от холода. Стенки и потолок туалета в белесом инее. Удушливая вонь. По скрипучей лестнице шагаем на второй этаж. Жилая комната: мрачная краска на стенах, фотография «Модерн Токинг», облупившийся потолок, печка в углу. На двенадцать живущих в комнате девчонок шесть стульев и один шкаф. Утюг вообще единственный на все общежитие. Девчонка в спортивном костюме, сидя на кровати, ест кильку из неровно вскрытой консервной банки. Ее симпатичная черноволосая подружка сооружает собаку из серебристой ленты. То, что она не касимовская, выдает ее нездешняя прическа.

— Из Рязани приехала?

— Если бы из Рязани! Из Москвы...

Лена СТОЛЯРОВА, учащаяся медучилища, 17 лет.

Просто родители надоели. Поэтому и уехала. Мать у меня неродная. А с отцом чуть не до драки доходило. Я поехала в Рязань, к тетке. Она и говорит: «Оставайся у меня или вот в Касимов поезжай, там хорошее медучилище». Приехала в Касимов — боже мой! — большая деревня. Асфальт плохой, грязь — не пройдешь, ребята какие-то полудеревенские. Думала, никогда не привыкну. Все чужое. Просто орала от этого днями и ночами. Каждую неделю к тетке ездила. Приеду — ору, уеду — ору. Теперь обжилась... В Москву только на каникулы. Там за Касимов горой стою: «Нормальный город, даже пятиэтажки есть!» Отец в трансе!

Год спокойно прожили, в городе никого не знаем и из общаги не выходим. На втором — дискотеки начались, знакомые появились. Ну, а куда еще тут? Танцы есть — на танцы идем. Хоть каждый день. Постоишь, поговоришь, потанцуешь — вот и вечер прошел.

Есть тут такой Скырный — в него многие девчонки влюблены, ребята очень уважают. Я танцевала с ним, а девчонки оттолкнули в угол и говорят ему: «Сейчас мы тебе навалим». А он взял меня и говорит: «Танцуй, ничего не бойся». Скырный женился недавно. На дискотеки все равно ходит. В одном кругу он танцует, а в другом — жена. Свободная любовь у них.

Ну, и началось! Чуть вечер — местные ребята лезут в форточки. Проснешься — целая комната ребят. Холодильник объедят, в графин чернил нальют — дураки! Потом ночью стали вахтеры дежурить. Участковый порядок навел, потому что у него квартира в общаге была. А вообще девчонки, конечно, есть, которые сами ребятам окна открывали.

Тут ведь вражда между районами. Драки часто. В том году парня порезали по кличке Граф. У него жена была, дети. Ребята чижовские говорят: «Медобщага для Чижовки!» Если другие явятся — драка обяза-

тельно. Вчера парнишка из «Полтинника» проводил девчонку до общаги. К нему подошли трое, по голове ударили. Теперь он в больнице с сотрясением мозга лежит. А из-за чего все? — одному из этих парней на «Полтиннике» навалили...

В общежитии тоже драки. Лена рассказывает, как одну девчонку ногами избили. Как-то парень хотел вломиться, так старенькая вахтерша, вспомнив молодость, дала ему несколько раз бутылкой по голове.

Занятия в медучилище заканчиваются поздно. На улице уже поджидают. Подойдет пьяный парень к девчонке и, если она с ним не пойдет, ударит ее. Пришлось научиться давать отпор.

— Ребята ваши говорят, что «девчонки стали сейчас неприятные и себя не уважают».

— Так это же все из-за них... Была бы у меня дочь, я ни за что бы ее в Касимов не отпустила. Вспомнила бы, как сама тут жила, что в общаге творится, как парни в окно лезут, как курить здесь научилась. Нет, не отпустила б! Касимов — это город в тумане. Одни пытаются здесь жить по-современному, но чаще бегут отсюда — в Рязань, в Москву, куда глаза глядят. Кто знает, может, Касимов станет когда-нибудь большим городом. Вроде Рязани. А наверное, так и останется. И будут за шмотками в Москву ездить и считать, что живут по-современному. У нас девчонки есть, как в глухой деревне говорят: «Пайдем стрытца!» Смех и грех! Менять тут надо многое. Хотя бы общежитие наше. Для молодежи тут танцы да два кинотеатра. Театр хоть построили бы. Транспорта никакого: автобус лучше не ждать, пешком быстрее дойдешь. Совершенствовать надо город. За один присест, конечно, его не сделаешь. Годы нужны. Может, когда-нибудь прочтем в газетах, какой наш Касимов стал, и детям будем рассказывать, как жили мы тут.

Из письма в редакцию

«Проституток в Касимове нет. Есть, как пишут в отчетах, «вступающие в половую связь».

Город маленький, все друг друга знают. Стоит девушке один раз попасть на языки, ярлык обеспечен.

«Панка» учится в восьмом классе. «Прелести интимной жизни» впервые узнала два года назад. Ей не было четырнадцати лет. Месяц провела в колонии, но именно из-за возраста ее отправили назад. Мала еще, доучивайте.

Найти ее не просто: в школе не появлялась, дома не ночевала.

— Приблизительно раз в пять лет у нас появляются девочки с повышенной сексуальной возбудимостью,— с презрением говорит завуч школы Капитолина Николаевна Солдатова.— Ее еще в четвертом классе волновали эти вопросы. Может, она бы себя так не вела, но подруги у нее соответствующие. У нас вообще 8 «Б» класс — слабый набор. Половину слов учителя не понимают. Меньше пить родителям надо.

У «Панки» родители работяги. Мать — кочегар. Пьют не сильно. Живут в трехкомнатной квартире. Кроме них, еще старший брат с женой. В доме строго. Мать кричит, по нескольку раз в день звонит в милицию.

Виктор Владимирович Шошин — учитель литературы, классный руководитель, которому «Панка» вроде бы доверяет, рассказывает:

— Я чуть ли не каждый день к ним домой хожу. Увидела меня и бросилась закрывать двери. Я подставил ногу, вхожу и спрашиваю: почему в школе не была? А брат: «Как не была? Сказала, что только что с занятий». Врет она напропалую. Дома в туалете курит.

Наконец мы встретились.

— Подруги меня научили и курить, и пить, и гулять,— тихо говорит она.— Была я с одним парнем. Не знаю, как получилось. Ничего не могла сделать. Но тут все мальчишки такие, хвастаются друг перед другом: кто, с кем и когда. Весь город узнал обо всем и милиция тоже. Девчонки в параллельном классе еще не такое вытворяют, но никто не знает. Сейчас у меня есть друг. Ему все обо мне известно, и он меня любит.

— Почему ты не ходишь в школу?

— Много раз собиралась. Пошла и опять забоялась.

— А дома почему не ночуешь?

— Меня раздражает все — и дома, и в школе. Не знаю, как им доказать, что я другая.

— Ты любишь мать?

— Она строгая. Ругаемся часто. Но когда учителя на собрании говорят о моей матери, у меня слезы льются сами собой.

Комиссия по делам несовершеннолетних обсуждала вопрос об отправке «Панки» в спецучилище. Когда она вошла, члены комиссии с кривыми усмешками переглянулись. «Скромница наша»,— прошел шепоток.

Она стояла перед ними в шубе. Поверх, как у ребенка, повязан шарфик, носки сапожек вместе, пятки — врозь, шапка с помпончиком надвинута на глаза. Плакала. Когда допекли нравоучениями, рванулась, хотела убежать. Мать оттолкнула от двери:

— Стой! Бегать мало радости!

«Панка» ответила только на один вопрос:

— Чего ты хочешь? У тебя есть мечта? — спросил секретарь комиссии.

— Спокойно окончить восьмой класс.

Ей все же выписали путевку в спецучилище и дали неделю отсрочки.

В эту субботу в загсе была только одна роспись. А в следующую не будет ни одной. И через неделю тоже. А вот после Нового года записано по семнадцать пар в день. Старухи шепчут, мол, по церковному календарю сейчас пост, нельзя замуж. А в начале января — самое счастливое время.

Что же сегодняшняя пара? Убежденные атеисты? Да нет. Просто невеста уже на седьмом месяце беременности. Ей едва шестнадцать. Пришлось «снижать брачный возраст».

— Подобные браки здесь не редкость,— вздыхает заведующая загсом Виктория Георгиевна Бабаева.— Я работаю тут пятый год. Сама вышла замуж в 74-м. Промежуток вроде бы небольшой, разница — огромная. Сейчас как закатят свадьбу, так на три тысячи. Подарки — золото, хрусталь. Нам дарили будильники и сковородки. И всего в 114 рублей обошлось.

По местным обычаям перед свадьбой жених приезжает за постелью невесты. Перед тем как ехать в загс, выкупает свою любимую у подруг. Подруги вредные. Бывает, жених со свидетелем в складчину не расплатятся. Во время росписи родители не входят в зал регистрации. Сидят дома и ждут.

Несколько пар в год венчаются в церкви.

...Скромный регистрационный зальчик. Рядом с заведующей стоит старенький магнитофон и с хрипотцой играет свадебный марш. Входят жених и невеста, сопровождаемые шепотом: «Под локоть бери ее, иди быстрее».

Мать не вошла. Стоит за дверью, волнуется. Тон задает один из родственников — дед-весельчак.

На прощание — фотография под чеканкой. На ковре остались мокрые следы от сапог...

Но был у нас еще один разговор, который пересказать полностью мы не имеем права. Потому что разговор был очень личный. Назовем эту девушку Верой. Она симпатичная, умная, держится с достоинством. Окончила техникум. Работает в учреждении. Вера разошлась с мужем, потому что он ей изменил. Она сказала, что не умеет прощать предательства. История, может быть, и банальна, но что делать Вере дальше? Из «дискотечного» возраста она уже вышла. «Где отыскать человека, с которым я могла бы жить дальше? — спрашивала она нас.— Остается одно — бежать из этого города, пока не поздно». Для маленького города проблема грозящего девушке одиночества стоит куда острее, чем для любого крупного города. Что же посоветовать Вере? А может, нужно советовать не Вере, а тем «отцам города», которые начисто выпустили эту проблему из поля зрения? Может, в каком-нибудь городе научились решать эти проблемы? Сообщите нам...

Следующую справку по ходу заседания дает Алексей Пугачев, начальник инспекции по делам несовершеннолетних:

— Выпускники школ на наши учебные заведения смотрят пренебрежительно, оставляют их на «черный день». Сейчас новое поветрие — уезжают учиться во Владимирскую область. Среди несовершеннолетних есть прочные группировки по районам: те, кто живет в частном секторе,— «аулы», кто в районе 50-летия СССР — «полтинники», далее — «затон», и те, чьи дома построены на песках,— «пески». Многое, что происходит в среде подростков, оттого, что молодежью в городе практически не занимаются. Вот ребята из Черемушек, чтобы обратить на себя внимание, устроили демонстрацию перед праздниками. Шли по улице, выкрикивая лозунги: «Пьянству — бой!», «Долой масло по девять восемьдесят!», «Да здравствует Октябрьская революция!».

В Черемушках около двухсот подростков. Организовали мы встречу с работниками горкома комсомола. Пришло полторы сотни ребят. А из комсомольских лидеров никто. А мы-то хотели как раз продемонстрировать подросткам, что ими очень даже интересуются. Ждали, ждали... Я не выдержал, позвонил в горком да поругался с ними по телефону. Выехали-таки!

«Атаманша»

В Касимове, как оказалось, есть лошадники, или попросту — конокрады.

— Нас ни разу не догнали. Даже на машине. Погоню устроили — жуть! Мы по городу на лошадях. В овраге на лестнице нас затерли. Им проще. А мы на одной лошади вдвоем. Мой друг орет: «Лариска, прыгай!» Но у нас закон мертвый — конокрад конокрада не бросает. Спрыгнули вместе, на полном скаку.

Эта не испугается. Так, как гарцует на лошадях касимовская амазонка Лариса Ковалева, не каждый парень сможет.

— Я класса с пятого лошадей краду.— Черные глаза девушки дерзко зажигаются.— Сколько раз падала! Жива.

— Лошадники — наш бич,— сказали на комиссии по делам несовершеннолетних.— Вот только что мы разбирали двоих таких. Угнали лошадей из колхоза. В объяснении написали, что, дескать, не могли дождаться автобуса, а ехать далеко.

В комнате Ларисы стены оклеены не портретами киноактеров и красотками из журналов, как у других касимовских девчонок,— снимками и рисунками лошадей. Тихо играет радио, накрытое кружевной салфеткой. Топится печка. Чаевничаем с Ларисой и ее бабушкой Афией Ажитовой, которая воспитывает внучку с трех лет. Над телевизором портрет матери. Умерла. Старший брат в Рязани. Отец на Севере. По комнате слоняется полуслепой кот Васька с выбитым глазом. Мальчишки постарались. Лариса подобрала.

Зима. Скучно. К лошадям не очень-то походишь. Вечером еще можно на дискотеку сходить. Там, кстати, мы не узнали Ларису, которая благодаря яркой «боевой» раскраске полностью растворилась в толпе.

В прошлом году Лариса окончила школу. Большая половина ее одноклассников бежала из Касимова кто куда. Она было подалась в Рязань, в совхоз-техникум. Не удалось. «Что думаешь делать дальше?» — пытают ее все вокруг. «А когда здесь организуют конноспортивную школу?» — в ответ.

— Ковалева? Есть такая,— вздыхают в комиссии по делам несовершеннолетних.— Училась в ПТУ — сбежала. Замуж собиралась — парня в армию забрали. Перед комиссией нахально держится: голову запрокинет и глядит надменно. Не работает, не учится. Ничего ей не хочется, только лошадей угонять. А что творят эти лошадники, с ума сойти! Техас прямо! Это все ее друзья...

Угоняли лошадей из деревни Четаево. Один из ребят взял охотничье ружье, а другой монтировку. Замок сбили выстрелом, сторожей загнали в будку и взяли на прицел. Те не растерялись: ухватили вилы. Ребята выстрелили. Прострелили ногу одному из сторожей, убили собаку.

— Неужели нельзя для ребят найти несколько лошадей,— удивляется Лариса.— Здесь же такие знаменитые колхозы. Рыбновский конеплемзавод! Там чистокровные скакуны на экспорт идут. Трех лошадей жалко? Для своих детей! И место есть. Вон на Нариманова бывшая коннопочтовая станция. Там частники дрова сейчас хранят. Так никого не расшевелишь. Дошла этим летом до горкома партии. И все обломилось. Мне до сих пор в глаза ребята этим тыкают.

Мы нашли в горкоме партии того человека, к которому ходила Лариса. Поженин Александр Семенович заведовал отделом.

— Пока ничего утешительного сказать не могу,— ответил он.— Бывшую коннопочтовую станцию под школу верховой езды отдать не можем. Рядом жилые дома. Мы предлагаем ребятам помогать колхозам летом на уборке, где работа связана с лошадьми. Хотя, может быть, когда-нибудь где-то подыщем базу для конноспортивной школы. Не исключено.

Лариса привела нас на конюшню. Конюх Максимыч вывел лошадь Малышку. «Копыта сбиты»,— четко оценила Лариса. Лошадь рванулась, ухнула в сугроб. Взлет снежных искр. Кувыркнулась. И снова. И, наконец, поднялась — гордая, чистая. На разгоряченном теле таял снег.

— Жалею, что не родилась мальчишкой,— сказала Лариса.— Почти все мои друзья-«конокрады» сейчас в Афганистане. Завидую!

Из справки, предоставленной нам Касимовским горкомом КПСС: «Горком партии ведет поиск новых форм идейно-политического, трудового, нравственного воспитания молодежи. В новом учебном году в системе комсомольской политической учебы действуют 29 дискуссионных политических клубов, где обсуждаются различные общественно-политические молодежные проблемы».

***ПРИМЕЧАНИЕ «20-й КОМНАТЫ»:** несмотря на наши тщательные расспросы, поиски реально действующих клубов успехом не увенчались...*

Из справки:

«Горком партии считает, что в современных условиях в работе с молодежью надо ориентироваться не на назидательность, а на развитие инициативы, оказание конкретной помощи в ее реализации. Поиск таких подходов мы и ведем совместно с горкомом комсомола».

Ну, что ж, давайте дадим слово комсомолу...

●

«Я ищу соратника!..»

Николай ЛОХАНОВ, 25 лет, секретарь Касимовского горкома комсомола.

Одна из наших главных бед — очень трудно согласовать любую идею с хозяйственниками. Мы можем сколько угодно убеждать директора завода, что надо отдать ребятам пустующее помещение. Но все в конце концов зависит только от него. Прав у комсомола просто катастрофически мало. Любое начинание часто целиком и полностью зависит от какого-нибудь рядового администратора. Возьмем хотя бы атлетическую гимнастику. Когда поднялся бум вокруг нее, то я на пленуме горкома предложил все подходящие помещения отдать ребятам. Но дело сдвинулось только в одном-единственном месте, в поселке Приокский. Спасибо судоремонтному заводу, откликнулись. А остальные отвернулись. И точка.

Надо развязать комсомолу руки. И в первую очередь избавить от текучки и пресловутого бумаготворчества. Все в один голос твердят, что в комсомоле много формализма, но ведь бумаги по-прежнему идут и идут, и работа с ними пожирает львиную долю времени. А мы хотим работать, а не протирать штаны на заседаниях и в кабинетах.

В горкоме семь десятков человек выборного актива. Передовики производства, ударники труда. До общественной работы руки у них не доходят. Да и еще одно: редко кто сегодня захочет работать на добровольных началах: зачем, дескать, мне это нужно? Итак, если подвести черту: горком завален бумагами, «активисты» работать не хотят, прав у комсомола практически никаких... О какой нормальной работе можно говорить?

Выход, думаю, есть. Нужна инициативная группа в масштабах города, которая возьмет на себя смелость разгрести завалы, накопившиеся в работе с молодежью за долгие годы. Я ищу смелых, самоотверженных людей, которые не щадили бы себя на работе. Если нам удастся создать из них костяк, то разговоры о том, что провинция топчется на месте, потеряют всякий смысл.

Как нам сообщили, городская комсомольская организация насчитывает 9 тысяч 674 члена ВЛКСМ. Однако попытка проникнуть к святая святым — учетным карточкам, журналам регистрации членов выбывших и принятых, журналу выдачи комсомольских билетов — встретила отчаяннейшее сопротивление. Сектор учета стоял насмерть. Даже когда второй секретарь мужественно попытался взять ответственность за разглашение тайны, кто является комсомольцем в Касимове, на себя, то сердце заведующей финансами горкома не вынесло вида корреспондента, листающего журнал регистрации снятых с учета комсомольцев, и она рванула его из рук журналиста так, словно бы спасала знамя из огня. И теперь уж никто, даже завотделом горкома партии, не мог разрешить посягнуть на таинство пребывания комсомольцев в комсомоле. По счастью, в те же дни заехала в Касимов секретарь обкома комсомола. Созвонившись с Рязанью, она позволила вместе с ней перелистать несколько страничек журнала... Увы, недаром так мужественно здесь стояли на баррикадах, здесь под видом «секретности» охраняли тайную ложь, боясь, что она станет явной. «Комсомольская механика» в Касимове даже при беглом взгляде ненамного отличалась от описанной в «Письмах из райкома» (см. «Юность» №№ 1, 2 за прошлый год)...

Недаром, наверное, почти во всех анкетах, на которые ответила молодежь Касимова по нашей просьбе, после вопроса «Что изменилось в жизни твоей комсомольской организации после XX съезда комсомола?» стояло короткое: «Ничего». Конечно, три сотни анкет, распространенных на заводе, фабрике, училище и на встрече в ДК, не могут дать полной картины, но и этих трех сотен «ничего» вполне хватает для того, чтобы бить тревогу.

Из справки горкома партии:

«Комсомольские организации района работают над претворением в жизнь решений XXVII съезда партии и XX съезда комсомола. В различных областях народного хозяйства района трудятся 4,5 тысячи комсомольцев, создано 34 комсомольско-молодежных коллектива, объединяющих 350 человек. Неплохих результатов среди них добиваются бригада слесарей-сборщиков завода «Холодмаш» и бригада формовщиков механического завода».

А теперь давайте пригласим на заседание касимовских ребят...

«И корабль плывет?»

Касимовское СПТУ № 13 готовит речников. Якорь, который лежит у входа в училище,— подтверждение тому.

В течение трех часов мы беседовали с ребятами из общежития СПТУ-13, но так и не смогли узнать то, что больше всего нас в этих ребятах интересовало: о чем они мечтают? Во что верят? Чего хотят добиться?

«Завтрак, учеба до двенадцати, обед,— рассказывают они об обычном дне.— Опять учеба до трех, потом — в общагу. В полшестого ужин. До ужина обычно спим. После ужина — на дискотеку. Если ее нет, смотрим телевизор, кто спит, кто уроки учит, кто хозяйствует...»

Общежитие маленькое, сорок человек. Посторонних не пускают. Несколько спальных комнат, небольшой спортзал, четыре умывальника и битком завешанная выстиранным бельем сушилка. Цветной телевизор, с которым кто-то «пошутил»: на экране все цвета «в кучку». Электрических розеток в комнатах нет — так что магнитофон можно слушать только в умывальнике...

— А в кино вы ходите?

— Изредка. Фильмы неинтересные.

— Какие больше всего понравились?

— «Большая прогулка».

— «Откройте, полиция!» — там тетка моется...

— «Амазонки», только вырезали много...

— А «Проверку на дорогах» смотрели?

— Да... Непонятный какой-то...

— На той неделе «Моцарт» здесь шел (выяснили, что речь идет об «Амадее» М. Формана) — какой резон на него ходить?

— Чего вам хочется в жизни?

— Чтобы время провести нормально.

— Как провести? Куда бы ты хотел сходить?

— Ну, к девушке. А это до ночи, день прошел, спать можно.

— Значит, вам девушек не хватает?

— Да нет, вон их целая толпа ходит...

(Кстати, мы с ребятами говорили вовсе не о тех, кто ради «спортивного интереса» и глотка дармового самогона пойдет ночевать с кем угодно,— этих «подруг жизни» ребята не имели в виду, хотя все они их прекрасно знают.)

— А мне ничего не надо. Спать хочу, и все.

— Я бы музыку хорошую послушал...

— Так. Кино, девушки, дискотека, сон. Еще есть варианты?

(Молчание.)

— Кто ходит в библиотеку?

— Да что в нашей библиотеке читать!

— Ну, а журналы? «Огонек», к примеру, вы читаете?

— Чего там читать — неинтересно.

— Ну, а «Юность»?

— Это такой вот толстый, что ли?

— Ни разу не видел. Даже не знаю, как выглядит.

— Чем же вы интересуетесь? Спортом?

— Гирями балуемся — недавно дали.

— Да, дали... Приходил из райкома комсомола второй секретарь — спрашивал, выспрашивал... После этого гири дали. У одной, правда, уже ручка отломилась. Что говорили с ним, что нет — ничего не изменилось.

— А что должно было измениться?

— Розетки нужны в каждой комнате — чай кипятить.

— Чайники обещали, да так и провисло.

— Душ нужен в общаге.

— Что у вас связывается с перестройкой?

— Была водка — сейчас ее нет.

— А вы что, пьете?

— Не пьем, выпиваем... Так, по праздникам, дням рождения...

— На какие же деньги? Да и в Касимове нет винных магазинов.

— Деньги можно на «железке» подработать. Вагон — 70 рублей.

— Некоторые на хлебозаводе работали, но ночная смена. В училище запретили: на занятиях спали.

— Свободы не хватает! Ее у нас в училище не разрешат. Вон Афиноген носил серьгу — мастер у него ее вынул.

— У меня на джинсах звезды нарисованы, Так джинсы обозвали «по-

Это профтехучилище, наверное, самое лучшее в городе. Мы присутствовали на вечере посвящения в первокурсники. В фойе Дома культуры стояли модели кораблей, торпедного катера, сухогруза и парусного фрегата. И было еще много других поделок. Здесь же строились ребята и девчонки, чтобы войти в зал под звуки марша. Они волновались. Наконец, на сцене уселся президиум. Отворились двери. Динамик рявкнул первые такты, пискнул и умолк. Но ребята уже шагали по проходу, каждый со своей эмблемой. Заполнили ряды. Потом передавали на сцене по наследству швабру. Пели. Читали стихи. И бурно зааплодировали, когда на сцену вышел преподаватель училища Юрий Александрович Мещанинов. Чувствовалось, его любили. Мы потом побывали в училище, в его удивительном классе, где, входя и уходя, надо ударить в рынду, где стоят штурвалы со старого судна, где на окнах витражи, где сотни прелюбопытнейших предметов, где лежат и часто листаются толстенные альбомы с фотографиями воспитанников Мещанинова, которые ходят сейчас на судах по рекам и морям, дальним и ближним. За что его любят ребята? За то, что он все умеет и все в этом волшебном навигационном классе сделал своими руками, да так здорово, что сюда водят на экскурсии школьников. Еще, наверное, за то, что говорит с ними на одинаковом языке; за то, что он их любит...

Из справки:

«28 наших земляков, выполнивших интернациональный долг, награждены орденами и медалями Родины. Все они прошли через комсомол. И сейчас многие воины-интернационалисты ведут большую воспитательную работу».

«Касимовский синдром»

— С плохими явлениями у нас в городе я не встречался,— заявляет Сергей Гагарин, кавалер ордена Красной Звезды, один из 160 бывших воинов-интернационалистов, живущих в Касимове.

— После шума, взрывов, войны единственное, чем наслаждаешься,— тишиной, и больше ничего не замечаешь,— признается Игорь Афанасьев.

Сергей Гагарин не встречался с «плохими явлениями», зато мы встретились с явлением очень интересным: «афганцы» упорно не хотели что-то менять в сложившемся распорядке касимовской жизни, в ее размеренном течении. Они «наслаждались тишиной».

Нет, тут все «как у людей»: есть и афганский клуб, есть и его председатель — тот же самый Игорь Афанасьев, инструктор горкома комсомола. Создание клуба, правда, датируют все по-разному — кто 83-м, кто 85-м, кто аж 81-м годом. Вопрос о количестве членов клуба вызывал много разногласий. Но на каждое заседание приходит человек десять. Заседания проводятся раз в месяц в одной из комнат горкома. Что ж, десять — совсем не мало, если это деятельные ребята. И «раз в месяц» — достаточно, чтобы подвести итоги и наметить планы. Чем же занимаются «афганцы»?

— Занимаемся решением своих вопросов,— загадочно отвечает Игорь Афанасьев и поясняет:— У нас проблема с жильем, многие ребята живут на частных квартирах.

Да, проблема очень большая. В очереди стоят двести ветеранов Великой Отечественной войны. Получить квартиру сложно.

— Конечно, мы молодые, можем и подождать, но осадок в душе нехороший остается,— комментирует председатель клуба.

— Часто ребята приходят к нам в клуб только за квартирой: дай! А не дадите квартиру — в клуб не пойду. Как будто клуб афганский только и должен, что квартиры выбивать!— возмущается Сергей Пилипчук.

Ну, а все-таки чем занимается клуб воинов-интернационалистов, кроме выбивания квартир?

— Пробовали нас за трудными подростками закреплять. Но как посторонние люди могут воспитать человека, если не могут это сделать родители?— рассуждает Игорь Афанасьев.— Ну, еще в школах, училищах мы выступаем, рассказываем об Афганистане.

— Надо, конечно, с подростками работу проводить, но с каждым отдельно возиться очень сложно,— соглашается Сергей Пилипчук.— Пусть вон они к нам в спортзал ходят тренироваться.

Думали оперотряд организовать, чтоб навести порядок на дискотеках, но ребята не захотели «на ментов работать». Хотели к одному инвалиду-«афганцу» съездить, но автобус не выделили, и поездка не состоялась.

А что же больше всего запомнилось ребятам за время существования клуба?

— Три года назад,— вспоминает Женя Тебенихин,— на 9 Мая мы организовали свою колонну на демонстрации и с лозунгами, транспарантами прошли по городу. Здорово было!

Что же происходит с вами, ребята? Квартиры, выступления, лозунги... Становится понятно, почему в клубе так мало народу, почему не идут сюда недавно демобилизованные ребята.

— Клуб — это для неженатых хорошо,— рассуждает Сергей Гагарин,— а у кого семья, дети, тем не до того.

— Мы еще только начинаем,— уверяет Сергей Пилипчук.— Самое

главное сейчас: собраться и показать себя. Помещение свое нам нужно.

Что же хотят «афганцы»?

Сергей Гагарин. Может быть, сделать для молодежи летний парк, корты теннисные построить, кафе открыть, танцы по вечерам организовать? Но что я могу сделать один? Если бы всем вместе собраться...

Женя Тебенихин. Город надо в порядок приводить, а то весной у нас в районе ни проехать, ни пройти. Вот объявить бы в газете: озеленим город, все бы вышли...

Игорь Афанасьев. А еще есть у нас задумка: когда помещение дадут, повесить там на стены фотографии, материалы разные...

Хорошие ребята! Мечтатели, фантазеры...

Сейчас только и слышишь, как ребята, вернувшиеся из Афганистана, начинают своими, иногда наивными, иногда жестокими методами бороться против несправедливости, отстаивают дело перестройки. Но в Касимове самая деятельная, казалось бы, часть молодежи все ждет, что кто-то придет и организует их на большие дела.

И в чем Касимов был не нов, так в том, что и здесь формальные лидеры были вовсе не лидерами, за тремя — пятью случайными исключениями. Верх берут ребята ершистые, прямые, честные. Впрочем, именно на таких наша надежда во всем том, что мы называем обновлением страны. Одному из них мы и предоставляем сейчас слово...

В бой идут «бузовики»!

Виктор МАЛАХОВ, рабочий, член КПСС, 27 лет, двое детей.

Из ответов В. Малахова на анкету «20-й комнаты»:

— Что мешает реализовать себя в своем городе?

— Наплевательское отношение к проблемам молодежи ответственных лиц. Я хожу по замкнутому кругу.

Затрепали уже фразу, что рабочий человек — главный человек страны. Но сколько ни повторяй слово «халва» — во рту слаще не станет. По крайней мере у нас на фабрике на рабочих смотрят свысока, как на некую часть производственного механизма. Их заботы считаются неизмеримо ниже забот предприятия. Примеров тому — сто! Вот в цехе пошел брак, в нем обвинили меня. А когда разобрались, что обвинили незаслуженно, никто даже не извинился. Словно ты не человек, а металлический бессловесный станок, который должен выдавать продукцию, и только.

Надо сказать, что и мы, рабочий люд, сами в этом виноваты: растеряли чувство собственного достоинства, всю власть на производстве отдали на откуп разного калибра начальникам и начальничкам, перестали ощущать себя как класс, у которого много прав, а не только одни обязанности. Свыклись с тем, что не можем ничего решить самостоятельно без указаний с неизвестно какого «верха».

На партсобрании я вступился за женщин, которые несколько месяцев, чтобы фабрика успела в срок сдать партию экспорта, вручную таскали валы для сетей. Каждый вал — килограммов тридцать. Они их таскали для пущей быстроты по две штуки. Тащить нужно далеко. Я предложил, чтобы женщинам за переработку заплатили.

Разве это не естественно, если люди получают по труду. Тем более сейчас, когда переходим на хозрасчет, каждый труд должен иметь свою цену — иначе сам рабочий обесценивается, превращается в винтик, а не в хозяина своего предприятия. Но только посмеялись надо мной в ответ. На других заводах коллектив даже директоров выбирает, а мы не можем решить по своему усмотрению судьбу лишней десятки, которую надо выплатить за переработку.

Работаю я на фабрике «Красный текстильщик» аппаратчиком сетевязальной машины. Работа мне нравится. Все остальное время стараюсь делить между семьей, волейбольными тренировками и друзьями. Друзей своих зову «бузовиками» — от слова «бузить»,— потому что они не молчат, когда надо говорить. Шумные ребята, но справедливые.

Весной в нашем фабричном районе освободился подвал, и мои «бузовики» затеяли из этого подвала соорудить молодежный центр: со спортзалом, технической станцией, комнатой, где можно было бы собраться, поговорить, поиграть в шахматы, посидеть вместе за телевизором хотя бы... Вот уже полгода, как эта идея для меня и для моих друзей стала самой важной в жизни. Понимаете, это не центр развлечений и досуга, а объединение единомышленников. Мы хотим, чтобы молодежь не слонялась из угла в угол, не била на улицах лампочки, как это делал до недавнего времени Лешка Вавилин — за что он, кстати, состоит на учете в милиции. А сейчас Лешка нам здорово помогает в подвале, да и приятелей своих на помощь привел. Хороший парень. Отмычка ко всем «трудным» проста: надо позволить ребятам заниматься делом. Толковым делом. У меня самого двое детей, о них я тоже должен думать: куда им лет через пять податься? По улице слоняться, что ли?

Мы с «бузовиками» провели на расчистке подвала субботников двадцать. Кто хотел нам помочь, все работали. Никого не упрашивали: хочешь помогать — помогай. Но представьте, как загорлопанили мои «бузовики», когда прочли в «Мещерской нови»: «Авторитет комсомольской организации можно завоевать только конкретными делами. Этому можно поучиться у комсомольцев фабрики «Красный текстильщик». Юноши и девушки предприятия с энтузиазмом взялись за ремонт бывшего овощного магазина, оборудовали там молодежный клуб... И комитету комсомола фабрики предоставлено право распределить 10 квартир в новом доме. Вот так в живом деле крепнет авторитет комсомольской организации». Эти слова написаны первым секретарем Касимовского горкома комсомола Михаилом Куликовым. Оказывается, мы ни при чем — вся честь и слава комсомолу, который поучаствовал в одном-единственном субботнике, посвященном Дню молодежи.

Я написал опровержение в «Мещерку». Но в газете посчитали, что публикация будет ударом в спину первому секретарю — как раз в это время должен был состояться комсомольский пленум. Через три недели, правда, опровержение напечатали. А клуб наш не оборудован и до сих пор: директор фабрики полгода обещает выделить двух специалистов, чтобы заменить трубы отопления. Легче всего любую молодежную затею утопить в болоте бюрократических проволочек и неопределенных обещаний. Подвал, кстати, находится в директорском доме.

Что касается распределения фабричным комитетом ВЛКСМ квартир, то идея эта была отличная. На деле никто в комитете не знает, каким образом составили список этих десяти «избранных» и почему в него попала прежде всего секретарь комитета комсомола Афанасьева? Я, например, тоже член комитета комсомола, но меня даже не пригласили на обсуждение кандидатур. Тайна списка осталась за семью печатями.

Меня уже давно возмущает, когда я слышу о таком разделении: комсомолу — досуг, администрации — производство... Это вопрос политический: комсомольцы отучились сами решать свои вопросы, доводить до конца свои решения. Например, избрали делегатом на XX съезд комсомола Надю Соловьеву, но вдруг нам сообщают, что она, видите ли, не подходит по «анкетным данным» — возраст чуть больше, чем нужно. Вместо нее секретарь парткома называет Татьяну Алексееву, которая и поехала на съезд.

Читаю: идет перестройка в стране. А наш фабричный парторг говорит рязанскому корреспонденту: «У нас нет оснований для беспокойства». Лишнее доказательство того, что про перестройку в нашем городе пока говорить рано.

Меня очень беспокоит, что слово «перестройка» стало в последнее время слишком расхожим, употребляется к месту и не к месту. Включили однажды в зале «свободный микрофон» — уже перестроились. Пригласили членов комитета комсомола на расширенное заседание фабричного парткома — прямо-таки вышли на передовые рубежи перестройки... Все остальное может оставаться по-старому. Думаю, что первые реальные признаки смогут появиться лишь года через два-три, а пока те шажки, которые делает у нас пере-

стройка, только косметические, на публику. И так будет до тех пор, пока рабочий класс не обретет свой крепкий голос и право решать свою собственную судьбу.

Слово за слово, и вопросов накопилось столько, что мы решили обратиться с ними к главным людям города — первому секретарю горкома партии и председателю горисполкома...

«Мы живем одной жизнью с центром...»

Вячеслав БАКЛАНОВ,
первый секретарь
Касимовского горкома КПСС,
41 год.

— Вячеслав Иванович, в почте журнала немало писем, в которых читатели сетуют: дескать, в Москве все кипит, а поезжайте на периферию, увидите, что перестройкой и не пахнет, одни слова. Могли бы оценить, назовем так, время запаздывания перестройки в провинции?

— Прямо скажу, что мы не ощущаем особого разрыва в процессах перестройки в столице и у нас. В свое время из Касимова до Рязани добирались три дня, а до Москвы вообще две недели, а сейчас пять — семь часов, и вот она, столица! Так что мы хотя и глубинный городок, но живем одной жизнью с центром.

— Но разве молодой человек, живущий в Касимове, не испытывает некий комплекс неполноценности оттого, что живет не в крупном городе, что запросы его удовлетворяются значительно хуже, да и культурная жизнь носит оттенок второсортности?

— Не скрою, нам обидно за нашу молодежь, что ей не достается то, что доступно в больших городах. Но небольшой город и не может скопировать жизнь, скажем, областного центра. Многое сделано, и надо сказать, что за прошлый год оттока молодежи не было. Удалось затормозить этот процесс. Но, что скрывать, молодежи вечером, особенно зимой, некуда пойти, негде собраться. Не только потанцевать на дискотеке, а даже просто подискутировать, поговорить. И не только наша в том вина.

Возьмем новые наши микрорайоны. При строительстве абсолютно не учтена база для досуга молодежи. Ни при проектировании, ни при строительстве. Словно молодежи в природе не существует. Сейчас пытаемся латать старые дыры. В Черемушках освободили подвальное помещение, приблизительно метров шестьсот — восемьсот. Ведется строительство культурно-спортивного комплекса. В этом году строители закончат отдельный молодежный центр с прокатной базой, базой силовой подготовки... В подвале дома микрорайона Затонный тоже надумали клуб делать. Но жители категорически против. Пенсионеры пишут: «Не надо нам шума, заплеванных подъездов, музыки по ночам» и т. д. Что делать? Есть над чем задуматься...

— Довольны ли вы участием молодежи города в процессах перестройки?

— Знаете, я хочу высказать свое субъективное мнение: мне бы хотелось, чтобы молодежь была более активная не только на словах. Много сейчас научились говорить, а вот конкретных дел добиться... Иждивенчество. Начинают со слов «ты мне дай, а потом уж я развернусь».

— Как же разбудить социальную активность у молодежи?

— Видимо, нам надо больше встречаться с молодежью, говорить с ними на равных, а не с трибуны. Вот примерно такой разговор необходим, какой состоялся у вашей «20-й комнаты» в Доме культуры. С какой жадностью ребята говорили с секретарями горкома комсомола и секретарем горкома партии, представителями горисполкома. Получился благодаря вашему приезду своеобразный «прямой провод».

— На встрече говорилось много о бедах города. Мы побывали в медучилище, там двенадцать девушек живут в одной маленькой комнатке. Сколько жалоб мы выслушали на автобусы: люди, не дождавшись, идут в дальние районы пешком. Не говоря уж о водопроводе на Старом Посаде, где двадцать лет люди обивают пороги, чтобы воду им провели...

— К сожалению, это все наследство, которое осталось от бывшего председателя горисполкома Антошина. Но сам случай с ним, когда рабочие механического завода не выдвинули его кандидатом в депутаты,— свидетельство тех демократических перемен, которые происходят. Запущен был город до предела. Люди хотят видеть свой город чистым, красивым, благоустроенным, чтобы не было стыдно жить в нем. Вот коллектив завода и выразил недоверие председателю горисполкома.

— Наверное, не очень уютно живется под огнем критики — ведь люди запальчивы в споре и несправедливы в упреках?

— Тут надо прятать свое честолюбие. Раньше, бывало, человек, поднявший голос, нередко отодвигался или увольнялся под какими-либо предлогами. Но сейчас такое должно быть исключено. И чтобы подобные явления не повторились, надо развивать демократию и гласность на самой конструктивной и широкой основе. К счастью, мы дожили до тех дней, когда не должность определяет человека, а качества человека определяют место, которое он занимает. Условие одно для руководителя: человек должен не просто прислушиваться к мнению народа, а быть с народом, знать его нужды досконально.

— Центр тяжести перестройки сейчас на производстве. Есть ли среди молодежи такие, как говорили раньше, «застрельщики» перестройки, которые подталкивают, тормошат старшее поколение?

— У нас много хорошей молодежи. Это делегат XXVII съезда партии, член ревизионной комиссии обкома партии сетевязальщица Татьяна Седелкина, рабочий завода «Зооветоборудование» Вячеслав Борисов, слесарь-сборщик завода «Холодмаш» Алексей Сизов и многие другие. Передовые ребята, они работают отлично и ведут за собой коллектив.

— Но перестройка подразумевает волну мощной инициативы снизу. С какими инициативами выступили эти ребята? Попытались ли они изменить, скажем, нравственный климат на предприятии? Изменить положение вещей в цехе? Что конкретного они сделали?

— Ну, вот перед съездом комсомола Татьяна Алексеева выступила с инициативой «XX съезду комсомола 20 ударных вахт». Она и стала делегатом съезда. Но самое главное, что наша молодежь сейчас не разобщена. И дело нашей партийной совести — не дать погаснуть толковым инициативам, помочь каждому молодому касимовцу реализовать свой творческий потенциал — будь то производство или духовная жизнь,— главное, чтобы этот молодой человек рос нашим верным соратником. Вот центральное направление наших забот.

На той встрече «20-й комнаты» с молодежью пришла записка: «ПОКА В ЗАЛЕ ПРИСУТСТВУЮТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЛАСТИ, НИКАКОГО ОТКРОВЕННОГО РАЗГОВОРА НЕ ПОЛУЧИТСЯ».

А в зале действительно, кроме молодежи, плотными, сплоченными группами сидели горком комсомола во главе с секретарями, представители горкома партии, председатель горисполкома и работники исполкома...

Тогда к «свободному микрофону» прошел секретарь горкома партии Александр Дмитриевич Канунников.

— Вы знаете, дорогие товарищи, меня эта записка не удивила. Она меня возмутила. Товарищи приехали из Москвы, чтобы поинтересоваться, как живет и чем живет наша молодежь? Было бы неправильно, если бы люди, в некоторой степени отвечающие за вас, не пришли и вместе с москвичами не поинтересовались: а чем же вы все же живете? Может быть, мы что-то недоделали, недодумали? Я считаю это нормальным. А если кто-то стесняется в нашем присутствии сказать о наболевшем, то мне представляется, что он не болеет за интересы города. Мы пришли, не боясь самых больных вопросов, послушать вас и сделать выводы. По-моему, в наше время перестройки и демократизации это недемократично — выводить нас из зала. Мы остаемся.

Микрофон из рук секретаря взял светловолосый парень Николай Осин, регулировщик с механического завода:

— Из зала вас выводить никто не собирается. Но неужели, чтобы вы заинтересовались, что нас волнует, нужно было приехать журналистам из Москвы? А почему записка такая пришла? Так это оттого, что ребята не верят, что можно изменить что-нибудь. Уедут корреспонденты, а кто даст гарантию, что самых говорливых не прижучат? И все опять станут тише воды и ниже травы.

Мы из микрорайона Затон. Посмотрите, как мы одеты: спортивные брюки и фуфайки, где сзади написали хлоркой «Затон». Наряжаться некуда. Вечером приходим с работы и не знаем, куда пойти, слоняемся без дела. Присмотрели в соседнем доме заброшенный подвал. Решили его приспособить под маленький спортивный клуб. Вначале второй секретарь горкома комсомола дал нам добро. Мы за один день очистили половину подвала, а на следующий день пришла милиция нас выгонять. Сто лет это заброшенное место никому не было нужно. Сейчас мы тайком собираемся в этом полуочищенном, сыром подвале. Вот пусть ребята из «20-й комнаты» придут к нам, посмотрят. Вместо штанги поднимаем три лома, связанных вместе. Почему всем на нас плевать? Говорят, в горкоме нет средств. А на что мы сдаем комсомольские взносы?

— Я хочу ответить Николаю,— снова взял слово секретарь горкома партии Александр Дмитриевич Канунников,— который обвинил нас, что мы без приезда московских журналистов не заинтересовались бы молодежью. Нет, дорогой Николай, со всей ответственностью заявляю, что мы встречаемся с молодежью на всех массовых мероприятиях и стараемся ее понять. Я не согласен, что мы, дескать, ничего не делаем для молодежи. Я пять лет, до 79-го года, работал первым секретарем горкома комсомола. Если сравнить, что имела тогда молодежь и что имеет сейчас, разница есть. Каждая школа имеет спортивные залы. Техникум — два спортзала. Для кого это все? Для молодежи! Но ведь даже стадион, какой он ни есть, пустует. Сколько спортивных залов не используется! Я не хочу сказать, что мы — горком партии, исполком — слишком поусердствовали, чтобы сделать как можно больше для молодежи. Но все-таки что-то делается. И кто не видит этого, тот слепой человек. Тот специально сосредоточивает внимание только на плохом. Надо быть объективным, а не стараться все видеть в черном цвете.

Тут же председатель горисполкома Василий Яковлевич Исаев пообещал решить незамедлительно судьбу злосчастного подвала. Решение было вынесено на следующий день...

Василий ИСАЕВ,
председатель горисполкома, 47 лет.

Я сам из района. Двенадцать лет проработал в «Электротеплосети». До меня место мэра города занимал Валентин Николаевич Антошин. Наследство осталось редкостное. Все развалено, запущено, всюду долги... Город захламлен, отдохнуть негде, оба парка одичали, тиной заросли пруды, высохли фонтаны. Автобусы ходят из рук вон плохо, по-прежнему трудности с водоснабжением (летом выше второго этажа вода не поднимается), плохо с торговлей, медицинским обслуживанием, даже с уборкой мусора проблемы.

17 лет Антошин занимал этот пост. Русский народ, конечно, терпелив, но в конце концов граждане отказались выдвинуть его кандидатом в депутаты горсовета.

Каким я вижу Касимов в 2000 году? Таким, чтобы каждый житель его уважал. Прежде всего надо срочно поправить жилищное строительство, отреставрировать уникальнейшие памятники.

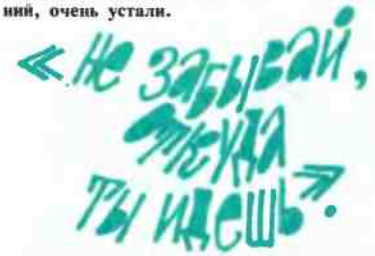
Самая большая трудность — жилищный вопрос. Сейчас каждый пятый стоит в квартирной очереди. Очередь на десятилетия. А население прибывает. И мы при нехватке средств все же пишем план-постановление до двухтысячного года, который вряд ли будет выполнен. Записали, что в год мы должны сдавать 30 тысяч метров жилья. А сдаем всего 17 тысяч.

Проблема со средствами. Лет десять назад на благоустройство города выделялось 500—700 тысяч рублей. Но тогда они не осваивались. Сумму уменьшили, и теперь остро не хватает средств. Разве плохо, например, построить для молодежи плавательный бассейн? Но ведь на это уйдет миллион, не меньше. Сумма, на которую можно построить стоквартирный дом. Вот и приходится взвешивать, что важнее.

В городе 160 домов в полуаварийном состоянии. Ремонтные службы слабосильные. Средств им вообще не дают. Проблема эта, думаю, не перед одним Касимовым стоит. И проблемы такие не решаются за один присест.

Но приглашаю я вас лет через пять—семь приехать и посмотреть на Касимов. Думаю, вы его не узнаете.

Что ж, такой оптимизм при достаточно объективной оценке ситуаций, разумеется, похвален. Лишь бы эти слова не превратились под напором реальных обстоятельств во вчерашние долговременные обещания. Устали касимовцы от обещаний, очень устали.



«Город Касимов... Впервые упоминается в летописях в 1152 году. Видимо, или ровесник, или младший брат Москвы. Основан татарским царевичем Касимом, который перебежал с войском на сторону Юрия Долгорукого и защищал северо-восток Московского государства от набегов татар. Основой нынешнего города послужил Городец Мещерский...»

«— Что ты можешь сказать об истории Касимова?
— Вот татары у нас...
— А еще?
— ...?»

И это о городе с богатейшей историей! А почему? Потому что обезличена она, да еще протекает (для жителя провинциального города) где-то вне — в Киеве, Петербурге, Москве...

Вот, к примеру, времена Ивана Грозного в школе проходил? Проходил. А знает: «Вам, земщине, Бекбулата-татарина...» — что это касимовского татарина посадил на свой трон Грозный, вводя опричнину? Знал, так рассказал бы.

В маленьких городах люди живут ближе к памятникам, ходят мимо них чаще, живут в них, следовательно, имеют больше возможностей почувствовать свою связь с ними, принять их ближе к сердцу, чем, скажем, житель железобетонных Черемушек... Но вот касимовские примеры...

Много лет подряд руководители овчинно-меховой фабрики использовали в качестве склада сырья одну из красивейших церквей Касимова — Егорьевскую. Великолепный памятник архитектуры, стоящий на историческом месте — предполагаемом месте древнего кремля,— довели до состояния, когда спасти уже невозможно. Стены в таких трещинах, что внутрь пролезть можно, крыша просела. Даже склад пришлось убрать: опасно. И все по-прежнему: закон о сохраннии памятников есть, и даже наказания за его нарушения предусмотрены, а наказали — при этаких-то масштабах! — по пальцам перечесть можно. Почему бы не отыскать сейчас виновников разрушения хотя бы той же Егорьевской, да и не устроить показательный процесс, чтобы другим неповадно было?

Торгово-оптовая база расположила свой склад в церкви Успения, прямо напротив окон горисполкома. Двадцать лет воевали с базой, чтобы она крышу покрыла и снесенный портик восстановила. Ан, нет, не мучила совесть людей, что по их вине гибнут творения рук их предков. Нет стыда, наверное, уже и не появится никогда. Только вот что страшно: если и у детей их не будет стыда — вот тогда-то... Тогда цепь порвется невоссоединимо.

Справка «20-й комнаты»: В районе находится 155 памятников архитектуры. Церковь в Гусь-Железном уникальна, памятник республиканского значения. Ни одна церковь не отреставрирована. Мощность реставрационного участка в Касимове — 120—150 тысяч рублей в год. Даже если получит город обещанные полмиллиона, как он будет эти деньги осваивать? Нет в Касимове, как, впрочем, и других небольших городах, специалистов-реставраторов, значит, нет и квалифицированной помощи. А город-то — город-сокровище.

Что же делать?

Ответ хоть и утопичен, но выглядит долгосрочной программой: надо попытаться реставрировать в себе — да и в детях наших — «орган» восприятия истории. Без этого и миллионы пойдут впустую. Но как радостно, что, кроме этой «утопичной» программы, делаются сейчас реальные, конкретные шаги. Касимов объявлен заповедной зоной...

Вопросы истории и сохранения духовной культуры взаимосвязаны. И поэтому нам хотелось бы, чтобы в конце нашего заседания прозвучал голос человека, который, преодолевая сомнения и трудности, «волнуясь, мучась, горячась», сражается именно на этом фронте. Самоотверженно сражается. Слово режиссеру народного театра.

Дом, где открываются сердца.

Феликс РОМАНОВ, режиссер народного театра, 33 года, уроженец Тамбова.

Ах, как мы тогда говорили: много и вкусно! Как хотелось нам перевернуть Касимов, взъерошить его. Сто тысяч планов! И каждый прожект — яркий, как прожектор! Семь лет назад... Нас было трое, и мы сами себе казались десантом на не тронутой цивилизацией планете. Неделю прожили в замедленном ритме Касимова, пострадали, покудахтали и... сбежали. Потом вернулись. Думал, отработаю три года и все равно уеду. А вот остался. Друзья уехали, а я остался в этом сонном городе.

Сорок тысяч народу. А зайдите в любой дом — в каждой второй семье вам скажут: «А зачем нам театр?» Сколько раз бывало: не выходит спектакль, и никто не замечает. Закройся театр — ничего бы не изменилось.

Может, что-то не так я делаю? Если бы каждый спектакль в нашем театре был не просто спектаклем, а тем местом встречи, которое изменить нельзя... Если бы у меня были актеры, которые постоянно играли... Но с кем делать театр? Труппа — два десятка человек, кто-то не пришел, кто-то заболел, кто-то уехал по распределению. За год труппа обновляется на треть! Сколько бы ты ни вложил в спектакль, в лучшем случае сыграешь его шесть-семь раз. Не более!

Конечно, и Касимов можно разбудить, расшевелить, растормошить, чтоб общественная жизнь закипела. Но я художник, понимаете, художник! Мое дело — ставить спектакли. Заприте меня в комнате, и я буду делать хорошие спектакли — меня этому учили! А ходить, будить, звать — я не люблю и не умею, а обязан это делать.

Я веду еще молодежную студию. Что? Научить декламации, сценическому движению, поставить три-четыре этюда?.. Мало, мало. И главное, рано, потому что нет почвы для зерен. Носил им репродукции картин, заставлял читать книги, рассказывал о режиссерах. И вдруг один мальчик недавно сказал мне: «До театральной студии у меня было много друзей и совсем не было проблем. Начал заниматься здесь — чувствую, что теряю друзей, мне становится с ними не о чем говорить». Вот он, росток!

Знаете, что меня страшит: удивительная, необыкновенная покорность местной молодежи. И это в наше, советское время! Хотя что удивляться, если изо дня в день одни и те же, в общем-то правильные лозунги твердили ребятам к месту и не к месту. Сколько раз задавал ребятам вопрос: «Что надо делать, чтобы был мир на земле?» Ответ всегда скучен, как дистиллированная вода: «Лучше работать, учиться». Я говорю: «Ну, что изменится, если ты будешь получать вместо пятерок четверки? Количество ракет уменьшится?» Вежливо молчат.

Однажды я провел такой эксперимент. Спросил: «Прав ли был Раскольников, убив старуху?» «Нет, не прав». «Тогда предположим: вы — талантливый человек, автор гениального изобретения, которое даст стране миллион рублей. Но для этого нужны пять тысяч, нужны сегодня, немедленно. Что делать? Занять нельзя. Может быть, украсть?» «Нет, красть нельзя». «А если потом эти деньги вернуть владельцу?» «Тогда можно украсть». «Хорошо, а если это изобретение прибавит стране не один миллион, а десять миллиардов и красть нельзя?» «Тогда можно и убить».

Вот видите: все из дыма. Привыкли жить по указке. Начинаешь качать камень, на котором написано «Отлично работать, учиться», а он пустой внутри. Они не имеют даже понятия, что было в 37-м году...

Иногда мне кажется, что у ребят все пальцы синие. Куда бы ни полезли — по рукам бьют. И их же самих потом упрекают «в отсутствии инициативности».

Уехать отсюда, но куда? В такой же Касимов, начинать все сначала — какой смысл? Беда в том, что вся провинция наша состоит из «касимовых». Пока в Москве бум, до нас дойдет лишь эхо: ум-ум-ум, и все растает. Всюду оживление, а здесь ничего. Или почти ничего.

Послесловие.

Почему же так упряма аксиома о второсортности провинции? Дело не в том, что ей не привыкать к фильмам, идущим третьим экраном, к случайным гастролерам и скудости культурной жизни. А, наверное, в том, о чем говорил Николай Осин: «Если бы вы знали, как меня раздражают летом на всех стенах, на церквах, скамейках, памятниках — всюду наклейки от мороженого. И груды мусора». Не из этой ли неряшливости, неуважения к своему городу, как к своему дому, и произрастает, как чертополох из мусора, сознание собственной второсортности.

Заборы, сожженные со скуки, поломанные скамейки в парке, протекшие потолки в гостинице, абы как налепленная кафельная плитка... Все это об одном — утрачено чувство родного дома. Ведь, чтобы не протек потолок, надо было гидроизоляцию положить по совести и уму, а не бросить ее лишь бы. Всюду это досадно лезет в глаза — сделанное абы как дело.

— Я, главный архитектор,— говорит Сергей Плиско,— занимаюсь жалобами населения и строительством гаражей. Жалобы не входят в число моих обязанностей, но больше некому с ними разбираться. По десять лет идут тяжбы из-за двадцати сантиметров садового участка. А на каждую жалобу дня три-четыре надо. Машины нет, идешь пешочком с линейкой замерять, а потом миришь соседей: «Давай ты так, а ты так сделаешь». Скажите, возможно, чтобы улица стала вдруг уже? У нас такое недавно случилось: жители взяли и передвинули изгороди вперед на полметра — увеличили размеры участков. Мы теперь улицу опять расширять будем. Не жизнь — сказка! Это не брюзжание, скорее, недоумение: разве можно так жить? Вот рядом парк. Привезли туда будки для касс. Ночью будки перевернули. Поставили на место. Опять перевернули, что ты будешь делать! Объявили комсомольский субботник, чтобы разобрать и вывезти сломанные цветочные тумбы и лавки. В понедельник иду на работу: в парке ни одной целой скамейки — все поломано!

Все это вместе складывается в единый образ провинциального города: и верный наш каменный спутник — скульптура с веслом и отбитой ногой, и лозунги в самых неожиданных местах, и аляповатые, халтурно сработанные плакаты. И, к слову сказать, больше всего не везет образу вождя — за редким исключением, памятники неудачные. И в Касимове Ленину не повезло — его образ тут тоже изуродован в местных агитцелях. Особенно отличились на фабрике «Красный текстильщик»: неестественная поза, с резко выраженной сутулостью, чуть ли не горбом, рука, вывихнутая вверх с непропорциональными пальцами. Мы долгое время не касались этой темы, и множество неудачных копий растратили святой образ, примелькавшись и в силу своей вездесущности не действуя так, как должен действовать на зрителя образ вождя. Все вместе: и газета, наполненная унылыми материалами (хотя встречаются и заметные публикации), и местное радио, вещающее три раза в неделю по десять (!) минут, и автобусы, которых не дождешься, и облупленные стены соборов — все это вмещается в стереотип провинциального города, от которого нам сейчас нужно как можно быстрее освобождаться. Потому что чем раньше встряхнется и пробудится провинция, тем скорее пойдут процессы перестройки во всей стране. Потому что страна наша огромна и огромна провинция.

Потенциал провинции равно так же огромен, как и она сама. Используется же он слабо. В наших анкетах почти все, без исключения, ребята считали активную жизненную позицию остро необходимой сегодня. Но, несмотря на такое единодушие, более двух третей ребят не видели возможности применить свои силы и способности в ближайшем будущем в родном городе. Девяносто процентов хотели покинуть его, уехать, чтобы найти место, «где ты по-настоящему нужен».

— Я убеждена,— говорила Татьяна Пронина на нашей встрече,— что на провинции Россия держалась, держится и держаться будет. От ее, провинции, чистоты и духовного потенциала зависит духовный потенциал всей страны.

Слова верные. Давайте не забудем их.

В Касимове работала выездная бригада «20-й комнаты» в следующем составе:
Сусанна АЛЬПЕРИНА,
Инна ЛЕЩИНЕР,
Анастасия ЛЕВАШОВА,
Кирилл ЕФИМОВ,
Георгий ИЛЬИЧЕВ,
Олег ГОРЯЧЕВ,
Александр КОСТИН (фото),
Владимир ПАВЛЕНКО (фото),
Михаил ХРОМАКОВ.

Нам можно позвонить по телефону 251-02-30. Но если ты хочешь обсудить вместе с нами темы, поднятые на этом заседании, лучше напиши нам. Только пометь обязательно, пожалуйста, на конверте: «Периферия».

Владимир СОКОЛОВ

☆☆☆

Чего ты хочешь, умный век,
В турбины заключивший воды?
Ну лирик я, ну человек
Из вымирающей породы.

Когда тоска трясет, как тиф,
Ряды твоих легионеров,
Зачем же, сердце ощутив,
Ты говоришь, что это нервы?

От бед твоих не в стороне,
Я отзовусь, ты лишь покликай.
Ты ошибаешься во мне,
Как и в душе своей великой.

1950

☆☆☆

Когда я заметил, что время прошло,
Оно показалось огромным,
Как туча, которую вкось отнесло
И за спину — берегом темным.

И не состоялась гроза. Словно жизнь
Томительно не состоялась.
И как ни наверстывай, как ни кружись,
Исчезла. Как малая малость.

Она собиралась насытить леса
И долы. С утра собиралась.
И не состоялась. Такая гроза
Прекрасная не состоялась...

1983

☆☆☆

И все-таки я Пёштяны запомню —
Жарой и ливнем, оглушившим дом,
Страницами, которые заполню
Потом когда-нибудь... Когда — потом?
И как о чем-то птица причитала
Заливисто и бегло перед сном,
И как грустила и как считала
Стук яблок, падающих за окном.
И дни перед отъездом... Как все мглистей
Сходились тучи, тая высоко.
И тополей серебряные листья,
Шумевшие весомо и легко.
Запомню пару зданий в старом стиле,
Пахучих лип могучие стволы.
И как мы лебедей с моста кормили.
И колокольни длинные углы.
И чай, заваренный словацкой шипкой.
И накрененный яблоневый сад.
И колокол, который бил с ошибкой
На пять минут иль пять веков назад.

Гоголь ночью

Как страшно поэтом быть
И зная, уже бессмертно,
Что время не протопить,
Хоть тяга его безмерна,—

К глазам подносить ладонь,
Тайком подводить итоги,
Подбрасывая в огонь
Пейзажи и диалоги,

Шумящие дерева,
Кресты и церквей убранства,
Как хворост или дрова —
Мосты и кусты пространства;

Медлительною рукой
С начала и с середины —
С провидческою строкой
Магические картины.

И быстро шептать Христу
Про мертвые чьи-то души.
И знать, что уже растут
На стенах глаза и уши.

И в ужасе подбегать
К печурке. И нос холодный
Почти что в нее совать.
И в позе сидеть свободной.

И видеть, томясь огнем
(О, только не дописать бы!),
Как ночью горят и днем,
Дымясь вороньем, усадьбы.

И, вечный сжигая труд,
В слепой созерцать отваге,
Как белые буквы мрут
На черных витках бумаги.

☆☆☆

Мимо Новодевичьего кладбища,
Мимо красных стен монастыря
Вечером мы шли, как будто клад ища.
Встали у скупого фонаря.

Здесь лежит уже такая силища
Мысли, чувства (пусть не без греха) —
И державный чин у врат чистилища
И радетель русского стиха.

А когда-то там, в углу, прожекторы
Освещали странного вождя,
Что, силен железными прожектами,
Жил, от нас при жизни уходя.

И москвичкам той поры казалося:
Мучается, бедный, по любви,
Приезжая ночью в эти заросли
Ей признанья выложить свои.

И сочувствовали грусти гения,
Ощущавшего весь мир врагом.
Но зачем такое освещение?
А от них, таящихся кругом.

А кругом лежали люди мертвые,
Не зависевшие от него.
А другие, в тундре распростертые,
Не могли поделать ничего.

Не забыть наивного сочувствия
Душ, о нем судивших по себе.
Стих немеет, ощутив присутствие
Всех встающих в гневе и мольбе...

Мимо Новодевичьего кладбища,
Мимо красных стен монастыря
Мы идем, между собою лад ища.
Плещет осень, листьями соря.

Времена открыты, как лектории.
Кладбища закрыты до утра.

Речь о нем — еще не вся История.
У нее свои прожектора.

☆☆☆

Я стихи когда-то написал.
В них кудлатый сумрак нависал.

И платаны, глухо шелестя,
Возвышались, маясь и грустя.

Несколько созвездий, тень луны
Сквозь полет белесой пелены.

Девушка мелькнула на углу
И мгновенно канула во мглу.

Не мелькнула, а блеснула ты —
Миг восторга или немоты,

Словно гениальная строка
На мгновение и на века,

Посетив, исчезнувшая вдруг.
Мучайся теперь, ищи вокруг.

Я стихи когда-то написал
(А точнее — их не дописал).
До сих пор в них дождик моросит
И душа тихонько голосит.

В них почти подсказан был секрет
Сопряженья вечности и лет.

В них сам бог порядок наводил
С солнца пятна, как с души, сводил.

Я стихи когда-то написал
(А вернее — их не дописал).

И вложил их в книгу, что потом
Букинисту сдал, как лишний том...

Мне хотелось время победить.
И тебя и душу убедить.

В том, что годы можно сжать в горсти
(С детства до последнего «прости»),

И потом — на выбор — жить в любом...
До сих пор ищу я этот том.

В книжных лавках, дома и в гостях,
Как поэму в нескольких частях,

О которой, как о жизни, я
Думаю на склонах бытия.

Мне хотелось время победить.
Личный срок бессмертно утвердить.

Мне когда-то было двадцать пять.
Я не знаю, будет ли опять.

☆☆☆

Я говорю о том, чего не может
Произойти на небе и земле,
О том, что и души моей не гложет,
Помаркой оставаясь на столе.

Я говорю о том, что не случится,
О том, чего нисколько не боюсь,—
Что кто-то нам поможет разлучиться
На две молвы, как разлучали Русь.

Я не забуду нас с тобой, скитальцев
По белым улицам,
И Летний сад,
Где оставляла отпечатки пальцев
Ты на любой из инистых оград.

Но я забуду, даже не причислив
К тем улицам, тот подмосковный сад,
Где с каменными лицами —
При мысли
О нас с тобой — все статуи стоят.

Все о тебе...

Кружится снег, как будто
Кружится голова.
Это такое утро.
Это твои слова.

Кружатся все деревья.
Кружатся все дома.
Я перед вашей дверью
Снова схожу с ума.

Кружится снег, как будто
Кружится все вокруг.
Улица так продута,
Что замерзает звук.

Снег босиком по снегу
К двери твоей бежит.
Голову даже небу
Кружит или кружит.

Это, наверно, счастье.
Это, наверно, жизнь.
Сердце ведет к причастью
И подымает ввысь.

Это в вечерней сини
Хлопьями серебра
Снова кружусь я ныне
У твоего двора.

Ты для меня, как Вега,
Видимая едва...
Кажется, что у снега
Кружится голова.

☆☆☆

Снова прячется рифма в кору
Потемневшего осенью древа,
Хоть слова затевают игру
Слева вправо и справа налево.

Снова прячется песня в дупло
Отогреться до звонкого срока...
Говорят, что сегодня тепло.
А мне холодно и одиноко.

Константин ВАНШЕНКИН

Духовая музыка

Скромные юбочки, брюки на штрипках.
Окна музшколы. Метельный февраль.
Там регулярно играли на скрипках,
Виолончелях, звучал и рояль.

Жить, эти звуки на свет добывая,
Тоже, наверное, нужно уметь.
...Музыка нравилась нам духовая,
В гулких пространствах гудящая медь.

Явственно слышалась в клубах и в парках,
В залах, где туфельки на каблуках,
Сущность военная труб этих жарких,
Даже когда они в штатских руках.

Ну, а в дальнейшем, средь сел погорелых,
В прошлое хоть на минуту маня,
Гром барабана и отзвук тарелок
Долго преследовать будут меня.

Воспоминание

И, вновь живя в былой стихии,
Кому-то вымолвишь: — Прости!..
Воспоминания иные
Обуглить могут до кости.

Внезапный повод отдаленный
Вдруг заставляет в миг такой
Схватить тот провод оголенный
Незащищенною рукой.

☆☆☆

Удары бывают,
Что память загубишь...
— Любовь забывают?
— Любовь не забудешь.

Мозги забивают
И чувствуют бодрость...
— А зло забывают?
— И трусость, и подлость!

Труды затевают,
Друзей навещают...
— Добро забывают?
— Добро не прощают.

☆☆☆

Берез рассеянная толпа,
Передвечерняя даль туманная,
Где вьется узенькая тропа —
От узнаванья до понимания.

И хочется бережно сохранить
То, чем душа постоянно лечится:
Безмерно тонкую эту нить —
От человека до человечества.

☆☆☆

Тише воды, ниже травы,
В детстве отца называла на «вы».

Сызмальства мать обожала свою.
Брата любила. Ценила семью.

Время прошло вдоль домов и оград.
Муж оказался дороже, чем брат.

Дочь оказалась роднее, чем мать...
Нам это, кстати, пора понимать.

Мода-87

И у стройных, и вот — у сутулых,
У девиц и у тех, кто в годах,
Эта странная краска на скулах,
Ярче, может быть, чем на губах.
Та же страсть, что бывает у пьяниц.
Как бы общий для всех камертон.
Лихорадочный этот румянец,
Этот резкий оранжевый тон.

...Ровный свет, продолжающий литься
С тех небес, где мы в мыслях парим,
На прекрасные женские лица
И на их незатейливый грим.

☆☆☆

Идет, каблучками цокая,
Торопится налегке.
А грудь у нее высокая,
Платочек в одной руке.

Коса у нее каштановая,
В серьгах у ней бирюза.
Целуется, постанывая,
Зажмуривая глаза.

С такою возможны горести.
Ответит нам кто за них?..
Так думал сквозь слезы в поезде
Расстроенный призывник.

Давнее

Вернуть опять
Свои повадки,
Часок поспать
На плащ-палатке.

Предгорья Альп,
Зари полоска.
Прозрачный альт
У подголоска.

В дыму, в пыли,—
Без аллегорий,—
Сквозь ад прошли
До тех предгорий.

☆☆☆

У экрана вновь сидим.
Вечереет. Длится лето.
Сигаретный вьется дым.
Погромыхивает где-то.

В телевизоре тот гром,—
В Барселоне на футболе,—
Или близко, за окном,
В затуманившемся поле?

Непонятно, где гремит,
Угрожая иль со скуки,
Чья трава и чей гранит
Отражают эти звуки?

Словно главные призы,
Ливнем полные и градом,
Две далекие грозы,
Оказавшиеся рядом.

☆☆☆

Пусть не глазами земледельца
В поля привычно кину взор,—
По-городскому заглядеться
Могу на этот же простор.

Пускай я не был землемером,
Но эту землю без прикрас
Я измерял другим манером,
И тоже, кстати, много раз.

В чем ни была б моя награда,
Не стану требовать иной.
Протискиваться лишь не надо
Между читателем и мной.

Из проповеди

...Напасть на старого
Или на малого,
Приблизившегося к окну,
Напасть на слабого
И на усталого
Или на женщину одну;
Напасть на спящего
Или на голого,
Купающегося в реке,
И на скорбящего,
И на веселого,
Который пел невдалеке;

Напасть без риска,—
Вот действительно
Позорно, низко,
Отвратительно...

Борис
МОЖАЕВ

ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВШИ

Трагикомедия

ПРОЛОГ

На авансцену выходит автор.

Автор. Это случилось в пятьдесят девятом году... Я приехал с Дальнего Востока, где служил и работал много лет. Главный редактор известного журнала послал меня в родные места описывать успехи моих земляков. «Это вышгородское дело,— сказал он,— надо подать так, чтобы от грандиозного размаха земной шар качнуло. Родина твоя — тебе и писать».

Размах был и в самом деле грандиозный... Но чем и как это кончилось?.. Впрочем, смотрите сами и судите. Я старался быть беспристрастным, но не мог. Зато я ничего не скрыл от вас. Некоторые подумают или скажут: «А нам-то зачем знать об этом? Новые времена — новые заботы...» Да, конечно. Но вспомните пословицу: «Кто старое помянет — тому глаз вон. А кто старое забудет — тому оба вон».

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Областная радиоперекличка

На переднем плане стол Терентьева. За столом у микрофона сидят Терентьев и Земляков.

Терентьев. Все готово?

Земляков. Так точно.

Терентьев. Начали.

Земляков *(включая микрофон).* Товарищи вышгородцы! *(Лучи прожекторов выхватывают из темноты в глубине сцены столы с такими же микрофонами; за столами сидят руководители районов.)* Сегодняшняя радиоперекличка посвящается, можно сказать, эпохальному событию нашей области — мы с вами являемся свидетелями...

Терентьев *(в микрофон бросает реплику).* Не знаю, как вас, а меня на суд никто не вызывал в качестве свидетеля.

Все смеются в микрофоны.

Земляков *(переждав смех, с меньшим энтузиазмом).* Товарищи, мы берем на себя ответственные обязательства: сдать в текущем году два плана по мясу. Этот высокий барьер мы должны взять...

Терентьев *(бросает реплику в микрофон).* Барьеры на скачках берут. А мы вроде не лошади.

Все смеются в микрофоны.

Земляков *(пережидает смех, сам лучезарно улыбаясь).* У нас, товарищи, есть основания быть в хорошем настроении. Слово имеет Михаил Иванович.

Земляков кладет перед Терентьевым отпечатанный доклад.

Терентьев *(читает, запинаясь).* В ознаменование сорок второй годовщины со дня основания Советского государства... *(Сопит и смотрит тяжко на Землякова.)* Наша Вышгородская область, заступив на трудовую вахту, берет на себя... *(Отрываясь от чтения.)* Земляков, ты с кем сочинял этот доклад?

Молчание.

Сами сочиняли — сами и читайте, а я без вашей бумажки обойдусь.

Все смеются в микрофоны.

На перекличке речей не читают. Да еще по бумажке. Для этого совещания имеются. Вот соберемся на актив, там и поговорим. Как дела идут, товарищи? Все резервы подсчитали? Потянем два плана? Казанков, как думаешь?

Казанков. Если мы, вышгородцы, не потянем, тогда кто же потянет?

Терентьев. Ишь ты какой гордый! Ты дело говори.

Казанков. А я и говорю дело. Дадим, Михаил Иванович, два плана. А если надо, дадим и больше. У нас слово с делом не расходится.

Терентьев. Ну, ну... Таганов, как вы?

Таганов. Считаем, Михаил Иванович.

Терентьев. Все считаешь? Смотри не просчитайся. Как бы на активе пересчитывать не пришлось.

Таганов. Не слышу, Михаил Иванович.

Терентьев. Ты микрофон приставь к уху... а не к другой части тела.

Все смеются в микрофоны.

Моторная, как дела?

Моторная. Подъем исключительный! Мы готовы, Михаил Иванович!

Терентьев. Вы всегда готовы. Прямо пионерия.

Смех в микрофоны.

Моторная *(счастливо смеясь).* Стараемся, Михаил Иванович.

Терентьев. Готовьтесь к активу, товарищи. Дело важное. Перед всей страной экзамен держать будем, с народом советуйтесь. Поменьше в кабинетах сидите.

Терентьев выключает микрофон, гаснут прожекторы, исчезают столы секретарей райкомов.

Кто к нам из центра едет?

Земляков. Мыловарцева.

Терентьев. Уж для такого дела никого, кроме бабы, подобрать не могли.

Земляков. Она экономист... кандидат наук.

Терентьев. Вот именно, кандидат, да еще в юбке. По такому случаю мог бы и сам Епифанов приехать.

Земляков. Говорят, занят.

Терентьев. А мы тут бездельничаем... *(После паузы.)* И пригласите из Москвы писателя Силантьева.

Земляков. Такого добра у нас и своего хватает.

Терентьев. Какие у вас писатели! Все Мудрики да Шудрики. И фамилии-то вроде в насмешку даны. А тот не просто писатель — автор! Он пишет такое, что и в театре ставят, и в кино снимают, и в опере поют. К тому же он земляк наш. И корней наших. Я справки наводил.

Земляков. А может быть, он не поедет?

Терентьев. Напишите, что я лично приглашаю. Приедет...

Картина первая

Кабинет Терентьева. Михаил Иванович сидит за столом, пишет.

Входит Маша.

Маша. Михаил Иванович, к вам автор. Говорит — из Москвы. Силантьев.

Терентьев. А-а! Силантьев? Давай его сюда!

Маша уходит. Михаил Иванович распрямляется в своем кресле. Ждет.

Входит Автор.

Терентьев *(еще издали)*. Здорово, земляк, здорово! Ну-ка, ну-ка, покажись, какой ты есть автор!

Автор *(подходя, протягивает руку)*. Здравствуйте!

Терентьев *(встает, осматривает автора удивленно)*. Ты тетки Даши-Мочилки сын! Вылитый в мать. Вот те раз! А я думал, из каких ты Силантьевых?

Автор *(смущаясь)*. Мою мать на селе Перепелкой звали. А Мочилкой — только в семье. Она из Мочил была взята. Откуда вам это известно?

Терентьев. Здорово живешь! А я где вырастал? У Силантьевых и рос... Меня тетка Даша щами кормила.

Автор. Не помню.

Терентьев. Немудрено. Тебя еще на свете не было.

Автор *(пожимая плечами)*. Я в самом деле не слыхал...

Терентьев *(перебивая его)*. Как не слыхал? А тетку Наталью знаешь? Ну, Макарьевну?

Автор. Как не знать!

Терентьев. Ну? Я же ее племянник. У дяди Максима и вырастал. У твоего родного дяди. Эх ты, ягода-малина!

Автор. Так вы... Мишка-Тырчок?!

Терентьев. Ха-ха-ха! Вот он я и есть. Тырчок. Что же своих не признаешь?

Автор. Так ведь на дороге вас не встретишь. А здесь, в кабинете, не больно вы и похожи на наших... *(Смутившись.)* На себя, то есть на того, давнего.

Терентьев. А ты садись, ягода-малина. Ну и автор пошел ныне. Нет чтобы самому приехать, написать про земляков... Ведь гремим... на всю страну! Да чего там — на весь свет!!!

Автор. Я ведь не очеркист.

Терентьев. А зачем нам очеркист? Ты давай пьесу. Завинчивай так, чтобы дух захватило. Понравится — оставайся у нас. Дачу дадим, квартиру.

Автор. Спасибо. Но я, знаете...

Входит Маша.

Маша. Михаил Иванович, к вам Василий Спиридонович с Казанковым.

Терентьев. Давай.

Входят Казанков, Земляков, Мыловарцева.

Терентьев. Знакомьтесь. Вот он и есть автор... Писать про нас будет. *(Знакомит.)* Это — представитель центра товарищ Мыловарцева. А это наш секретарь по заготовкам — Земляков, а это — секретарь передового райкома Казанков.

Все рассаживаются.

Так вот, значит. Пьесу про нас писать будут. А мы подскажем. Обсудим. Мы еще этому автору шишек наставим.

Мыловарцева, Земляков, Казанков смеются.

Автор. Я еще не решил насчет пьесы...

Терентьев. А ты решай, не стесняйся. Здесь все свои.

Мыловарцева. Воплощение социального заказа есть главнейшая обязанность нашей литературы. И если философски осмыслить...

Терентьев *(перебивая ее)*. Да некогда нам тут с философией возиться. *(Автору.)* Ты вот что скажи, с чего начинать будешь?

Автор. Еще не знаю.

Терентьев. А я тебе скажу. Начинать надо так. Сидит генерал за столом... вот эдак вот. *(Разводит руками.)* И, значит, на кнопку. *(Надавливает на кнопку.)*

Входит Маша.

Это я не тебя. Ступай!

Маша уходит.

Вот, значит, генерал сидит. А ему доложили: лучший, понимаешь, капитан, командир батареи ... герой! Уходит, понимаешь, вчистую. На гражданку. Уходит, и шабаш! А почему? Генерал возмущен. Значит, на кнопку. *(Надавливает на кнопку.)*

Входит Маша.

Это я не тебе. Ступай!

Маша уходит.

Терентьев. Да. Является адъютант. «Слушаю, товарищ генерал!» «Где капитан такой-то?» «Здесь, у вас в приемной». «Не передумал еще?» «Никак нет». «Давай его сюда!» Входит капитан, докладывает по всей форме. Вид геройский... «Ну, почему же ты уходишь от нас?» Говорит: «На родину хочу, товарищ генерал. Стосковался». «А чем тебе у нас плохо?» «Не плохо, товарищ генерал. Да не Вышгородская область». «А что тебе Вышгородская область? Земля там медом мазана?» «Эх, товарищ генерал, вы хоть раз побывали в Вышгородской области?» «Нет,— говорит генерал,— не бывал». «Ну, так поезжайте. Раз побываете — там и останетесь на всю жизнь». И что это за область такая, думает генерал, кто ни увольняется — все туда едут. Что-то там такое есть... *(Автору.)* Понятно?

Мыловарцева. Да, развитие патриотизма, любви к родной земле — все это краеугольные камни политики воспитания.

Терентьев. Да погоди ты со своими камнями! *(К Автору.)* Нравится или нет?

Автор *(пожимая плечами)*. Не знаю, право... Завязка в одном месте, а действие в другом.

Казанков. Можно не только одного капитана послать в Вышгородскую область. К примеру, генерала тоже. Как, Михаил Иванович?

Терентьев. А что ж? И неплохо! В гости может приехать, капитана проведать... Или по случаю праздника. Перевыполнение плана. Интересно!

Земляков. Очень интересно! Сажают генерала в машину... И таким приемом всю область можно показать. Достижения передовых людей.

Терентьев. А в машину с генералом тебя бы посадить. Ты, поди, спишь и видишь себя в пьесе? *(Автору.)* Он у нас артист. На Бондарчука похож.

Автор. Вроде бы и в самом деле похож.

Терентьев. Фигура мелковата. Ну, ладно... Тебе чего нужно? Машину дадим. Езжай куда хочешь. Давай изучай жизнь. А мы тут о деле поговорим. Да не забудь на актив.

Автор *(встает)*. Буду. *(Прощается и уходит.)*

Терентьев *(Мыловарцевой)*. Как вам наши планы?

Мыловарцева. Товарищ Епифанов рассчитывает на вас. Мы окажем вам всемерную поддержку. Можете надеяться.

Терентьев. На бога надейся, да сам не плошай.

Казанков. Михаил Иванович, товарищ Мыловарцева кое о чем умалчивает.

Терентьев. Что у вас за тайные происки? Мелкобуржуазный прием, понимаете ли. В моем кабинете должно быть все начистоту.

Мыловарцева *(слегка кокетничая)*. Нам, женщинам, не противопоказана некая таинственность. К тому же я в сообществе. *(Она кивает в сторону Землякова и Казанкова.)*

Терентьев. Ух ты, ягода-малина! Казанков, Земляков, это что — заговор против меня?!

Все смеются.

Казанков. Заговор не заговор, а некоторый подкоп под ваш авторитет.

Терентьев. Что?!

Казанков. Ну, это фигурально выражаясь... Дело в том, что кое-кто из соседей тоже берет по два плана.

Терентьев. Кто вам сказал?

Мыловарцева. Это истина, товарищи. И зареченцы, и светоградцы.
Земляков. Мы и сами кое-что слыхали. Наводили справки.
Казанков. Да, Михаил Иванович, наша авангардная роль уходит в прошлое.
Терентьев. Никуда она не уходит. *(Встает, выходит из-за стола.)*
Казанков, Мыловарцева, Земляков переглядываются. Терентьев с минуту ходит по кабинету.
Казанков. Сила положительного примера может быть потеряна при эдакой общей нивелировке.
Мыловарцева. В том-то и дело. Ведь силу положительного примера надо рассматривать, так сказать, в его исключительности, как бы недосягаемости. Это символ, некий ореол, по которому должны воспитываться все.
Терентьев. Правильно мыслите.
Земляков. Вот именно, Михаил Иванович. Отбрасывая ложную скромность, давайте прямо скажем — до сих пор мы фактически были областным маяком. И должны им оставаться — вот в чем задача!
Казанков. Сегодня тот герой, кто даст три плана.
Терентьев. Вы это серьезно?
Земляков. В таком деле не шутят.
Мыловарцева. Если философски осмыслить...
Терентьев. Опять вы со своей философией! Тебе философия, а нам головы класть...
Земляков. Мы прикидывали тут с Казанковым, с Моторной — получается!
Терентьев. Но ведь мы рассчитали на два плана?
Казанков. Это как считать! Не то, что есть, а возможности, Михаил Иванович! Что можем, что должны!
Мыловарцева. Михаил Иванович, жизнь определяется не объективным самотеком, а исторической закономерностью. На высоте положения оказывается тот, кто способен определить движущую силу данного момента. А в данный момент существует исключительный народный подъем, вызванный последними решениями. И скажу вам по секрету: большой человек рассчитывает именно на вас.
Терентьев сурово смотрит, переводя взгляд то на одного, то на другого, и молчит.
Казанков. Михаил Иванович, Мыловарцева права: почин большого дела берут на себя сильные и, простите за откровенность, наиболее достойные.
Терентьев. А что, и Моторная «за»?
Земляков. И Моторная, и другие! Да что там говорить! Весь народ вас поддержит, Михаил Иванович.
Терентьев. А что, здесь Моторная?
Земляков. Как раз у меня сидит.
Терентьев. Зови!
Земляков уходит.
Терентьев *(притворно строго Казанкову)*. Ах вы, отчаянные головы!
Казанков. Михаил Иванович! Главное — взяться. Мы сделаемся опять центром внимания. И потом давайте начистоту... Уж если я, допустим, в таком важном деле чуть не дотягиваю, вы же помогаете мне. И так, и за счет соседей. Всеобщая польза... И нам помогут.
Терентьев. Помощь? Само собой... если на пользу. Но давайте рассчитывать прежде всего на собственные силы.
Казанков. О чем говорить, Михаил Иванович!
Мыловарцева. Если философски осмыслить, на великие дела решаетесь вы, Михаил Иванович.
Входят Земляков, Моторная, Таганов.
Моторная *(почти от порога)*. Я так и думала, верила, что вы согласитесь, Михаил Иванович. Мы тут посоветовались с товарищем Земляковым и решили: для вас, Михаил Иванович, только три плана. Дадим!
Терентьев. А ты что скажешь, Таганов?
Таганов. Это насчет трех планов? Да вот, запомнилась мне с войны речушка Сотьма. Гнали мы немца сутки, другие... третьи. И счет потеряли. Подходит эта самая Сотьма. Воды в ней гусю по колено. А тина, тина — ноги не протащишь, не то что орудия. Надо бы переправу наладить — все честь честью. Но уж тут и крикуны найдутся. Давай вперед! Чаво там! Крой до горы! Ну и поперли мы за эту речку. Всю артиллерию оставили. Нас и встретил немец, как говорится, во всеоружии. Да такого нам перца дал, что мы еле ноги унесли оттуда. И ведь вот досада! Вместо того чтобы дать этим крикунам по шапке, мы, глядишь, опять при случае попрем вброд без переправы.
Терентьев *(мрачно)*. Ты на что это намекаешь?
Таганов. Да так, к слову пришлось. А насчет планов, мы уже все подсчитали. На два можем рискнуть, а выше не подымемся.
Казанков. Плохо считаете, товарищ Таганов! Ну что такое два плана? Ведь это то, что уже есть. А возможности? Давай прикинем. Возьмем хотя бы твою телятницу Птицину. Она почти по килограмму в день дает привесу. А Бочарова? У нее по семь тысяч литров молока от коровы. Опять же твой Ипатьев... Свинарь на всю страну. Вот на кого равняться, вот по кому считать надо!
Моторная. Что там говорить! Мы собрали свой районный актив и прикинули... Да на одних утках, гусях, курах мы целый план можем вытянуть.
Таганов. Это мелочи.
Моторная. Ой, не отмахивайтесь! Птица не мелочь. А кролики? Михаил Иванович, да ведь одна партия гусей за лето в десять раз больше себя даст приплоду. А утка — в двадцать... Мы приняли решение — всех школьников привлечь на борьбу за большое мясо... Каждый ученик вырастит за лето десять цыплят и двенадцать кроликов! Вот они где, резервы. Только надо уметь с карандашиком работать... С карандашиком!
Казанков. Это верно. А насчет лугов! Создать выпаса по откорму. Телят взять на учет. Я тут вчера прикидывал... Какие возможности!
(Передает Терентьеву исписанный листок. Тот смотрит, согласно кивает головой.)
Терентьев. Да, на наших лугах чудеса можно творить. Народ у нас подходящий. Да еще кукурузу двинем! Что скажешь на это, Таганов?
Таганов. Мы уже посчитали. Голова, она и есть голова. Сколько ее ни считай, двух из одной не сделаешь.
Терентьев. А что Казанков говорил?
Таганов. Да я, признаться, не слыхал. Контузия, Михаил Иванович. Уши закладывает.
Терентьев. Чудна́я у тебя эта контузия. Когда тебе нужно, небось все слышишь. Смотри, как бы мы тебя не расконтузили. Вот ахнем тебя по уху.
Все смеются.
Дело они говорят, Таганов. Дело. Вся наша жизнь по-новому перестраивается. И считать надо по-новому.
Мыловарцева. Истинные слова!
Моторная. И более того, Михаил Иванович, все перевернем! Все по-новому поставим.
Терентьев. Это как? С ног на голову?
Моторная. На новые рельсы!
Терентьев. Да на твою тягу. Далеко не уедешь. Хватит шутить. Значит, как договорились — держать равнение на три плана! Ночь вам на раздумье, считайте! А завтра на актив. На активе доложим. Народ нас поддержит.

Картина вторая

Дом Казанкова. Открытая веранда, сад фруктовый, огороженный плотным забором. Чувствуется, что дом стоит на высоком речном берегу...
Отсюда хороший вид. Казанков водит Автора по саду. Прасковья Матвеевна накрывает стол, постоянно уходит с веранды за вилками, ножами и пр.
Казанков. А вот эти яблони я привез из Краснохолмска.
Автор. Далеко! Сколько им лет?
Казанков. Шут их знает. Привез я их нынешней весной.
Автор. Такие деревья везли за сотни километров?
Казанков. Это, братец, мичуринская бельфлер-китайка. Настоящая! Такое добро не жалко и тысячу верст провезти. Во, попробуйте. *(Срывает яблочко.)*
Автор *(кусает яблоко, морщится)*. Кисло.
Казанков. А что же вы хотите? Июнь месяц... Осенью попробуйте! За ухо не оттащишь. *(Подкидывая на руке яблочко.)* Завязались эти яблочки на Донце, а созреют в моем саду. Чудеса?
Автор. Да... чудеса... Вы селекционер-любитель?
Казанков. Когда мне! Паранька занимается.
Автор. Домработница, что ль?
Казанков. Жена. Прасковья Матвеевна.
Входит Паранька.
Паранька. Сергей, чернозем привезли. Куда сваливать?
Казанков. Давай в тот конец... под крыжовник. *(Машет рукой.)*
Паранька уходит.
Автор. Простите, это что за чернозем?
Казанков. Земля.
Автор. Зачем же ее привозить?

Казанков. У нас здесь не земля, а песок. Вот мне и привозят чернозем из-под Любовникова. У нас все по науке.
За сценой слышен шум машины.
Автор. Можно посмотреть?
Казанков. Пожалуйста.
Автор уходит.
Казанков. Парань!
Паранька *(появляясь на пороге)*. Что?
Казанков. Спишь пошто? Ползаешь, как муха осенняя! Когда самовар будет готов?
Паранька. Сейчас. *(Поворачивается, уходит.)*
Казанков. Погоди! За столом сиди приветливей... Не то нахохлится, как сова. Из тебя и слова не вытянешь.
Паранька. А про что же мне говорить?
Казанков. Похвали его книгу «Райгород».
Паранька. Но я ее не читала.
Казанков. Такие книги не читают — их пропагандируют.
Паранька. Этого я не умею.
Казанков. А что ты умеешь? Ни в мир тебя, ни в пир! Эх ты, сирота казанская... Хоть стол получше накрой.
Паранька уходит.
Казанков. Не нравится мне этот автор. Лезет везде, нюхает, щупает.
Слышен шум отходящей машины. Входит Автор, руки перепачканы землей.
Автор. Извините, помыть бы руки.
Казанков. Пожалуйста, в ванную, туда. *(Проводит Автора, спрашивает на ходу.)* Ну, как чернозем?
Автор. Драгоценная земля...
Паранька выносит самовар, ставит его на стол. Входят Казанков и Автор.
Казанков. Пожалуйста, к столу! Чем богаты, как говорится.
Автор *(присаживаясь)*. Ого, красные помидорчики! У вас что — теплица?
Паранька. Из совхоза привозят. Мы на обкомовском снабжении.
Казанков метнул на нее сердитый взгляд.
Автор. Не понимаю, держите специальный совхоз?
Казанков *(разливая коньяк)*. Живем, как в вашем романе, в «Райгороде». Правда, у вас там доярки как сыр в масле катались. Мы ведь тоже не баклуши здесь бьем, стараемся, работаем...
Автор *(смутившись)*. Я не с той целью, чтобы упрекнуть вас.
Казанков. И я тоже. *(Поднимает рюмку.)* Ваше здоровье!
Пьют.
Казанков. Скажите, это правда, что за «Райгород» вам дали три Сталинские премии? Первую премию — за роман, вторую — за постановку, третью — за оперу?
Автор. Нет, это неправда. *(После паузы)*. И вообще все там неправда.
Паранька *(удивленно)*. Вы написали неправду?
Автор. Да.
Паранька. Как же это?
Казанков. Очень просто — когда он писал, та установка была правдой. А потом она оказалась неправдой. Это бывает.
Паранька. Но ведь вы же знали, что неправду пишете?
Автор. Знать-то знал. Но прочел статью одну — правда, мол, не то, что ты видишь, а то, что должно быть. Вот и думал, что изображу так все, как следует. Как должно быть... И жизнь пойдет по писаному. А она не пошла.
Паранька. Какая жалость! Значит, ошиблись?
Автор. Так ошибся... Вот уже семь лет ничего написать не могу.
Казанков *(наливая коньяк)*. Пройдет. Просто вы старую линию потеряли, а новую еще не нащупали. В этом все дело. Как говорит у нас бакенщик Пупынин — когда идет линия, поет и глиняная, а то и медный рог не игрок. Мудро! Линию надо держать! И видеть, куда она идет. Ну, за то, чтобы заиграл ваш медный рог!
Пьют.
Автор *(вынимает записную книжку)*. Бакенщик Пупынин... Где его можно найти?
Казанков. На переправе. Он еще и паромщик.
Раздается звонок.
Казанков. Кого там несет в такую пору?
Паранька встает и возвращается с Веселиновым.
Веселинов. Ты меня вызывал, а я на лугах был. Только что приехал.
Казанков *(сухо)*. У меня, кажется, кабинет есть в райкоме.
Веселинов. На ночь глядя кто же в кабинете дожидается? А вызов срочный. Вот я и явился.
Казанков. Садись! Знакомьтесь. Писатель из Москвы. Силантьев. Председатель колхоза Веселинов.
Автор и Веселинов кланяются.
Казанков *(наливает коньяк, говорит Автору)*. Когда-то он у нас в передовые метил.
Веселинов *(Автору)*. Когда-то мы с ним вместе ушли в тридцатитысячники. Он успел силосные башни построить за государственный счет и повышение получил. Правда, потом эти башни колхозники на печи растащили, по кирпичику... За ненадобностью...
Казанков. Он у нас человек веселый, фамилию свою оправдывает. Не завидуй. Веселинов! Сегодня я, а завтра ты, как в песне поется.
Веселинов. Знаю я твою песню.
Казанков. У нас песня одна. *(Поднимает рюмку.)* За наши общие успехи!
Веселинов *(пододвигает стакан)*. Ты мне лучше налей в этот стаканчик. А то у меня после одной рюмки горло пересыхает.
Казанков *(сдерживаясь)*. И пить не умеешь. Что ж, налей сам.
Веселинов наливает полстакана и выпивает.
Казанков. Почему собрание не проводишь? По итогам областного актива...
Веселинов. Завтра собираю.
Казанков. Насчет начисления пенсий, что ли?
Веселинов. Неплохо тебя осведомляют.
Казанков. Я обязан все знать. Не дело вы с пенсиями затеяли. Не подошло тому время.
Веселинов. У кого, может, и не подошло. А у нас приспело.
Казанков. В некоторых колхозах не то что пенсии, на трудодни платить нечем. Вы подаете дурной пример.
Веселинов. Пусть не подражают, ежели это дурно.
Казанков. Завтра на собрании пересчитайте план по мясу.
Веселинов. Мы его на прошлой неделе пересчитали. Сдадим два плана, как и приняли.
Казанков. Приняли три плана! Вы были на областном активе?
Веселинов. Меня там никто не спрашивал. И выступить мне не дали.
Казанков. А я тут при чем? Председательствовал Земляков, к нему и предъявляй претензии.
Веселинов. Нам некогда заниматься претензиями. Сенокос на носу.
Казанков. Значит, вы отказываетесь принимать на собрании новые обязательства?
Веселинов. Мы еще старые не успели выполнить.
Казанков *(встает)*. В таком случае этот вопрос поставит парторг колхоза. А с вами поговорим на бюро.
Веселинов. До новой встречи... приятной. *(Прощается с хозяйкой и Автором.)*
Автор. А можно мне с вами? На собрание хочу.
Веселинов. Пожалуйста. Только учтите, в президиум не посадим и представлять не стану.
Автор. Что вы, что вы! Я в зале посижу, где-нибудь в уголке.
Веселинов. Тогда поехали.
Автор встает, торопливо прощается с хозяевами и выходит с Веселиновым.
Казанков *(после паузы)*. Сумасброд.
Паранька *(убирает со стола)*. Сергей, я все хотела спросить у тебя. Как же это вдруг случилось на активе? Считали, считали. . Два плана наскребли, и вот — три?
Казанков. Ты что, не знаешь, как это делается? Выступил один с трибуны, другой... Их поддержали. Народ решил!
Паранька. Но ведь, Сергей, мы все наши резервы подсчитали. Все до головы... Откуда же мы возьмем еще столько скота?
Казанков. Плохо считали! Надо пересчитывать по-новому.
Паранька. Но ведь нельзя из одной коровы сделать две!
Казанков. Надо сделать, и не две, а три. Область приняла обязательство — значит, надо выполнять его.
Паранька. Но каким образом?
Казанков. А птицу мы считали? А телят частных, коров? Выпаса создать, луга отвести. Зеленую рожь на подкормку.

Да уж если встанет крайняя необходимость, и на стороне закупим скот... Для пользы дела!

Паранька. А где взять деньги?

Казанков. Из своего кармана выну.

Паранька. Но это ведь авантюрой пахнет!

Казанков. Боже мой, какая дура! *(Встает и уходит, хлопнув дверью, потом заглянув в притвор.)* Засиделась ты в сельхозотделе. Вот что я тебе скажу. Пора бы тебе, агроному, и колхоз взять. Вот и научилась бы считать. А то мне стыдно — жену в конторе пригрел...

Картина третья

Колхозное собрание — президиум слева, колхозники справа. В президиуме Веселинов, Фетинья Пряхина, председатель сельсовета Федосей Иванович, бригадир Егор Иванович, скотник Жасеин. Председательствует старый пасечник Минеевич. Среди колхозников много стариков и старух. Автор сидит среди колхозников.

Пряхина *(наклоняясь к Веселинову)*. Давайте кончать с пенсиями. Перейдем к обсуждению трех планов.

Веселинов. То есть как? Колхозники утвердили такую очередность, а мы поломаем? Хозяева-то они! А мы слуги.

Пряхина. Шутки неуместны. Вечер на дворе, скоро стадо погонят... Нам планы обсуждать, а они домой побегут.

Веселинов. Тебе поручили эти планы, ты и остановишь. *(Повернувшись к Минеевичу.)* Продолжайте!

Минеевич *(строго смотрит в зал)*. Кто очередной?

В середине зала качнулась чья-то голова, потом поднялась загорбина в фуфайке, выплыла в проход и только тут разогнулась. Старик степенно поклонился лысой головой сначала президиуму, потом залу.

Викул. Граждане колхозники! *(Это к президиуму, потом, обернувшись, в зал.)* Товарищи мужчины!.. И протчие женщины! Поскольку я, значит, как и всякий живой человек, должен кормиться, я и составил заявление... *(Он вынул из кармана брюк тетрадный листок, развернул его и протянул к сцене, а сам ни с места.)* В котором и подаю прошение на пензию. Прошу не отказать.

Веселинов. Передайте заявление, Викул Андриянович!

Кто-то взял у Викула заявление, передал в президиум.

Веселинов *(рассматривая листок)*. Ну как, товарищи, решать будем?

Минеевич. А чего там решать! У него стажу колхозного нет. Какая может быть пензия?

Голос из зала. Ты, Викул, где был, пока не состарился?

Викул. Так вы же все знаете. Сидел с тридцать седьмого года. *(Пошамкав, добавил.)* По линии врага народа.

Минеевич. Вот и ступай туда. Там и спрашивай пензию. А на чужой каравай рот не разевай. Ты в каком месте сидел?

Викул. В северном... На Тамыре.

Минеевич. Известно.

Голос из зала. Я грю, стажа у него нет.

Голос из зала. Смотри-ка, председатель, как бы тут обману не было?

Веселинов *(теребит заявление Викула)*. Да, стаж у него и в самом деле малый. Значит, с тридцать первого года по тридцать седьмой. Всего шесть лет, а нужно двадцать пять...

Викул. А тюремный стаж рази не в зачет? Семнадцать лет просидел и два месяца.

Веселинов. Конечно, и тюремный стаж надо засчитывать. Но мы колхоз, у нас есть свой устав... Как собрание решит.

Голос из зала. Он там, в лагере, и утром, и в обед пайку хлеба получал. А мы слезун ели!

Голос из зала. Хлеба отродясь не давали на трудодни.

Голос из зала. А ему пайку три раза в день.

Викул. Так ведь я за эту пайку норму выколачивал.

Голос из зала. А мы что, не работали?

Жасеин *(приподнявшись из президиума)*. Зачем все кричите? Пускай Пешка скажет. Она, это самая, парыторг.

Веселинов *(строго)*. Жасеин! Я сколько раз тебе говорил — не Фешка, а Фетинья Петровна.

Жасеин. Какой разница! Пускай будет Петинья Петровна.

Пряхина. Так если все сидевшие пойдут к нам в колхоз, на пенсию, тогда что же будет? На трудодни не хватит.

Голоса с задней женской скамьи:

1-й голос. Правильно! Кто их сажал, тот пусть и платит.

2-й голос. Бабы, выходит, нам и на тюрьму работать?

Несколько голосов *(одновременно)*. Мы в таком деле не согласные.

Парамон *(встал, повернувшись к бабьим рядам)*. Цыц, вы, проклятущие! Вам какое равноправие дал Ленин? Голосовать? Вот и сидите — ждите, а тут мы и без вас разберемся.

Пряхина *(на Парамона)*. Ты уж помалкивай, лотоха! Мы еще разберем тебя... Кто у Кривошеихи хлебную опару выпил?

Парамон. Может, мякину ишшо съел? *(Сел быстро.)*

Викул *(поднял руку)*. Я в колхоз вступал ай нет?

Минеевич. Вступал.

Викул. Чего я туда отнес? Значит, два хомута ездовых, два пахотных, три бороны, одну железную *(Викул загибал пальцы)*, дроги на железном ходу...

Веселинов *(останавливая его)*. Все понятно, Викул Андриянович. Садись.

Викул садится.

Минеевич. Значит, голосуем. Кто за то, чтобы Викулу пензию отказать?

Руки поднялись довольно густо.

Жасеин. Пешка пусть считает.

Веселинов. Жасеин, опять?

Жасеин. Петинья Петровна, какой разница?

Пряхина. Чего же считать, и так все ясно. Большинство против.

Веселинов. Вот видите, Викул Андриянович, не получается у вас с колхозной пенсией. Придется вам ждать государственную.

Викул *(встает, тычет себя кепкой в грудь)*. Дак же обсудить надоть.

Веселинов. Все уж, все! Голосование было!

Викул. Одно дело голосование, другое — обсудить надоть. Мне никак нельзя без пензии. *(Он опять кланяется президиуму.)* Товарищи правление! Товарищи мужчины и протчие женщины.

Веселинов *(косо поглядывая на повестку дня)*. Разбирается заявление Черепенникова Федула Матвеевича.

Минеевич *(кричит)*. Очередной!

Встает Федул, плотный, квадратный, с лихо закрученными усами.

Федул *(кричит на Викула)*. Кого тебе ишшо надо? Вырешили старики — и садись!

Викул. Поскольку кормильца лишен...

Веселинов. Вам будут хлопотать пенсию через сельсовет.

Федосей Иванович *(вставая)*. Дадим ему восемьдесят пять рублей, как беспризорному. Но учтите, тогда его надо из колхоза выводить.

Викул. А у вас таких правов нету, чтобы выводить меня из колхоза. Два ездовых хомута сдал, три бороны, одну железную...

Веселинов. Ясно, ясно. Решили с вами. Садитесь.

Викул наконец садится.

Викул *(сидя)*. Обсудить надоть, я тоже законы знаю... Найду правду, найду.

Федул *(тараща глаза на президиум, руки по швам)*. Я тоже сдал в кладовую накопления: двух кобыл, одну жеребую, бричку на железном ходу, двенадцать метров пеньковой веревки для постромок...

Пряхина. Ты лучше скажи: где работал?

Федул. А где же? В колхозе и работал.

Пряхина. В колхозе? А кто же тебя видел, как ты работал?

Федул. Могут подтвердить свидетельским показанием: Амос, Иван, Корнеев, Микиш...

Минеевич. Это какой Микиш?

Федул. А Черепенников.

Минеевич. Дак он же второй год как помер!

Федул *(не моргнув глазом)*. Ну, тогда Семен.

Минеевич *(взрываясь)*. Ты самулянт! Ты всю жизнь просамулировал.

Федул. А ты прорыбачил. На пасеке бабу оставишь, а сам на реку. Теперь ишшо на сцену залез. Слазь оттудова! Не заслужил.

Минеевич *(бьет кулаком об стол)*. Да я тебе слова лишаю!

Федул. Лишенцев теперь нету. Упоздал на сорок лет. Не в комбеде сидишь.

Минеевич *(багровея)*. Ты как был подкулачником, так и остался.

Федул. А ты раскулаченными холстинами торговал.

Пряхина. Федул Матвеевич, припомните все-таки, где вы работали, в какой бригаде?

Федул. Вот те раз! А кто вас всю войну дровами обвозил? Школу, сельсовет!

Сын Федула *(сидя, дергает за полу пиджака отца).* Папань, это же ты от райтопа работал.
Федул *(отымает полу).* А ты молчи! Тебя не спрашивают. *(Пряхиной.)* А кто в бойной работал?
Минеевич. Бойная от сельпа была.
Федул. Хорошо, ладно... А кто десятидворкой по дорожному делу руководил? Кто вас выгонял с подводами за щебнем, за песком? Это вы мне так теперь отплачиваете? Мстительность ваша, и больше ничего...
1-й голос из зала. Это общественная нагрузка!
2-й голос. Не юляй. В какой бригаде работал?
Сын Федула. Садись, папань, садись.
Федул. А ты молчи! *(Скидывает с себя пиджак, за который тянет сын, и торопливо начинает выдергивать рубаху из-за пояса.)* А теперь учтите такую прокламацию. Поскольку я награжденный Георгием и воевал в последнюю очередь в германскую...
Минеевич. Германская не в зачет!

Федул. Ладно! Тогда японская! Я был ишшо в Цусиме, на «Цесаревиче» то есть. А в плен попадал! Это как можно отбросить? Что надо мной там японец исделал? *(Он заголил под самую шею рубаху, обнажив синевато-белое брюхо и грудь. На его груди, размахнув крылья, парил вытатуированный орел, в когтях он нес женщину, у которой вместо головы приставлен сморщенный Федулов пуп.)* Вот какие протчие предметы оставил на моем теле плен. Спрашивается: когда же мне было работать? Или это не в зачет?
Федосей Иванович. Ты нам пузо не показывай! Его в протокол не запишешь. И птицу твою мы видели. Опусти рубаху! *(Повышая голос.)* Ты что, не знаешь, как отвечать надо? В какой бригаде работал? Говори!
Федул опустил рубаху и молча стал запихивать ее под пояс.
Пряхина. А что его спрашивать? Голосовать надо.
Минеевич. Поскольку Федул Черепенников стажу колхозного не подтвердил, ставим на голосование. Кто за то, чтобы пензию Федулу отказать?
Руки поднялись довольно густо.
Веселинов. Можно не считать. Опустите руки. И последний вопрос: какую пенсию назначим Максиму Минеевичу Пустовалову? Он просит не сто пятьдесят рублей, как все, а двести. Поскольку говорит, что он создавал колхоз.

Минеевич встал, опираясь кулаками на стол.

Голос из зала. Ты создавал колхоз? Как это так?
Минеевич. Которые молодые, не знают как раз... У Толоконцевой горы стояла Панфилова мельница. В тридцатом годе ее растащили, а Панфилова сослали, то есть вослед. Феоктист, не дай соврать! Помнишь, в двадцать девятом годе мы всем миром у Панфила собрались на помол?
Голос из зала. Феоктист за дровами усхал.
Минеевич *(метнулся к бригадиру в президиуме).* Егор Иванович, не дай соврать. Ты ишшо маленьким был.
Егор Иванович. Я не помню.
Минеевич. Да не с тобой, чудак человек, с отцом твоим ездили на помол. Значит, я, Иван, Феоктист...
Голос из зала. Ты не юляй!
Минеевич *(словно подстегнутый).* Как впервой назывался наш колхоз? Ну? Муравей... Мураш то есть. А кто ему дал такое название? Я придумал! А через чего? Сидели мы в мельничном пристрое. Сговорились — артель создавать. А какое название? Смотрю я, по моим чембарам мураш ползет. Я его — цоп! И кверху... *(Минеевич вскинул щепоть, словно в пальцах был зажат этот муравей.)* Мурашом, грю, и назовем. Так и вырешили... Магарыч распили. *(Минеевич мотнул головой и добавил.)* За помол то есть...
Федул *(встает с места).* Гражданы колхозники! Они тем разом перепились и татарина Назырку заседлали. А Минеевич сел на него верхом и вокруг жернова ездил.
Минеевич *(покрывая хохот, кричит).* Врет он! Он самулянт.
Федул. А кого за это выключали из артели? Кого? Он всю жизь бабу на пасеке продержал. За что же ему двести рублей?
Федосей Иванович *(наклоняясь к Веселинову).* Прямо не Минеевич, а как это... литературный инструктаж.
Веселинов. Не инструктаж, а персонаж.
Федосей Иванович. Какая разница.
Веселинов. Кто за то, чтобы Максиму Минеевичу назначить пенсию в двести рублей?
Зал не колыхнулся.
Веселинов. Понятно. Кто за сто пятьдесят? Как всем... Единогласно.
Минеевич *(в сердцах).* А ежели как всем, сами и заседайте. В насмешку сидеть не желаем. *(Уходит из президиума.)*
Пряхина *(Веселинову).* Вторым вопросом давай пустим итоги актива?
Веселинов. Нет, второй вопрос Федосей Иванович забронировал. Тебе — третий.
Пряхина. Но ведь Казанков приказал...
Веселинов. Тебе он приказал, ты и выступишь... когда очередь подойдет. *(Обращаясь в зал.)* Товарищи, по первому вопросу все. Шестнадцать пенсий выдали, две — отказали. Слово имеет председатель сельсовета Елкин Федосей Иванович.
Федосей Иванович *(подошел к столу, раскрыл папку с делами).* Товарищи, поступила жалоба от гражданки Кривошеевой Евдокии Семеновны на Суханова Парамона Ивановича и Черепенникова Федула Матвеевича в том, что они, отперев замок, вошли в дом Кривошеевой, выпили осадки от пива, хлебную опару и съели на закуску месиво для поросенка. Посему поросенок визжал, когда пришла хозяйка. Вопросы имеются?
1-й голос из зала. Судить их надо колхозным судом чести.
2-й голос из зала. Хорошенько их приструните! Они, как попы, по дворам шастают.
Федосей Иванович. В таком разе суд колхозной чести занимает свои места в составе председателя — Фетиньи Петровны и заседателей — я и Егор Иванович.
Судьи рассаживаются.
Пряхина. Подсудимые, встаньте!
Федул и Парамон встали.
Пряхина. Как вы проникли в избу Кривошеевой?
Парамон. Подошли — замок висит... Ну, мы его и шевельнули. Я шевельнул замочек, ай ты, Федул?
Федул. Кого его шевелить? Это он от ветру.
Кривошеиха *(вставая с места).* От ветру? Эх, бесстыжие ваши глаза! Небось палец-то об замок зашиб.
Парамон *(тычет в ее сторону обвязанным тряпицей большим пальцем).* На, посмотри, на нем шкуры нет.
Пряхина. А что у тебя с пальцем?
Парамон. Чирьяка под ногтем. Фелшар грит — исделай ванную и помочи. Авось отмякнет. Я вскипятил чугунок да сунул туда палец-то. Вся шкура и спустилась, как чулок.
Федосей Иванович. Не отвлекайтесь! Что в избе делали?
Федул. А что там делать? Чай, не на работу мы ходили к Кривошеихе.
Федосей Иванович. Не рассуждать! Отвечать согласно уставу.
Парамон. Посмотрели, посмотрели — вроде никого нет.
Пряхина. А вы думали — там гостей застолица?
Парамон. Пускай Федул скажет.
Федул. Я, значит, заглянул на шесток — лагун не лагун, и чугуном не назовешь. Ну, вроде бидон стоит. А в нем и пива-то нет, так — гушшина.
Парамон. Одна видимость.
Федул. Мы ее и выпили.
Парамон. Так, малость было. На донышке.
Пряхина. А больше ничего не брали?
Федул. Боле ничего.
Кривошеиха *(вставая с места).* Ах, совесть ваша! И где же на донышке? Там боле полбидона было. Опара хлебная в деже неделю стояла — и ее выжрали. А кто картовь съел? Поросенку стояла в чашке, на скамье. Девки лапшу не поели, я ее тоже туда. Пришла я — поросенок визжит. Я хвать чашку, а там и очистков-то нету. Все подчистую стрескали. Хряки они, хряки и есть.
Кривошеиха под общий хохот села.
Пряхина. Что будем с ними делать?
Федосей Иванович. Выговор записать в дело.
Голос из зала. Пускай покаются.
Федул. Гражданы колхозники! Ну чего с кем не бывает? Простить надобно. А мы боле не будем.
Голос из зала. А Парамон?
Парамон. Что Парамон? Иль я чужих коров доил? Не боле других пил.
Федосей Иванович. Хорошо, запишем выговор.
В зале задвигали стульями.
Веселинов. Подождите расходиться! Слово имеет парторг Фетинья Петровна.
Пряхина *(встает).* Товарищи, как вам небезызвестно, на

областном активе приняты повышенные обязательства по мясу. Наш колхоз не может оставаться в стороне. Мы тут подготовили проект решения...

Голос из зала. Ежели подготовили, тогда чего нас задерживать?

Пряхина. Товарищи, это же проект!

Голос из зала. Какой у вас проект есть, такой он и будет.

2-й голос. У них решение, а мы сиди тут и проектируй.

Пряхина. Товарищи, мы должны заново пересчитать наши обязательства по мясу.

1-й голос. Так мы же только на той неделе считали.

2-й голос. Она еще нарасти на успела, мясо-то.

Пряхина. Товарищи, тот план был занижен.

1-й голос из зала. Его председатель писал, с него и спрашивайте.

2-й голос. Мы не счетоводы. Некогда нам считать.

3-й голос. Бабы, стадо гонят!

В зале задвигали скамьями, народ встал.

Пряхина *(Веселинову)*. Может, ты все-таки остановишь народ?

Веселинов *(вставая)*. Моя повестка исчерпана.

Народ расходится. Автор выходит на авансцену, говорит как бы самому себе.

Автор. Н-да, вот тебе и три плана...

Картина четвертая

Переправа на реке Прокоше. Слева видна избушка бакенщика. Возле нее валяются створные знаки, стоят весла. Парома и лодок не видно, они где-то угадываются под речным берегом. Справа, к самой переправе, подходит лесок. На опушке сидят Автор и паромщик Кузьма Пупынин (он же и бакенщик), едят уху из котла, пьют водку. Кузьма босой.

Кузьма. Сигареты у вас прямо царские. С короной!

Автор. Курите, пожалуйста.

Кузьма *(вкусно затягиваясь)*. Работай, Кузьма Иванович, говорит начальник, по совместительству бакенщиком и паромщиком. Хорошо, говорю. А какая оплата? В полуторном размере. Да какое же это совместительство? Ежели я совмещаю, так и получать должен две ставки. А то вы мне за одну работу целиком платите, а за другую наполовину. Как же мне поступать? Половину огней зажигать, а другую половину дистанции темной оставлять? Вот вы писатель, человек образованный. Ответьте на мой вопрос!

Автор. Постановление такое есть. Ваш начальник и придерживается его.

Кузьма. Эдак-то мне и начальник ответил. А я ему говорю: ну ты придерживайся постановления, а мне выплачивай двойной оклад.

Автор *(смеется)*. Не послушался?

Кузьма. Вы ответьте: почему так много постановлений? Кукуруза, говорят, хорошо, мясо — тоже. Но зачем их тогда в постановление вписывать?

Автор. Чтобы внедрять, пропагандировать.

Кузьма. Пропаганда, конечно, дело хорошее. Но тут — постановление. А постановление, я тебе скажу, оно вроде стеснения. Хотели бы сделать что-нибудь хорошее, так и сделали. А ежели постановление, значит, по-доброму не хотят. Заманят, потом притеснять начнут. Хоть по мясу... Сперва план... потом два, а теперь уж три.

Автор. Это обязательства... Кто хочет, тот и берет. Вон Веселинов вчера на собрании отказался.

Кузьма. Заставят! Ежели сверху спущено, завлекут.

Автор. Еще выпьем?

Кузьма. Давай уж до донышка. А то как-то получается оно ни два, ни полтора.

Пьют.

Постановлений много было. А вот разыщите нам постановление — чем должен колхозник отапливаться? Насчет дров то есть?

Автор. Такого не помню. Есть постановление об охране природы.

Кузьма. Да чего ее охранять? Ее сроду не охраняли. Вы человек грамотный, скажите, где дрова брать? А то дров нет, а природу охраняй. Леса вон дорубают. Там и охранять нечего.

Автор. Говорят, новые насаждать будем... Преобразим!

Кузьма. У нас вон Гусек каждый год сажает. Да что толку? Осень подходит — мужики эти преображения вместе с травой скашивают.

Автор *(смотрит на часы)*. Говорили вы, что Казанков тоже приедет. Но что-то нет его.

Кузьма. Он заявится теперь на закате. *(Поет.)* На закате ходит па-арень возле дома моего... *(Подмигивает Автору.)* А она появится с того берегу.

Автор. Кто она?

Кузьма. Да Фешка Пряхина. Любовь его, зазноба. Они у меня тут во фрунт сходятся. А коней боевых в тылу оставляют.

Автор. Это что еще за коней?

Кузьма. Машины-вездеходы. Фешку на ту сторону привозят, на станы, вроде бы на совещание по надою молока. Оттуда она уж своим ходом... Значит, по бережку. Под талами у меня лодочка там спрятана. Переплывает. А он уж здесь, рыбку ловит. Н-да. Я, говорит, за то тебя люблю, Кузьма Иванович, что ты человек скрытный. Верно, говорю, Сергей Митрофанович, на меня положиться можно. Могила!

Автор. Откуда же вы знаете, что Пряхина с Казанковым сегодня придут?

Кузьма. А у меня сигнализация работает... Ежели под вечер на створном знаке на той стороне платок красный вывешен, значит, готовь Кузьма карбидную лампу.

Автор. Паять, что ли?

Кузьма. Сразу видно — городской вы человек. Хоть образованный, извините. С карбидной лампой мы ноне рыбу лучим, острогой бьем.

Автор. Технику освоили.

Кузьма. А ноне без техники не проживешь. Заработки ни к черту. Вот я на моторе подымусь вверх к дальним бакенам, оттуда и спускаюсь своим ходом. Включу лампу и лучу всю ночь. Рыба теперь снулая, в сеть не лезет. Так я ее острогой — и в лодку. А Казанков тем временем у меня прохлаждается. И ему приятно, и мне безопасно. Начальство у меня дома. Ну, пожалуй, пора и лодку готовить. *(Встает.)* Сигаретку, извиняюсь, нельзя?

Автор. Пожалуйста.

Кузьма *(берет две — одну в рот, другую за ухо, извинительно)*. Эту я в очередь пущу, одной не накуриваюсь. Все же, как ни говори, хоть и приятно от этих царских сигарет, а такого, чтоб продирало до пяток, нет.

Автор. Берите всю пачку.

Кузьма. Ну что вы? Или я какой обуватель. Приличие все ж таки знаю. Контимéнтин...

Автор вынимает записную книжку, пишет.

Кузьма уходит.

Появляется из лесу Казанков. Увидев Автора, приостанавливается, затем окликает.

Казанков. Ба, Силантьев! Как вы здесь очутились?

Автор. Да вы же меня надоумили.

Казанков *(несколько озадаченно)*. Каким образом?

Автор. В вашем доме... помните, рассказывали о мудрости бакенщика Пупынина?

Казанков *(обрадованно)*. Ах да! Ну как же, помню! Кузьма мудёр, мудёр.

Автор. А вы зачем приехали?

Казанков. Рыбки половить.

Автор. И отлично! Вместе ловить ее будем.

Казанков *(озадаченно)*. Ну да... *(Смотрит по сторонам.)* Поймаем рыбку...

Автор. Вы кого-то ждете?

Казанков. Я? Да нет... А где Кузьма?

За сценой заработал мотор, потом появился Кузьма.

Кузьма. Привет, Митрофаныч.

Казанков. Привет, привет! Как дела? *(Кивает на Автора.)*

Кузьма. Порядок... Вы, значит, рыбки половить. Берите мою удочку, самую большую.

Автор. Кузьма, вы же мне ее обещали.

Казанков *(беспокойно)*. Как?

Кузьма. Я вам, Петрович, кое-что иное приготовил. *(Подходит к избе, берет острогу, паяльную лампу, острогу подает Автору.)* Вот вам вилка. Рыбу из реки вынать будете, как из ухи. А я вам посвечу. *(Показывает лампу)*. Поехали со мной! А Митрофаныч пусть здесь остается.

Автор. С острогой вроде запрещено.

Кузьма. Дак это запрещено тем, которые у воды. А мы — у власти, сами охраняем. Бьем не без умысла.

Казанков *(обрадованно)*. Ну, мудёр, Кузьма, мудёр! Давайте ловите! А я здесь посмотрю.

Кузьма. Ну да... Каждому свое.

Казанков. Мудёр, Кузьма, мудёр.

Автор и Кузьма спускаются вниз. Слышен шум мотора уходящей лодки. Казанков, прохаживаясь по берегу, насвистывает «Сердце красавицы склонно к измене...». Пряхина выходит из-за избушки, крадется к нему. Казанков вдруг оборачивается и с криком «А-ах!» обнимает ее.

Пряхина. Ай! Как ты напугал меня.

Казанков. А ты не крадись ко мне. У меня заднее зрение. Я затылком чую. *(Целует ее.)*

Садятся у костра.

Казанков. Ты когда реку переехала?

Пряхина. Вы с писателем тут сидели, а Кузьма меня под берегом спрятал.

Казанков. О, Кузьма мудёр. Чисто разыграл писателя. Рыбаком меня представил и удочку сунул мне. Во! *(Показывает удочку.)* А тот и поверил, вахлачок.

Пряхина (целует его). За Кузьмой мы как за крепостной стеной.

Казанков. Ну, что там произошло на вашем собрании? Черт знает какие слухи идут.

Пряхина. Комедию устроил наш герой — стариков и старух собрал на потеху. А обсуждение областного актива провалил. И от трех планов отказался наотрез.

Казанков. Да, он бравирует своим геройством.

Пряхина. А если разобраться — звезда у него старая.

Казанков. Как это старая? Он ее за директорство совхоза получил.

Пряхина. Это когда было — сразу после войны. Тогда еще и Сталинские премии давали. А кто их теперь носит?

Казанков. При чем тут премии? Чего ты мелешь?

Пряхина *(ластится к нему).* Сережа, не сердись. Я давеча шла по лугам и загадала: если коростель свистнет — значит, мы встретимся. А если и перепел пробьет — значит, ты меня приласкаешь. И коростели кричали, и перепела били, а ты нахохлился, как сыч. Ну-у!

Казанков. У-у! Нечему радоваться. Если мы три плана не дадим, Терентьев с меня шкуру спустит. А ты знаешь, сколько еще надо скота закупить на стороне? Тысяч пять голов.

Пряхина. Купим, постараемся для тебя.

Казанков. А деньги?

Пряхина. Задержим на трудодни... Не впервой.

Казанков. Этих денег не хватит.

Пряхина. Ну, придумай что-нибудь. У тебя же золотая голова.

Казанков. Тут голову не заложишь. Впрочем, есть у меня один проект. Но пойдет ли на это Терентьев? А ему что делать? У него иного выхода нет. Председателей уломаю. На Веселинова плевать.

Пряхина. А хочешь, я помогу тебе с ним разделаться?

Казанков *(усмехаясь).* Ну, помоги.

Пряхина. А чем заплатишь?

Казанков *(смеется).* Плата моя известная...

Пряхина. Фу, бессовестный, циник! *(Бьет его по коленке.)* К нему по-серьезному, с душой... А он!.. *(Пытается встать.)*

Казанков *(грабастает ее, притягивает к себе, целует).* Что, надоел?

Пряхина. Ах, Сережа! *(Обнимает его, смотрит близко.)* Ну чем ты меня привязал к себе? Мужиков я видывала и моложе тебя. Не ты первый... И свой не из последних, а вот побудешь с тобой — всю душу из меня выхолостит. Как на сквозняке простоишь. Зуб на зуб не попадает.

Казанков. Неужто я такой холодный!

Пряхина. Ты опять про свое. Я с тобой как на горе постою... В детстве так бывало, на лыжах,— стоишь на горе, и видно все, и дух захватывает.

Казанков. Выдумываешь. Просто к мужикам тебя тянет.

Пряхина. Нет, Сережа. Я семь лет с мужем прожила. И не то чтоб чего такого, не засматривалась даже. А ты как приехал к нам, как взошел на трибуну, и я, веришь, сон потеряла! Я и в парторги пошла из-за тебя. И куда хочешь пойду за тобой.

Казанков. Угу... Сойдемся на потеху всему народу и в шалаш переселимся.

Пряхина. Я уж не такая дура, Сережа, не бойся, не обременю.

Казанков. Чего ж ты хочешь?

Пряхина. Чтобы тебе хорошо было. Чтобы ты гремел на всю округу. Чтобы ты еще выше поднимался, еще выше! Ты большой человек, Сережа. А я счастлива с тобой.

Казанков. Спасибо на добром слове.

Пряхина. Какой ты гордый! Говоришь, голову ломаешь, проекты выдумываешь. А у меня, может, тоже проект есть. Я сегодня и свидание тебе за этим назначила.

Казанков. Ну так говори скорее! Не томи душу.

Пряхина. Вот теперь ты и оживился. Не любишь ты меня, Сережа.

Казанков. Ты брось глупости говорить! Неужели я из простого любопытства торчу здесь?

Пряхина. Ну ладно, ладно. Не сердись. *(Тоном заговорщика.)* Ты знаешь, что я узнала? Веселинов написал на тебя жалобу.

Казанков. Слава тебе господи! Удивила наконец...

Пряхина. Да ты погоди, погоди. Это даже не жалоба, а заявление, что ты толкаешь весь район на мясную авантюру, что ты глушишь партийную демократию, что насаждаешь подхалимаж, и все в том духе. Написал он это заявление и собрал под ним несколько подписей. Три председателя подписались, районный ветврач, директор средней школы и еще кое-кто... И подали эту коллективку Терентьеву.

Казанков *(даже подпрыгнул).* Коллективку! Что ты говоришь? Вот болваны! Даже жаловаться не умеют. Коллективка запрещена. Чуешь, в чем дело?

Пряхина. Еще бы. За этим и пришла.

Казанков *(поднимает кулак).* Теперь они у меня вот где!

Пряхина. А что же ты про мой проект не спросишь?

Казанков. Ну давай, Феня, крой, милая! У тебя голова работает.

Пряхина. Проект у меня вот какой: этих строптивых председателей, которые влипли с коллективкой, снять надо. Ты сможешь. А женщин поставить на их место. Во-первых, с нашей сестрой сподручней, с нами любые планы выполнишь, во-вторых, я тоже хочу быть председателем, чаще видеться с тобой хочу.

Казанков. Кроме шуток, ты права! Женщины послушнее, по крайней мере на работе. А выдвижение женщин — явление современное, передовое. И Параньку свою поставлю председателем. С глаз подальше.

Пряхина. Нет, Сережа. Параньку ты отдай мне.

Казанков. Зачем она тебе?

Пряхина. Бригадиром ее поставлю, в самое дальнее село сошлю. Сколько я мучилась из-за нее, ревновала! Пусть теперь она помучается.

Казанков. Ну ты и луковица! Шут с тобой, бери Параньку.

Пряхина. И последний вопрос из моего проекта такой. Как только женщины займут председательские места, объявить их через газету: да здравствуют сестры-председательницы! И тебя по всей стране прославят. Были сестры-трактористки, сестры-доярки, но чтоб сестер-председателей, такого еще не было.

Казанков. Фенька, дьявол! Да ты гений! Ух, сейчас я тебя задавлю! *(Он поднимает ее на руки и кружится возле костра.)*

Пряхина. Пусти! Пусти! Сумасшедший!

Казанков. Нет уж, теперь не пущу, теперь не пущу... *(Уносит ее на руках в лес.)*

Картина пятая

Кабинет Терентьева. Маша раскладывает на боковых столах засушенные початки кукурузы, стебли бобов, сои... Подвешивает таблицы. Терентьев стоит поодаль, наблюдает.

Терентьев. Маша, соевую таблицу повесь вот сюда. Здесь она повидней будет. Позавчера собрал секретарей, спрашиваю: в каком месте сою срезать надо? Молчат. Наконец, Моторная подходит. Вот здесь, говорит, Михаил Иванович. *(Показывает.)* А я говорю: дура! Ты половину бобиков на стерне оставишь.

Маша *(чуть кокетничая).* А где надо, Михаил Иванович? Вот здесь? *(Показывает пальчиком.)*

Терентьев. Нет, Маша, чуток повыше. Эдак землю стричь начнешь.

Маша. Ну где, Михаил Иванович, покажите?

Терентьев *(показывает).* Вот здесь.

Маша *(притрагиваясь к его руке).* А почему здесь?

Терентьев. Гм! *(Берет ее руку.)* А почему ты ногти красишь?

Маша. О, Михаил Иванович, я уже старая! Посмотрите, сколько у меня седины прибавилось.

Терентьев. И волосы подкрашиваешь. Влюбилась, наверное?

Маша. Давно уж... Да не замечает. *(Смотрит на него пристально.)*

Терентьев *(насмешливо)*. А почем ты знаешь?
Маша. Да все мимо проходит. Отстраняет.
Терентьев. Тебе, Маша, замуж пора.
Маша *(насмешливо)*. За Землякова, что ли?
Терентьев. Ну-ну, не дури! *(После паузы.)* А что, опять пристает?
Маша *(со вздохом)*. Ухаживает.
Терентьев *(усмехаясь)*. Балбес! Позови-ка его.
Маша *(настораживаясь)*. Я ничего не заявляю...
Терентьев. Да я не о твоих пустяках. Зови!
Маша уходит.
Терентьев *(провожает ее взглядом до дверей)*. Да, девка и в самом деле того... ягода-малина. *(Подходит к своему столу, садится, пишет.)*
Входит Земляков.
Ну, что подсчеты?
Земляков. Утешительного мало, Михаил Иванович. Третий план под угрозой...
Терентьев. Вы что, хотите из меня посмешище сделать? Не рекомендую шутить со мной.
Земляков. Сопротивляются, Михаил Иванович. Не ожидали. А кое-кто и саботирует.
Терентьев. Кого имеешь в виду? Группу Веселинова?
Земляков. Да, Михаил Иванович. Дурной пример заразительный... Тут надо пресекать в корне. И чтоб на всю область... в воспитательных целях, так сказать.
Терентьев. Это я и без вас знаю. Ты говори толком, сколько не хватает до трех планов?
Земляков. Тысяч тридцать тонн.
Терентьев. Спасибо, обрадовал... Закупайте скот на стороне... Но третий план чтоб лежал на столе.
Земляков. Подсчитывали, Михаил Иванович. Тысяч десять можем закупить. А где взять еще двадцать?
Терентьев. Так думать надо, черт возьми!
Земляков *(осторожно)*. Есть у нас одна идея... Казанков привез.
Терентьев. Где он?
Земляков. Тут, в моем кабинете.
Терентьев нажимает кнопку. Входит Маша.
Терентьев. Позови Казанкова! Он в кабинете Землякова.
Маша уходит.
Терентьев. А Веселинова вызвали?
Земляков. Должен подъехать с минуты на минуту.
Терентьев. Всю его антипартийную группу на бюро. А с ним я сам расправлюсь.
Земляков. И обязательно в газету дать. На целую полосу расписать.
Терентьев. Хорошо, я распоряжусь.
Входит Казанков, здоровается, садится.
Терентьев. Ну, что скажешь, герой? Может, посоветуешь мне поехать туда и признаться, что мы завралась? Уж если мне придется ехать с повинной, так я вас, голубчики, загоню на Землю императора Франца-Иосифа.
Казанков. Мы ни в чем не ошиблись, Михаил Иванович. У нас просто временное затруднение.
Терентьев. Вот это другое дело.
Казанков. Расчет прост, Михаил Иванович. Осенью мы сдадим вдвое больше скота, чем в прошлом году. Наши мясокомбинаты не смогут принять и обработать такую массу. Вот под этим предлогом надо получить разрешение сверху, чтобы нам позволили часть скота, проданного государству, перепродавать колхозам. Под видом укрепления животноводческой базы... так сказать, стимулировать будущий рост поголовья.
Терентьев. Ну и что же?
Казанков. Прежде всего государство от этого не пострадает. Скот в наличности. Ну, а где он находится — на мясокомбинатах или временно в наших колхозах — не все ли равно?
Терентьев. Верно мыслишь. Главное, чтоб государство не страдало... *(Встает, ходит по кабинету.)*
Казанков. В конце концов не важно, Михаил Иванович, в какой форме будут выражаться наши три плана — в мясной, так сказать, или частично в денежной. Главное то, что эти три плана будут.
Терентьев. Так-то оно так, но ведь это опять деньги?
Казанков. Что делать? Займем, Михаил Иванович. В долг поверят. Ведь не для себя стараемся...
Терентьев. Да, долги... Но иного выхода, пожалуй, нет.
Казанков. Ну, а часть скота, Михаил Иванович, возьмем на передержку.
Терентьев. Это что за передержка?
Казанков. Да в некотором виде тоже форма займа.
Земляков. Надо добиться разрешения на передержку скота. Тогда я буду выдавать наряды, к примеру: такому-то колхозу разрешается задержать на пять-шесть месяцев гурт скота, сданный государству... В целях, так сказать, приплода, привеса и прочее. Скота пока нет, но по нарядам он будет числиться за нами. Значит, вроде бы нам в долг поверят. А потом мы отдадим сполна. За полгода добудем скот. Так и обязательства выполним, и главное — сила положительного примера сыграет свою роль.
Терентьев *(невесело усмехаясь)*. Талантливые вы, дьяволы... А что мы заговорим через полгода, через год?
Казанков. Откормим, Михаил Иванович! Новый скот вырастим. Птицу размножим... Поработаем не жалея сил. Эх, с нашим народом горы свернуть можно! А главное, мы выполним планы — нам поверят, за нами пойдут чудеса творить.
Терентьев. Н-да, чудеса... Ну что ж, действуйте! Разрешение на передержку скота и на продажу я получу. Это не против закона. Мне не откажут.
Входит Маша.
Маша. Михаил Иванович, к вам Веселинов.
Терентьев. Давай!
Маша уходит. Казанков и Земляков встают.
Терентьев *(Казанкову)*. Всех бунтарей известили насчет явки?
Казанков. Всех.
Терентьев. Ну так вечером, на бюро...
Казанков и Земляков выходят, сталкиваются в дверях с Веселиновым, уступают ему проход.
Терентьев *(вставая из-за стола)*. Здорово, Веселинов! Возмутитель спокойствия...
Веселинов. Здорово, Михаил Иванович.
Садятся.
Терентьев. Давно мы с тобой не виделись.
Веселинов. Я теперь для обкома посторонний, даже из состава пленума вывели.
Терентьев. На старых заслугах далеко не уедешь.
Веселинов. Куда уж нам!
Терентьев. И чудачествам есть предел.
Веселинов. Еще бы! То весенний сев сорвал, то антипартийную группу сколотил.
Терентьев. А что ж? Весь район отсеялся, а господин Веселинов еще и не начинал.
Веселинов. Угу! Казанкову благодарность за досрочный сев, а Веселинову выговор.
Терентьев. Кто что заслужил.
Веселинов. Это верно. Казанкову благодарность, а колхозам, которые его послушались, пересев.
Терентьев. За погоду он не отвечает.
Веселинов. А он ни за что не отвечает. Для этого есть председатели колхозов.
Терентьев. Это я уже вычитал из твоей бумажки. *(Потрясает перед лицом Веселинова заявлением.)*
Веселинов. Я там про все написал.
Терентьев. И сообщников собрал. Это же коллективка!
Веселинов. Да, это наше коллективное мнение.
Терентьев. Не путай божий дар с яичницей! Коллективное мнение было выражено на областном активе. А здесь, на бумажке, сговор.
Веселинов. Если и был где-то сговор, так это у Казанкова. Сговор насчет трех планов.
Терентьев. Что-о?!
Веселинов. А то, что слышите!
Терентьев. Ты где это находишься?
Веселинов. В кабинете секретаря обкома...
Терентьев встал из-за стола, прошелся по кабинету.
Терентьев *(останавливаясь)*. Мне жаль тебя, Николай. Мы служили вместе, воевали. Друзьями были. Я тебя перетащил к нам в область... Надеялся на твою помощь...
Веселинов. Спасибо за доверие.
Терентьев. Не перебивай! Ты хорошо работал в институте. Может быть, стал бы теперь директором. Ты ушел в науку, отстал от жизни. И я виноват, что толкнул тебя в председатели.
Веселинов. Прямо повелитель небесный!
Терентьев. Молчи! Я думал, что из тебя выйдет большой руководитель. Помощника в тебе видел, соратника! А ты зачудил... Чем дальше, тем больше. То траншеи отказался бетонировать, то луга не распахиваешь, то кукурузу не сеешь... то коллективку организовал. Я объясняю это только тем, что ты не в своей борозде. Забирай свою жалобу

и подавай заявление — мы отпустим тебя из колхоза. Снова возьмешь кафедру. А на бюро покаешься — получишь выговор... и дело с концом.

Веселинов. Михаил Иванович Терентьев! Веселинов никогда не шел на сделку за счет своих убеждений. И старыми заслугами меня не попрекайте. Кстати, награду, что вы имеете в виду, я получил на юге, в совхозе, а не у вас.

Терентьев. Чем ты кичишься передо мной, в моем кабинете? *(Подходит к окну, отдергивает штору.)* Десять лет назад, когда ты приехал сюда, из этого окна пустыри видны были да полынь с крапивой. А теперь? Посмотри! Ты думаешь — это все само выросло?

Веселинов. В этом ваше счастье и горе.

Терентьев. Горе?!

Веселинов. Да, Михаил Иванович, горе! Вы давно уже ходите не по земле, а по этим крышам. И стремитесь по ним туда. *(Показывает рукой кверху.)*

Терентьев. Куда это — туда?

Веселинов. К высшим почестям! Вы, как Борис Годунов, готовитесь, ждете, когда всей землей вам в ноги поклонятся, позовут: иди и царствуй! Высоко метите, Михаил Иванович... Да дорога крута. Не тех скакунов выбрали. На Казанкове да на Моторной далеко не ускачешь. Это я вам по-дружески говорю.

Терентьев. Ты чего, спятил? Иль от зависти опупел?.. Пошел на «вы»! Ну, ну, давай... Чужие успехи вам спать не дают спокойно, вот в чем дело. Вы хотите удержать воз, который пошел с горы? Дур-рак!

Веселинов. Я просто хочу, чтоб этот воз не опрокинулся в овраг.

Терентьев. Вы ничего не поняли... Идите!

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Областная радиоперекличка

На переднем плане стол Терентьева, сбоку сидит Земляков. Столы районных руководителей в глубине сцены, освещены прожекторами.

Терентьев. Товарищи! Не прошло и трех месяцев после областного актива, а достижения наши превзошли всякие ожидания. Вот что значит правильно настроить народ, организовать его, сплотить и поставить перед ним ясную задачу. Маловеры и скептики путались в ногах наших, кричали, что мы и двух планов не наберем. Но все они горько посрамлены. Два плана уже есть, товарищи! А некоторые передовые хозяйства Ухановского района, особенно колхозы сестер-председательниц, к трем планам подбираются! Вот где пример трудовой доблести и патриотизма... Все дело в кадрах, товарищи, и только в них. Надо усилить борьбу за воспитание и перевоспитание.

Моторная. Правильно, Михаил Иванович! Как только мы сняли Пузикова, сразу и мясо нашлось.

Терентьев. А вы что его, на мясокомбинат сдали?

Все смеются в микрофоны.

Я говорю — усилить надо воспитательную работу. Осень подошла. Пора нам ответ держать. Обязательства выполнять надо. А некоторые все еще тянут волынку. Позор! Таганов, к какому сроку сдашь?

Таганов. Пока еще считаем, Михаил Иванович.

Терентьев. Больно нравится тебе это занятие. Смотри, Таганов, как бы в счетоводы тебя не перевели.

Все смеются в микрофоны.

Сколько у тебя не хватает?

Таганов. Примерно тысячу тонн.

Земляков. Возьми пятьсот тонн на передержку.

Таганов. А так можно?

Терентьев. Что можно?

Таганов. Ну, взять то, чего нет?

Терентьев. Странный вопрос! А так можно — тянуться у соседей на хвосте и тащить назад всю область?

Моторная. Позо-ор!

Казанков. Позо-ор!

Таганов. Не расслышал... Посторонний шум мешает.

Терентьев. Опять уши заложило. Земляков, растолкуй ему.

Казанков. Михаил Иванович, дайте мне слово!

Терентьев. Это ты, Казанков? Давай!

Казанков. Странно считают некоторые руководители. Давай, мол, сосед, сдавай! А я потом. Поведение их, прямо скажем, похоже на старую присказку о ленивом Тите. «Тит, иди просо молотить! У меня брюхо болит. Тит, иди кашу есть! Где моя большая ложка?» В пору, когда вся область напрягает огромные усилия, идет к трудовой победе не жалея сил, товарищ Таганов на печи лежит. Он, видите ли, подсчитывает, прикидывает — дойдем мы или не дойдем до заветного рубежа. Дойдем — хорошо! Тогда он присоединится к нам... кашу есть. Не дойдем — ему опять хорошо. Он же, мол, предостерегал нас. Такая политика, товарищ Таганов, называется двурушнической. И пора с ней кончать.

Моторная. Позо-ор!

Терентьев. Учти, Таганов!

Таганов. Учтем, Михаил Иванович, учтем.

Картина шестая

Переправа через реку Прокошу. Осень. Кузьма Пупынин и Автор сидят у костра, едят уху, пьют водку.

Кузьма. Давненько вы у нас не бывали. А я долго вспоминал ваши сигареты, с короной... И дым у них какой-то сытный. Что значит — царская принадлежность.

Автор. Так вы же говорили, что они слабые.

Кузьма. Это уж само собой... Оно все заграничное слабость имеет, супротив нашего желудка ежели.

Автор *(протягивает сигарету)*. Как вы тут Америку обгоняете?

Кузьма. Какую там Америку! Иную свинью-то пять раз сдают.

Автор. Кому?

Кузьма. Да все тому же... заготскоту. Надо тебе, к примеру, мясозаготовки выполнять, ступай в заготскот, покупай свиней через сельпо, да опять же в тот заготскот и сдавай. Вон Фенька Пряхина, говорят, таким манером три плана сдала.

Автор. Зачем же вы обманываете?

Кузьма. А ноне не обманешь — и не проживешь. И другое сказать надо — нужда научит сопатого любить. Ведь требуют: увеличить поголовье. Значит, собирается колхозная комиссия — папки под мышки и по дворам. «Тетка Марья, ты телка будешь сдавать осенью-то?» «Дак он еще и телок-то маленький!» «Хрен с ним — вырастет. Ты подписывай контракт!» Подписала — одна голова есть. Пошли дальше. «Тетка Дуня, ты телка будешь сдавать в колхоз?» «Дак у меня и корова-то яловая». «Хрен с ней! Когда-нибудь огуляется. Пиши!» Вторая голова есть... Если, значит, числится — почет тебе и уважение. Нашей Феньке теперь и в ладоши хлопают, и в газетах про нее пишут! Шуму! Это получается, как черт стриг свинью — визгу много, а шерсти нет.

Автор. Кузьма Иванович, вы прямо комментатор.

Кузьма. Ну, может, и не комунтатор, а все ж таки контимéнтин, потому как периодически освещаюсь.

Автор *(наливает водку)*. А это правда, что ваши колхозы покупают скот в других областях?

Кузьма *(бережно опрокидывает стакан в рот)*. Покупают! И все через мою переправу гонят. Намедни с Дона гурт прогнала сестра-председательница Бобылева, вчера вторая сестра гнала из Воронежа, Татьяна Верхоглядская.

Автор. Это что за фамилия?

Кузьма. Фамилии ее никто не выговаривает. Язык поломаешь. Зовем ее так, для удобства. А ноне Фенька будет гнать скот из соседнего района. Вот-вот появится. Меня уж упредили.

Автор. Где же они покупают его? В колхозах?

Кузьма. Зачем в колхозах? По дворам ходят, на рынках. Дают подороже. Колхозных денег не жалко. Их, деньги-то эти, возят сумками. И лазают в них кому не лень.

Автор. Черт знает что! Кому это нужно?

Кузьма. Я так думаю, это все политика. А политика — штука тонкая. Потому как она обуслована своим собственным путем. А это большое дело. Вот взять хоть английского голову Пан-Миллана. Теперь он отступ дает. А подкапывается под него его же собственный министр. Почему? Потому как Пан-Миллан говорит одно, а диктует другое. Так и у нас — попомни мое слово: тут кто-то под кого-то подкапывается. Потому как говорят одно, а диктуют другое.

За сценой нарастает топот и рев коров, хлопанье кнута, крики пастуха:«О-о! О-о! Куда, зараза толстоногая! О-о!»

Эх!.. И людям покоя нет, и скотине одно мучение. Не все ли равно, по какую сторону реки забьют корову — по ту или по эту? Ведь на том берегу не Америка! Страна одна, а порядки разные.

За сценой раздаются сигналы «газика». Потом быстро подходят к костру Казанков и Пряхина.

Казанков *(на Кузьму)*. Ты чего сидишь, как у тещи на блинах? Или не видишь, скот на берегу топчется? Вставай, налаживай свой ковчег! Перевози скот. Живо!

Кузьма *(ворчит)*. Все живо да живо... Что за пожар! Иль трава горит под ногами?

Пряхина *(кричит)*. Тебе что, работать надоело? Может, обратно в колхоз хочешь? Я тебя устрою!

Кузьма *(встает, подтягивает штаны)*. Работать мы не отказываемся. Я только насчет скота — чего торопиться? Скот, чай, не ворованный. *(Уходит.)*

Казанков *(вслед ему)*. Ты дорассуждаешься...

Слышен рев скота, хлопанье кнутов.

Привет летописцам!

Автор встает, здоровается с Пряхиной и Казанковым.

Как напьется, стервец, так грубить. Что за народ?

Автор. Прежде он у вас вроде в чести ходил?

Казанков. Давненько вы у нас не были... Я уж теперь не езжу на рыбалку. Холостым живу.

Автор. А Прасковья Матвеевна где?

Пряхина *(улыбаясь)*. У меня в бригадирах ходит.

Казанков. Пряхина у нас теперь вместо Веселинова.

Автор. Слыхал. А что Прасковья Матвеевна?

Казанков. Старается. Надоело ей в кабинете сидеть. Все ж таки она агроном. Вот и ушла. Как тут ее удержишь? Приходится мириться с одиночеством.

Автор. Да, тяжкая у вас доля. *(Пряхиной.)* А вы тоже, наверное, страдаете от производственного одиночества?

Пряхина *(смеясь)*. Отгадали! У меня муж в гору пошел. Директором школы назначили его в соседнее село.

Автор. Значит, вы друзья по несчастью?

Пряхина. А что делать?

Автор. Учить других, как жить надо. Теперь это модно.

Пряхина. Мы все стараемся учиться. Время нынче такое.

Автор. Да, время нас учит. Скот откуда гоните?

Пряхина. Да как вам сказать?.. Скот это наш.

Казанков. На новые пастбища перегоняем.

За сценой раздается шум машины. На сцену входят Таганов и Веселинов.

Таганов *(смотрит на избушку)*. Успели-таки переправить. *(Казанкову.)* Ты что же делаешь? На чужих быках в рай хочешь въехать?

Казанков. А что же нам остается, если хозяева быков не знают туда дороги?

Пряхина. Это наш скот...

Таганов. А я вот прихватил бывшего председателя. *(Кивает на Веселинова.)* Он может нам установить истину, чей скот.

Казанков *(насмешливо)*. По-моему, Веселинов работает лектором, а не судебным экспертом.

Веселинов. Скот закуплен в соседнем районе.

Казанков. Ах, так вы налоговый агент? Не знал, не знал... Покажите мандат.

Веселинов. Я представитель общества по распространению политических и научных знаний. Мы хотим выяснить причину странной миграции скота. И потом уж просветим нашу общественность...

Появляется Кузьма.

Таганов. Слушай, Казанков! И вы, Пряхина... Давайте все вчетвером переедем на тот берег и установим, чей скот. Я требую!

Казанков. А на чем это мы переедем? *(Делает выразительный жест Кузьме.)*

Таганов. На пароме.

Кузьма. На пароме никак нельзя. У него блок отвалился...

Таганов. Да ты же только что скот перевозил на нем!

Кузьма. То скот, а то людей... Разница.

Таганов. Что вы дурака валяете?

Кузьма. Я, товарищ начальник, нахожусь при исполнении служебных обязанностей. Прошу повежливее. Никакого дурака здесь нет. Есть Кузьма Иванович Пупынин. Вы что, шутите? Без блока как я людей повезу? А ежели в случае чего? Кто отвечать будет? Опять же я. Одно дело за быка отвечать, а другое за вас... А техника безопасности где? Это большое дело. А вы — «дурака валяете»...

Таганов *(Казанкову)*. Не совестно комедию разыгрывать?

Казанков. Это ты устроил представление. Ну, чего прикатил? Скот где взяли? Купили. На рынке, у частников. В твоем районе? Да. А тебе-то что?

Таганов. А то, что ты устроил бесчестную игру в перевыполнение плана.

Казанков. Для кого игра, а для кого и жизнь, товарищ Таганов.

Таганов. Не обольщайтесь, Казанков... На фальшивые векселя живете? Надолго ли?

Казанков. Уже пятый десяток распечатал. И ничего, как видишь.

Таганов. Радуешься, что в поддавки играешь?

Казанков. Нет, Таганов, я просто изучил закон игры, если уж тебе угодно разговаривать в такой терминологии. Закон, Таганов! А закон следует соблюдать. Но это трудно. И некоторые филонят... Вроде тебя.

Таганов. Бесстыдство — вот ваш закон!

Казанков. Поосторожнее! Как бы не пришлось отвечать за оскорбление.

Таганов. Хоть сейчас... На чем? На пистолетах или на этих вот?.. *(Таганов показывает кулак.)*

Казанков заносчиво отворачивается.

Поехали, Веселинов!

Веселинов. Я должен установить все документально, иначе мне не поверят. И потом у Пряхиной за два месяца выросло целое стадо телят... Как трава! Хочу посмотреть и на это чудо.

Таганов. На лодке машины не перебросишь.

Веселинов. А я уже пешком привык. До свидания! *(Направляется к берегу.)*

Казанков *(Кузьме)*. Задержи его! Лодку не давать!

Веселинов *(грозно)*. Попробуй!

Автор. Веселинов, и я с вами... Можно? Я тоже пеший.

Веселинов. Тогда давай.

Автор и Веселинов уходят.

Казанков. Кузьма! Я тебе сказал или нет?

Кузьма. Веселинову теперь не попадайся под руку. Энтот пошел на прынцып... А терять ему нечего, акромя своих рабочих цепей.

Казанков. Болван!

Картина седьмая

Дача Терентьева. Большой зал, две двери — одна, ведущая на веранду, другая — в соседнюю комнату. Окна высокие, с тяжелыми занавесками. Картины в старинных с позолотой рамах. Терентьев вводит Автора в зал, поясняет.

Терентьев. Ты на двери посмотри, чуешь? Ореховое дерево! Инкрустация бронзовая... А ты посмотри на переплеты! *(Подводит его к окну.)* Вот что значит ясень естественной сушки. Видал, работа? Полтораста лет простояли и как новенькие. Ты раствори, потрогай, посмотри на глаз.

Автор *(растворяя тяжелую раму, прищуриваясь, смотрит)*. Ровно.

Терентьев. При такой высоте, массивности, и ни-ни! Да, столярка раньше делалась на совесть. Сейчас я тебе покажу одну штуку. *(Терентьев берет Автора за рукав, подводит к большой картине в массивной раме. Восторженно.)* Видал, какая красота?!

Автор. Я не люблю Лактионова. Фотография.

Терентьев. При чем тут Лактионов? Ты посмотри, какая рама! Старая! Вязана в ус! Теперь так не вяжут.

Автор смеется.

Ты чего?

Автор. Мать вспомнил... Одну ее притчу — о царице и кузнечихе.

Терентьев. Коли вспомнил, выкладывай, при мне никаких тайн.

Автор. А не обидитесь?

Терентьев. А что, боишься, ягода-малина? Давай, давай!

Автор. В одну ночь царица родила дочь, а кузнечиха сына. Придворные решили царю угодить — взяли да подменили дочь на сына и доложили: наследник родился. Хорошо. Вырос он. Возит его царь по стране, владения свои показывает: «Вот смотри, сын, это дворец, а здесь палаты боярские, а тут церковь...» А сын смотрит и каждый раз спрашивает: «Ну ладно — это дворец, а то палаты... Но где же кузница?»

Терентьев *(смеется)*. Ловко ты меня поддел. А что, брат! Плотницкое ремесло — великая штука. Горжусь, что из плотников. Заехал я как-то к дяде Максиму. Он еще жив был. Разговорились. Я спрашиваю: доволен ты Советской властью? Доволен, говорит, но претензию имею. Почему? А я бы, говорит, при царе, может, в краснодеревщики

вышел. А теперь и красного дерева не стало... Консерватор.
Автор. Царствие ему небесное, как говорится.
Терентьев. Ты чего, верующий, что ли?
Автор. Раньше верил.
Терентьев. Во что?
Автор. Да во все... И в честность, и в порядочность, и в добрые намерения.
Терентьев. Ну, это ты брось! В это и теперь верить надо.
Автор. Верю, да не каждому зверю.
Терентьев. Пессимизм и неверие разлагают молодежь. Учти, Силантьев! *(Кричит.)* Оля, где ты там?
Ольга Акимовна *(из-за дверей)*. Иду-у!
Терентьев. Привези мать сюда. Вот бы тетя Даша полюбовалась. Это ж дача бывшего генерал-губернатора. Все стало нашим. А у тебя пессимизм... Эх ты, ягода-малина!
Входит Ольга Акимовна, полная молодящаяся дама в коротком платье.
Ольга Акимовна. Здравствуйте, Александр Петрович, здравствуйте! Прошу к столу.
Стол уже накрыт: коньяк, сухое вино, закуски, фрукты. Садятся за стол.
Терентьев. Кто что пьет? Я только вино под названием «Когнак».
Ольга Акимовна *(смеется)*. Это название коньяка по-французски. Когда еще Миша в армии служил, командующий запретил офицерам пить крепкие напитки, а у Миши был в адъютантах такой забавный мальчик—студент из ИФЛИ. Он и говорит: «Вы, товарищ генерал, переходите на вино под названием «Когнак». И бутылку французского коньяка подносит. Понимаете, звездочек на бутылке нет, а командующий по-французски — ни слова. И сколько раз мы его разыгрывали!
Пьют.
А то, бывало, в Ленинграде Мишуньчик накинет на генеральский китель фуфайку и с Владиком, с сыном, в пивнушку: молодость, говорит, вспоминаю.
Терентьев. Однажды перебегаем улицу — он в бушлате, я в фуфайке. Милиционер: «Стой! Ваши документы?» Я говорю: «Вадька, покажи увольнительную». А он, стервец, в самоволке оказался. И вот — у меня положение: документы показывать — стыдно, генерал и в фуфайке! Штраф платить — жалко. Так и отвалил пять рублей штрафу.
Ольга Акимовна *(смеется)*. Мишуньчик, а ты расскажи, как мы впервые в ресторан пришли.
Терентьев. Насчет французского заказа? Это по твоей части.
Ольга Акимовна. Впервые в Москву приехали. Он еще секретарем райкома был. Выбрали самый модный ресторан «Метрополь». Вошли, робко сели за стол. Берем меню — глаза разбегаются. Подходит эдакий длинноволосый и царственным жестом заказывает официанту: «Суп пейзан, селедка натурель...» Ну, мы тоже присоединились. Ждем иностранное блюдо. И тот нам приносит — пустой суп и обыкновенную селедку. Мы из этого ресторана да в столовку.
Терентьев. Ты как расположился? Жильем доволен?
Автор. Спасибо. Три комнаты отвели.
Терентьев. За дело... Как пишется? Начал хоть?
Автор. Нет, героя ищу.
Терентьев. Ну, героев у нас хоть отбавляй. Вот, погоди немного, обязательства выполним, награды посыпятся на нас, как дождь. Выбирай тогда любого. А то хоть по списку пиши.
Автор. Дело не в наградах. Я разобраться хочу...
Терентьев. В чем?..
Автор. Откуда берутся такие люди, которым непременно надо вперед попасть. Давятся, но лезут.
Терентьев. А это очень просто — диалектика борьбы. Отсталых бьют.
Автор. А как же тогда — человек человеку друг и брат?
Терентьев. А вот так... Мы разведем эту антимонию, братское болото, понимаешь... И отстанем от империалистов. Они придут и всыпят нам.
Автор. Угу... Значит, бей своих, чтоб чужие боялись?
Терентьев. Ты это про что?
Автор. Про то же самое... Сколько крестьян без коров остались в этой кампании?
Терентьев. Для крестьянина теперь невыгодно корову держать — обременяет.
Автор. Ему и молоко есть невыгодно. Пускай на тюрю переходит, на мурцовочку...
Терентьев *(мрачно)*. Не обобщай! Может, где и нарушен добровольный принцип. За всем не усмотришь.
Автор. Конечно! Издержки... жертвы, так сказать, большого дела.
Терентьев *(решительно)*. Какая битва выигрывалась без жертв? Главное — во имя чего она велась. На каком фундаменте! Новые идеи всегда требовали жертв и окупались ими.
Автор. Всегда ли?..
Стук в дверь.
Терентьев. Да!
Входит Земляков, здоровается легким наклоном головы. Быстро подходит к столу.
Земляков. Ольга Акимовна, разрешите ручку. *(Целует ей руку.)*
Ольга Акимовна. Василий Спиридонович, что налить?
Земляков. Виноват! Михаил Иванович, я к вам по делу.
Терентьев *(Автору)*. Извините! *(Жене.)* Оля, займи гостя.
Ольга Акимовна *(вставая)*. Александр Петрович, пойдемте! Я вам дом покажу, рукоделье свое.
Автор *(вставая)*. С удовольствием.
Ольга Акимовна *(на ходу)*. Вы бы привезли свою жену к нам. Ко мне преподаватель вязки ходит... очень опытный специалист! Я такую куртку связала Мише... По австрийской моде.
Уходят.
Терентьев *(садясь на диван, указывая рукою рядом)*. Ну, что у тебя?
Земляков *(присаживаясь)*. Казанков опять с Таганковым сцепились.
Терентьев. А мне-то что?
Земляков. Видите ли, Михаил Иванович... Таганов — мужик хитрый. Сам он в открытую не пойдет — вас боится. А вот науськать другого — это он может. Словом, как мы установили, Таганов раскрыл кое-кому карты насчет передержки скота. Человек этот небезызвестный.
Терентьев. Кто?
Земляков. Веселинов... Он того и ждал. Мыкается по колхозам, нюхает... Говорят, лекцию готовит. И потом... с автором связался.
Терентьев. С автором я сам поговорю. Не то напишет еще чего не следует. А с Веселинова глаз не спускать. Лекцию запретить.
Земляков. Сразу эдак нельзя... Спугнуть можно. Он тут расшумится... Известный горлохват. Брать его надо исподволь, но крепко. У меня человек есть, на веранде оставил.
Терентьев. Зови.
Земляков *(отворяет дверь)*. Кустиков!
Входит Кустиков с портфелем под мышкой.
Кустиков. Здравствуйте, Михаил Иванович. *(Подходит близко в надежде подать руку Терентьеву.)*
Тот не подает руки.
Терентьев. Что у тебя?
Кустиков *(мигом открыв портфель, выхватил пачку исписанных листов)*. Очень важный материал. *(Кладет на диван рядом с Терентьевым.)* Черновые наброски лекции, которую готовит Веселинов. Простите, копия... Оригиналы у него. Это мне машинистка оказала любезность... Даже одно название лекции настораживает: «Прожектерство и его социальные корни...». И ни слова, ни слова, Михаил Иванович, о наших колоссальных достижениях. Обратите внимание — прямо с критики начинает. Вот, прочтите: «Известный Чичиков прославился тем, что собирал мертвые души. Современные чичиковы стали собирать мертвые души не среди людей, а среди скотов...» Комментарии излишни, как говорится. Выходит, наше общество уподоблено, извините, скотам. Вон куда хватил. И далее все в том же духе... Одни теневые стороны.
Терентьев. Лекцию запретить!
Кустиков. Да лекции еще нет.
Терентьев. А это что ж такое?
Кустиков. Это, извиняюсь, черновики... Процесс работы, так сказать. Ну, я его контролирую.
Терентьев. Силен ты, Пустиков.
Кустиков. Кустиков, Михаил Иванович.
Терентьев. Силен... Значит, процесс работы контролируешь? А еще что?
Кустиков. Да все, Михаил Иванович, все! И служебное прошлое, и биографию, и настроение... Как только вы его разобрали на бюро, сняли, я сразу взял его под контроль. И вот результат... *(Кустиков подает одну бумажку за другой.)* Отличные материалы! Заметьте, аттестата об окончании средней школы у него нет. Окончил реальное училище... Вот копия. А оно не приравнено к гимназии. Второй доку-

мент — Веселинов окончил Высшие кооперативные курсы в 1931 году. Курсы! А это — документ из Министерства высшего образования. Вот здесь значится — Высшие кооперативные курсы не приравниваются к институту. Обратите внимание — не приравниваются. Значит, среднего образования у него нет и высшего тоже. Он просто самоучка.

Земляков. Итак, Михаил Иванович, он выдает себя незаконно за человека с высшим образованием.

Кустиков. Вот именно. Теперь обратите внимание, как он защитил кандидатскую диссертацию. Вот выписка: «Директору совхоза «Титан» присваивается ученое звание — кандидат экономических наук. Тема диссертации — «Опыт травопольной системы в совхозе «Титан». А вот и книжечка! *(Подает Терентьеву старую книжку.)* Это ж опыт совхоза! Целого коллектива! И к тому же устарелый. А он просто все собрал в кучу. Значит, и диссертацию за него писали другие. И вообще грош ей цена.

Земляков. Черт возьми! Да он просто не имеет права преподавать в институте...

Кустиков. Более того, ему нет места и в партии.

Терентьев ошалело смотрит на Кустикова.

Ему еще был объявлен строгий выговор, постойте! *(Достает бумажку.)* Вот, в 1948 году. За перерасход трех миллионов рублей на зарплату рабочим совхоза.

Терентьев. Где это вы так научились выжимать биографию? Вы где работаете, Кустиков?

Кустиков *(с поклоном)*. Председатель общества по распространению политических и научных знаний.

Терентьев. Вон что! Тебя бы в следователи...

Кустиков *(улыбаясь)*. Мечтаю... Только по совместительству, извините.

Терентьев. Ишь ты, какой ловкий. Два оклада хочешь стричь?

Кустиков *(ужасаясь)*. Что вы, Михаил Иванович! Я чисто из патриотических побуждений... На общественных началах, так сказать.

Терентьев. Что? На общественных началах? Ха-ха-ха! *(Внезапно выпрямившись, строго.)* Ступайте!

Кустиков *(растерянно)*. А материалы?

Терентьев. Заберите.

Кустиков поспешно забирает все бумаги и уходит.

Терентьев. Этого патриёта больше ко мне не пускать. Ступай и ты... Я подумаю насчет Веселинова.

Земляков. А чего тут думать?

Терентьев. Ступай!

Земляков быстро выходит.

Картина восьмая

Банкет. В глубине сцены накрыты столы, за которыми сидят люди, произносятся тосты. Шум, веселье. Люди видны в широко раскрытые двери. На стенах аршинными буквами лозунги: «Есть три плана», «Героический подвиг совершен».

На передней части сцены нечто вроде большой клубной комнаты отдыха. В начале картины она пуста.

Голос из-за стола. За здоровье нашего дорогого Михаила Ивановича.

Голоса. Да здравствует Терентьев, ура!

Терентьев *(он сидит на видном месте, встает, высоко поднимает бокал)*. За ваше здоровье, товарищи герои!

Голоса. Ура-а!

Пьют.

В комнате отдыха появляется пьяный Кузьма. Он приодет. На лацкане пиджака висит медаль «За победу над Германией». Садится на диван, вынимает из одного кармана бутылку водки, из другого — стакан. Наливает водку.

Кузьма. А я тожеть герой. *(Чокается с бутылкой.)* За твое здоровье, Кузьма Иванович! Скольки ты в этом году коров и быков перевез на ту и на другую сторону? Прямо боевые дивизии. И жив остался. А забодать могли очень даже... Особенно эти, ростовские дьяволы! Рога у них эдакие во, по локоть. Вострые, как на станке точенные. И все в бок тебя норовят пырнуть. У-у, окаянная сила. *(Пьет.)*

Голос Терентьева. За Анну Васильевну, мать наших славных доярок!

Пьют.

Голос из-за стола. За здоровье наших сестер-председательниц!

Голоса. Ура-а!

Голос из-за стола. За Пряхину!

Кузьма. А за этих, извиняюсь, пить не стану, потому как их героизм — одна видимость. Оно, конечно, кабы не Фенька, мне здесь не бывать. Не забыла мою лодочку. Садись, грит, Кузьма, на самое видное место. А я себе думаю: сдалось мне ваше видное место. Там пьют рюмками, а я тут стаканом. *(Наливает.)* Будь здоров, Кузьма Иванович. *(Пьет, пустую бутылку сует под диван, вынимает из кармана новую.)*

Голоса из-за стола. Речь, Михаил Иванович!

Терентьев *(встает)*. Каждый из нас, здесь сидящих, может сказать сегодня: да, я герой!

Кузьма *(быстро садится)*. И я сяду. Правильно, Михаил Иванович.

Терентьев. Я горжусь, товарищи, что я герой... Это слово венчает за доблестный труд и вдохновляет на новые подвиги. Мы взяли высокие рубежи... И с этой высоты заявляем во всеуслышание: мы никому не уступим своих позиций. А на меня, товарищи, вы можете положиться — я жизни своей не пощажу в борьбе за наше дело, но и другим спуску не дам. Лучше героическая смерть, чем бесславное прозябание. За новые успехи!

Голоса из-за стола. Урра-а! За на-аше де-ело!

Кузьма. За дело отчего же не выпить. Бездельник, как говорится, кто с нами не пьет... *(Наливает и пьет.)*

По авансцене идет Таганов, навстречу ему Автор.

Автор. Таганов, вы почему не за столом?

Таганов. Для меня, как говорится, в чужом пиру похмелье.

Автор. О нет! Ваше место за общим столом. Только вы можете сейчас сказать, во что обошлась эта победа. Сказать надо ему самому!

Таганов. Бесполезно... Он сейчас не слышит. Он, как глухарь, токует.

Автор. Ну, так скажите другим.

Таганов. С другими у меня производственные отношения. Я — отстающий. Скажут — завидует. А почему бы вам не выступить?

Автор. Я — автор, лицо частное. Скажут — не поучай, а изучай. Такое положение...

Таганов. То-то и оно. У каждого из нас положение.

Расходятся.

На авансцену с хохотом выбегают Пряхина и Казанков, останавливаются возле стенки, целуются.

Пряхина *(в объятиях Казанкова)*. Сережа, милый мой герой! Как я счастлива!..

Кузьма на диване звякнул стаканом о бутылку.

Пряхина *(испуганно)*. Ой! Кто здесь?

Кузьма. Не пужайтесь... Я вас видывал и не в такой позиции.

Казанков. Кузьма, ты как здесь очутился?

Кузьма. Обыкновенно.

Пряхина. Я же тебя за стол усадила!

Кузьма. Там светло больно — лишнюю не выпьешь.

Казанков. Куда ты с ногами залез? Ты знаешь, чья эта комната?

Кузьма. Обчественная.

Пряхина. Дурень! Это комната отдыха для Терентьева... А общественная там...

Кузьма. Где это там?

Казанков. Сейчас я тебе покажу. *(Берет его за шиворот и выводит.)*

Казанков *(возвращаясь)*. Зачем ты его притащила?

Пряхина. Как знать! А может, будущей весной опять лодка понадобится?

Казанков. До будущей весны ко мне переедешь.

Пряхина. Параньки боюсь.

Казанков. Она по шейку в навозе увязла...

Пряхина. Эх, Сережа!.. Мы еще погремим с тобой.

Казанков *(хочет обнять, но, заметив идущих к дверям Терентьева с женой, уводит ее за руку.)* Пошли!..

Терентьев *(задерживаясь в дверях, пропускает жену и Автора)*. Прошу!

Автор *(на ходу)*. По части вязки вы настоящий художник. Куртка божественна!

Ольга Акимовна. Это вы про ту, что я связала по австрийской моде?

Автор. Ага. Эдакая пупырчатая, а по краям кожей обшита.

Ольга Акимовна. Точно! Какая память, какая память! Вот что значит писатель. Как она Мише идет!

Терентьев *(равняясь с ними)*. Да пустяки, мать. Ну как, Силантьев, живется у нас? Все еще героя ищешь? А чем тебе, к примеру, Фенька Пряхина не герой? Настоящий

колхозный вожак — молодая, красивая... Иль боишься влюбиться?

Ольга Акимовна. Миша, ты, как Земляков, про любовь заговорил.

Терентьев *(распрямляя плечи)*. А что? Я еще хоть куда! Хочешь, станцую этот самый — рок-на-рол? *(Выписал ногами забавный крендель.)*

Ольга Акимовна. Куда уж тебе, ноги вон заплетаются. И что вы находите в этой Пряхиной? Вяленая вобла, и больше ничего. Жене бы больше внимания уделял. Туфлей приличных купить не можешь. Ноги как в тисках... Еле хожу.

Терентьев. На твои ноги не то что туфлей, лаптей не найдешь.

Ольга Акимовна. Ах ты, старый медведь! Да разве моя нога так уж велика, Александр Петрович?

Автор. У вас ножка настоящей русской красавицы.

Ольга Акимовна *(хлопает в ладоши, мужу)*. Что, получил? Вот что значит воспитанный мужчина. Александр Петрович, в нашем доме вам все двери открыты.

Терентьев *(Автору)*. А как насчет Пряхиной?

Автор. Мне больше по душе Веселинов.

Терентьев *(хмуро)*. С обиженным дружбу водите? Слыхал... Ну что ж, он человек не глупый.

Автор. И стойкий.

Терентьев. Это еще вопрос. Стойкость коммуниста в том и состоит, чтобы держаться принятой линии. Тянуть общую упряжку по земле, а не рваться в небеса.

Автор. А если ее не туда тянут, упряжку?

Терентьев. Как это — не туда? У нас путь у всех один — к изобилию... к коммунизму. Иной дороги нет, Силантьев. И сами это запомните и передайте тому же Веселинову.

Автор. Дорога одна, да ездоки разные. Иной и лошадей загонит и воз опрокинет.

От столов в двери проходят Земляков, Мыловарцева, Моторная, с ними знатные доярки — Анна Васильевна и Настя.

Мыловарцева. Михаил Иванович, Ольга Акимовна! Какое счастье, какая победа! На всю страну! Ведь это, если философски осмыслить...

Терентьев. Это раньше была философия... А теперь три плана на столе, награды на груди. Какая тут философия? Мы вам еще и не такое покажем. *(Поглаживает по спине Анну Васильевну.)* Правда, Нюра?

Анна Васильевна. Истинная правда, Михаил Иванович. Я шесть тысяч кило надоила, и седьмую тысячу добуду. Вон она у меня где! *(Показывает кулаки.)*

Терентьев. Молодец, Нюра! Такими руками мы эту Америку за гашник заткнем. *(Обращаясь к Насте.)* Ну что, молодежь, успеваете за нами, стариками? Или дух захватывает?

Настя. Стараемся, Михаил Иванович! Анна Васильевна все свои секреты нам выкладывает.

Терентьев. О! Она у нас профессор дойки. Иным грамотеям с кафедры не худо было бы поучиться у нашей Нюры.

Моторная. Да что там, Михаил Иванович! Подъем исключительный. Ни в какие ворота не лезет. Один мой свинарь Воробей всем носы поутирал. По килу на день от каждой свиньи дает привеса.

Терентьев. Хорошо поработали, товарищи! А теперь и отдыхайте веселее.

Анна Васильевна и Настя *(одновременно)*. Спасибо, Михаил Иванович. *(Уходят.)*

Мыловарцева *(трогая звезду на груди Терентьева)*. Михаил Иванович, герой вы наш расчудесный! Вы сами кузнец своего и нашего счастья. Захотели — засучили рукава, взяли молот и отковали. Но не забывайте! *(Лукаво грозит пальцем.)* Мы ведь тоже вам горнило раздували... Помогали!

Моторная. И угольки вам подбрасывали, Михаил Иванович, и угольки.

Терентьев. Нет уж, если говорить о нашем главном кузнеце, то вот он — прошу любить и жаловать! *(Указывает на Землякова.)* Наш главный заготовитель. Специалист по добыче золота.

Все смеются.

Земляков. Чувствительно благодарен, как говорится, но уж позвольте вашу ручку, обожаемая наша Ольга Акимовна. *(Целует ей руку.)* Если кто и заслуживает высшей оценки в нашей победе, так это вы, Ольга Акимовна. Вы создаете настроение. Вы первоисточник, вы повелитель грома... Захотите — грянет гром.

Кузьма *(незаметно появившийся)*. Вот я и говорю, пока гром не грянет, мужик не перекрестится.

Появление Кузьмы настолько неожиданно, что все стоят словно остолбеневшие.

Кузьма. А первоисточник, перевозчик то есть, это я, Кузьма Пупынин. Значит, я и есть главный герой. А почему? Потому как сквозь мои руки, паром то есть, скота ноне прошло тьма-тьмущая. Его с Дону гнали, из Воронежа, из Курска и черт-те откелева. От турок, а может, и от персиян. Но ростовские быки, я вам скажу... носороги, а не быки. Рога эдакие вот. И все, стервец, под бока тебя норовит... У-у! *(Тычет пальцем в бок Мыловарцевой.)*

Мыловарцева. А-а-а!

Терентьев. Вон отсюда!

Кузьма. О-о! Вот эдак и ростовские быки. *(Передразнивая.)* Во-о-он!

Автор *(беря Кузьму под руку)*. Кузьма Иванович, вы дверями ошиблись.

Автор уводит Кузьму. Появляются Казанков и Пряхина.

Общий гомон. Откуда он? Кто он? Как он сюда попал?

Терентьев. Скотина, весь праздник испортил.

Он разводит руками, словно курушка собирает всех под свои крылья. Все сходятся плотным кольцом возле Терентьева.

Терентьев. Ну, ребята, мы победили! Теперь наша задача — устоять.

Картина девятая

Бригадный красный уголок при ферме. На стенах — кривые надоя и привеса, плакаты и лозунги. Возле стены сидят на скамье четыре женщины, среди них знакомая нам Кривошеиха. Пасечник, тот самый Минеевич, что председательствовал, сидит за столом. Входят Веселинов и Автор.

Веселинов. Здорово, мастера высокого надоя!

Минеевич *(вскакивая)*. Никак вы, Николай Алексеевич? Какими судьбами?

Бабы *(со скамьи, разноголосо)*. Здравствуйте, Николай Алексеевич!

Минеевич. Дуня, ну-ка сбегай на скотный двор, позови Параньку.

Автор. Да вы бригадира позовите.

Минеевич. Она и есть бригадир, Паранька-то. *(Смущенно кашлянув в кулак.)* Кличем, значит, таким образом. Подвернулось на язык. Уж извините.

Веселинов *(подмигивая Автору)*. Видал, какое разделение труда? Бригадир работает, а колхозники сидят.

Автор. А что она там делает?

Кривошеиха. Навоз накладывает да в поле отвозит.

Веселинов *(смеясь)*. Так сама и накладывает?

Минеевич. Сама. Они-то пырнули раза два вилами да вон семечки лузгают. А бригадир старается.

Кривошеиха. Для чего стараться-то? Все равно в одну кучу свалят навоз да весной сожгут.

Минеевич. Дуня, я кому сказал! Сходи за Пар... бригадиром!

Дуня уходит.

Как вы ушли, так и жизнь кончилась. Теперь за единички работаем.

Веселинов *(Кривошеихе)*. Парамон не ходит больше по дворам, не пьет пивную гущу?

Кривошеиха. Э-э, Ляксеич! Ноне не то что выпить, и понюхать пивка-то не найдешь. Попили, отчудили. Ноне нам ни зернышка не дали на трудодень. Вот как, всех усмирили сразу.

Веселинов *(Минеевичу)*. А пенсию получаете?

Минеевич. И пензию отобрали у нас. Как вы ушли — баста. Говорят, ишшо не созрела какая-то условия. Где она должна зреть, эта условия, на земле ай на небе? Это нам не дано знать.

Автор. А Викул Андриянович как поживает?

Минеевич *(оживляясь)*. Жив, здоров! Этому пензию платят. Назначили по линии беспризорности 85 рублей в месяц. Вот оно как все обернулось — Викул получает, а нам отказали пензию. Мы уж было все в беспризорники подались. Нельзя! Говорят, на беспризорных тоже лимит. Ну, вроде ограничения.

Автор улыбается, записывает в блокнот.

Кривошеиха *(Автору)*. Вы ишшо вот что запишите: на каком основании коров у нас сводят?
Автор. Что значит — сводят? Отбирают?
Кривошеиха. Оно нельзя сказать, что отбирают. Но сводят со двора. Держать ее надо, говорят, в колхозе. Чего она стоит — определим и деньгами выплатим. А поскольку денег нет пока, в долг запишем.
Автор. Так отбирают коров или нет?
Веселинов *(усмехаясь)*. Обобществляют.
Кривошеиха. Вот, вот! Обесчисляют. Ты ее веди, говорят, в колхоз. И тебе будет лучше, и ей. Не то ты при ней состоишь в этом самом — рабстве. Мы тебя ослобонить хотим, а ты упираешься. Ну, вы нас ослобоните, а чего нам без молока делать? А у которых вон дети малые? Куда деваться?
Автор. А вы не сдавайте. Это против закона.
Кривошеиха. Родимый мой, а кормить чем? Кормов-то не дают. Сено косить нельзя. С крыши соломой не прокормишь. Да раскрой ее, крышу,— сама и замерзнешь.
Входит Паранька.
Паранька *(дуя на руки)*. Ну и мороз! Руки с пару зашлись. *(Здоровается с Автором и Веселиновым.)*
Веселинов. Прасковья Матвеевна, или навоз некому возить?
Паранька *(кивает на женщин)*. Вон они, возчики. Злыдни.
Веселинов. В этой бригаде у нас вроде и мужики водились?
Паранька. Отпустили мы мужиков в отхожий промысел. А паспорта им, правда, не даем, разбегутся. По справкам до мая месяца отпустили.
Автор. Это шабашники, что ли?
Паранька. Как хотите называйте, им ведь тоже кормиться надо. Семья, дети. Трудодень ноне пустой. Какие были деньги — на покупку скота потратили. Вот и ушли мужики. Кто на стройку, кто в леспромхоз. Лес пилить, уголь жечь... Кто на что способен. К весне возвратятся, деньжонок принесут. Так и сведут концы с концами.
Веселинов. Прасковья Матвеевна, мы к вам вот по какому делу. За вашей бригадой числится сто пятьдесят шесть голов крупного рогатого скота на передержке. Смогли бы вы нам показать этот скот?
Наступает минутная пауза. Вдруг раскрывается дверь и входит Казанков.
Казанков *(с порога)*. Наконец-то! Я вас, Веселинов, разыскиваю по всему району. *(Подходя, остальным.)* Здравствуйте!
Веселинов. А чего меня разыскивать? Я не иголка в стогу сена.
Казанков. Да ты что, не знаешь? Бюро по твоему делу перенесено на сегодняшний вечер.
Веселинов. Кто тебе сказал?
Казанков. Терентьев. Мне приказано тебя и привезти прямо в обком.
Веселинов *(улыбаясь)*. Почетным эскортом?
Казанков. Мне шутить некогда. Поехали!
Веселинов. Обождешь. Мне тут один прелюбопытный вопрос надо выяснить. Насчет передержанного скота.
Казанков. Что?! А ну-ка, посторонние, выйдите отсюда! *(Выпроваживает колхозниц, говорит Минеевичу.)* А ты — там постой, у дверей.
Минеевич. Ясно.
Колхозницы и Минеевич выходят.
Казанков. Этот скот, что на передержке за бригадой, в лесу, на временном отгоне.
Веселинов *(саркастически улыбаясь, смотрит на Параньку)*. Зимой в лесу? Вы его в медвежью шкуру одели или в берлоги уложили?
Паранька *(краснея, запинаясь, смотрит в пол)*. Нет у нас этого скота... Он только на бумаге числится.
Веселинов. Понятно. Ну, что же, Казанков, поехали на бюро.
Все, за исключением Параньки, уходят.
Казанков *(возвращается и говорит с порога)*. Недоумок! Предательница! *(Уходит, хлопнув дверью.)*
Паранька *(дует на руки)*. С пару зашлись, никак не отогреются.

Картина десятая

Кабинет Терентьева. Заседает бюро. За столом Терентьев, сбоку от него Земляков. За торцевым столом, накрытым зеленым сукном, сидят строгие члены бюро — их восемь человек. Веселинов стоит у торца дальнего стола, напротив Терентьева.
Терентьев. Коммунист Веселинов, вы считаете обязательно для себя выполнять решение партии или не обязательно?
Веселинов. Устав обязует выполнять решение партии.
Земляков. То, что положено по уставу, мы и сами знаем. Вы отвечайте на вопрос: лично вы обязаны выполнять решение партии?
Веселинов. Да, я лично обязан.
Терентьев. Коммунист Веселинов, вам известно было решение областного актива о принятии трех планов и постановление пленума обкома по этому вопросу?
Веселинов. Да, известно.
Терентьев. Коммунист Веселинов, вы лично выступили против решения пленума?
Веселинов. Я на пленуме не присутствовал.
Терентьев. Это неважно. *(Поднимает пачку исписанных листов)*. Чья эта лекция? Ваша?
Веселинов. Да, моя.
Терентьев. Вы считаете, что эта лекция не направлена против решения пленума?
Веселинов. В этой лекции я исследую причины и последствия очковтирательства.
Казанков. Вы не увиливайте!
Терентьев. Значит, ваша лекция не против решения пленума?
Веселинов. Я повторяю — лекция написана против очковтирательства. А уж против решения пленума или нет, вам виднее.
Земляков. Слыхали? Он еще и шутить изволит!
Терентьев. Коммунист Веселинов, вы утверждаете в вашей лекции, что принятые обязательства по мясу были нереальны?
Веселинов. Да, утверждаю.
Терентьев. Это вы писали: «Выполнение трех планов есть прямой акт очковтирательства»?
Веселинов. Да, я написал и доказал.
Казанков. Не торопитесь насчет доказательств!
Терентьев. Значит, писали?
Веселинов. Да, писал.
Терентьев. Коммунист Веселинов, вам известен был такой пункт решения пленума? *(Читает.)* «Выполнение принятых обязательств по мясу, трех планов, является главной задачей областной партийной организации».
Веселинов. Да, известен.
Терентьев. Значит, коммунист Веселинов осознанно выступил против главного пункта решения пленума? Ваше мнение, товарищи члены бюро?
Голоса членов бюро. Да, осознанно.
Терентьев. Коммунист Веселинов, считаете ли вы, что решение областной парторганизации и есть для вас решение партии, которое вы обязаны выполнять?
Веселинов. Да, но я имею право высказать при этом свое особое мнение.
Терентьев. Правильно! Но только в парторганизации или в партийной печати... Но не в публичной лекции. *(Он поднимает пачку листов.)* Вы эту лекцию читали в институте?
Веселинов. Читал.
Земляков. А в публичной библиотеке?
Веселинов. Читал.
Земляков. А председатель общества завизировал ее?
Веселинов. Отказался.
Терентьев. Коммунист Веселинов, теперь вы, надеюсь, не станете отрицать, что вы публично выступили против решения партии? Причем выступили нелегально. Это усугубляет вашу вину.
Входит Маша.
Терентьев *(строго)*. Я не просил тебя. В чем дело?
Маша. Михаил Иванович, Автор просто рвется к вам.
Терентьев. Нельзя!
Маша. Я уже ему говорила. А он говорит: до утра здесь просижу.
Терентьев. Пусть хоть ночует под дверью.
Маша уходит.
Что вы можете сказать в оправдание своего антипартийного заявления.
Веселинов. Я тридцать лет состою в партии. Землю пахал, заводы строил, воевал, людей учил и сам учился. Чему учился? А тому, чтобы понимать, для чего живем, для кого работаем. Да, вы приняли решение на пленуме...

Но как это решение скажется в жизни? Что принесет оно людям, кроме благих пожеланий? Ну, вырвались вперед... Ну, победители. А во что обошлась колхозам эта победа? Более двадцати тысяч голов скота закуплено на стороне... почти двадцать тысяч тонн поставлено на передержку, а ведь это все деньги! По моим подсчетам, убытки, нанесенные колхозам, перевалили за 200 миллионов рублей. Откуда взяли эти деньги? Из кармана колхозника — это непостроенные фермы и школы, это неосвещенные села, это некупленные шубы и валенки, это невыданные пенсии старикам, это отобранные литры молока у детей. Зная все это, какой же честный человек может молчать? Вот почему я выступил с публичной лекцией!

Веселинов сел.

Терентьев. Понятно... Ваше мнение, товарищи члены бюро?

Голоса *(почти хором)*. Ответ не по существу.

Терентьев. Ясно. Кто хочет высказаться?

Казанков. Прошу слова!

Терентьев. Пожалуйста.

Казанков *(раскладывает перед собой бумаги)*. Товарищи, мы уже второй раз в году разбираем на бюро личное дело Веселинова. Не много ли это для одного человека? То Веселинов коллективку организовал... То докатился до прямого антипартийного выступления. Видимо, строгий выговор, который мы вынесли на том бюро, не пошел впрок Веселинову. Ясное дело, товарищи, что мы здесь слиберальничали. А либерализм, как учит нас история, и единство партии несовместимы. Мне поручено доложить членам бюро некоторые обстоятельства личного плана, о которых, по вполне понятным причинам, товарищ Веселинов умалчивает. В связи с этим прошу, Михаил Иванович, разрешить мне задать Веселинову несколько вопросов.

Терентьев. Пожалуйста!

Казанков. Вы окончили реальное училище, так?

Веселинов. Окончил.

Казанков. Скажите, какой оно имело уклон?

Веселинов. Технический.

Казанков. Оно не приравнивалось к средней общеобразовательной школе? К гимназии по тому времени?

Веселинов. Пожалуй, нет.

Казанков. Ну, аттестат зрелости вам не выдавали?

Веселинов. Нет.

Казанков. Значит, не приравнивалось. Скажите, вы окончили Высшие кооперативные курсы? В каком году?

Веселинов. В 1931 году.

Казанков. Правильно! А теперь ответьте нам, товарищ Веселинов, приравнены ли Высшие кооперативные курсы к высшему учебному заведению?

Веселинов. Да их уж нет давно... И я, право, не помню.

Казанков. Хорошо, я вам напомню. Вот официальный ответ Министерства высшего образования на наш запрос. *(Читает.)* Здесь сказано, что означенные курсы никогда не приравнивались к высшему учебному заведению. Можете удостовериться, товарищ Веселинов. *(Протягивает ему бумажку.)*

Веселинов. Я не понимаю, к чему все это?

Казанков. Странная непонятливость! Человек преподает в институте, не имея при этом не только диплома, но и аттестата зрелости...

Члены бюро смеются.

Веселинов *(запальчиво)*. Я кандидат наук!

Казанков. Знаем! Вот выписка из постановления ученой комиссии. *(Читает.)* «Директору совхоза «Титан» Веселинову Николаю Алексеевичу присваивается ученое звание — кандидат экономических наук. Тема диссертации — «Опыт травопольной системы в совхозе «Титан». А вот и книжечка, товарищи! *(Он кидает ее на стол.)* Это же опыт совхоза, многотысячного коллектива... Коллектив — вот кто писал вашу диссертацию. *(Усмехнувшись.)* Тема, правда, устарела.

Веселинов. Я протестую!

Терентьев. Спокойно!

Казанков. Но даже кандидату наук, преподающему в институте, положено иметь диплом об окончании высшего учебного заведения, а не какого-либо иного. Этот закон вы знаете, товарищ Веселинов, и нарушаете. Нечестно!

Члены бюро. Это же просто преступно!..

Веселинов. Что здесь происходит?

Терентьев. Разбирается ваше личное дело.

Веселинов. Это обструкция! Я протестую!

Терентьев. Спокойно!

Казанков. И еще один, последний штрих. Веселинов имел и раньше строгий выговор за перерасход трех миллионов рублей на зарплату рабочим совхоза. И строгий выговор скрыл при переезде к нам.

Веселинов. С меня же сняли это взыскание!

Терентьев. Это неважно. Доложить обязан был.

Веселинов. Для моего бывшего совхоза, где работало пять тысяч человек, это немного.

Казанков. Видите, какая у него широкая натура. Три миллиона государственных денег — это немного... Добренький он у нас, за счет государства. То-то он нынче прикидывается эдаким сердобольным. У меня все, Михаил Иванович.

Казанков сел.

Терентьев. Кто еще хочет?

Голоса. Все ясно.

Терентьев. Какие предложения будут?

Земляков. Есть предложение — исключить Веселинова из партии.

Терентьев. Другие предложения будут?

Молчание.

Ясно! Поступило одно предложение — исключить Веселинова из партии. Кто «за», прошу поднять руки.

Руки подняли все.

Единогласно. Веселинов, положите партийный билет!

Веселинов. Я? Отдать вам партийный билет? Никогда!

Встает, хватается за сердце и со стоном падает навзничь. Поднимается суматоха. Кто-то кричит: «Доктора! Доктора!» Кто-то кричит: «Воды!»

Вбегает Маша, наливает стакан воды, склоняется над Веселиновым, все окружают ее.

Маша. Не пьет, Михаил Иванович! Я в наш медпункт позвонила. Сейчас сестра будет!

Входит сестра, за ней Автор.

Сестра *(наклоняется, прощупывает пульс. После минутной паузы)*. Кажется, все...

Веселинова уносят. Все уходят, за исключением Автора. Терентьев стоит лицом к окну, заложив руки за спину, он не замечает Автора.

Автор. Как все объяснить, Михаил Иванович?

Терентьев. Сами все видели. Чего ж объяснять?

Автор. Выходит, убили человека?

Терентьев. Он сам себя убил... Типичный самоубийца. *(Проходит к столу.)* Тот, кто не понимает новое, кто становится на пути его, стремится задержать, тот неизбежно будет сметен с дороги. Садись! В ногах правды нет.

Автор. Сидеть после того, что здесь произошло? Покорно благодарю.

Терентьев. Да успокойся. Еще выздоровеет ваш Веселинов.

Автор. А если нет?

Терентьев *(после паузы)*. И мы с вами не бессмертны. У каждого свой час. И не надо бить на чувство. Москва слезам не потакает.

Автор. Удобная философия.

Терентьев. Мы не рассуждаем — удобная она или нет. Это наша позиция, которая оправдывает нашу борьбу за построение новой жизни. Знаете ли вы, Силантьев, что такое новое? Новое — это не то, что хорошо сегодня; новое — то, что завтра даст великие блага.

Автор. А вы уверены в этом?

Терентьев. Кабы не был уверен, не сидел бы здесь, в кабинете.

Автор. Зачем же мне завтра то, что нехорошо еще сегодня?

Терентьев. Ты не цепляйся к словам.

Автор. Я смысла ищу.

Терентьев. А смысл в том, что во время великого нового надо уметь отказываться от нынешних недолговечных выгод.

Автор. Отказываться мы умеем. Но вот во имя чего? Великое это новое или малое, но оно должно быть прежде всего разумным.

Терентьев. Это доказано и научно обосновано.

Автор. Наука выдвигает теорию, обосновать может только практика. А практика наша вон к чему приводит.

Терентьев. Что, Веселинова жаль? Мне, может быть, не меньше вашего жалко... Я вот как-то с весны приехал в совхоз «Красный пролетарий». Коровы — картины, загляденье! Дворы — по шнурочку, чистота, как в госпитале. Стойла под номерами. Кормушечки, полы цементные... Доярки в белых халатиках... Будь здоров! А я беру директора под руку и говорю: «Лаврентий, ломать твою красоту надо... Морально устарела». Он плачет, но соглашается: «Понимаю, Михаил Иванович, а только жалко — жизнь свою вложил сюда...» И разломали. Ну и что? Вчера стойла были,

кормушки, коровы на привязи, а нынче — беспривязное содержание скота, более передовое, прогрессивное. Вчера мы восторгались нашими заливными лугами — трава по пояс, а нынче распахиваем — кукурузу сеем... потому что передовое. Жалко? Жалко! Но надо... И кто этого не понимает — грош тому цена. С историей шутить нельзя, а мы ее делаем.

Автор. Михаил Иванович, историю делают по-разному... Иные дела история сама исправляет.

Терентьев *(грозно)*. Что это значит?

Автор. А то и самое... Нажился я у вас, насмотрелся на эту самую историю. И вот пришел вам сказать: прав Веселинов, а не вы.

Терентьев. Что? Ты тоже вступаешь на веселиновскую дорожку? Так не забудь, чем она кончилась.

Автор. А, может, я окажусь удачливее. Во всяком случае, буду выступать против вас.

Терентьев. Пока я сижу в этом кабинете, твои выступления для меня — что укус мухи.

Автор. Все временно, Михаил Иванович.

Терентьев. Посмотрим.

Автор. Пока.

Терентьев. Давай пиши... Да не забудь мне принести на визу.

Автор уходит.

Маша!

Входит Маша.

Раствори-ка окна, а то здесь какой-то гадостью пахнет. Медицина...

Маша растворяет окна. Звонит телефон. Маша подбегает, снимает трубку.

Маша. Да! Здесь!.. *(Скороговоркой Терентьеву.)* Михаил Иванович! Москва!

Терентьев берет трубку, слушает.

Голос в трубке. Терентьев, почему вы до сих пор не сдаете мясо, что числится за вами на передержке?

Терентьев. Да, знаете, отел идет... Ну вот и откладываем.

Голос в трубке. Не слишком ли надолго откладываете? Подходит время сдавать в счет нового плана, а вы еще со старыми долгами не рассчитались.

Терентьев. Знаем, знаем... Все будет в порядке. Нельзя ли мне с Мыловарцевой связаться?

Голос в трубке. Мыловарцевой у нас уже нет.

Терентьев. Как нет?

Голос в трубке. Сняли с работы...

Терентьев. А товарищ Епифанов?

Голос в трубке. Товарища Епифанова тоже нет, направлен в Индонезию.

Терентьев. В Индонезию?

Голос в трубке. Да, по торговой части.

Терентьев *(ошеломленный, смотрит на умолкнувшую трубку и медленно кладет ее)*. Индонезия...

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Радиоперекличка (отмененная)

За столом, освещенным прожектором, сидят Терентьев и Земляков. Сцена в глубине затемнена.

Земляков. Все готово, Михаил Иванович.

Терентьев. Погоди!.. Голова трещит... Как под колесом побывала... *(Вынимает из стола термос, отвинчивает крышку.)* Хочешь ополоснуть горло? *(Наливает в стакан нечто похожее на чай, потом достает из стола нарезанный лимон.)*

Земляков. Не могу, Михаил Иванович.

Терентьев. Не могу-у... *(Передразнивает его.)* Ишь, как запел! А год тому назад хорохорились с Казанковым — мы все можем!..

Земляков. Времена меняются, Михаил Иванович.

Терентьев. Плевать мне на ваши времена. *(Пьет и закусывает лимоном.)* Если мы не побьем рекорды по молоку, я вам такие времена устрою, что мертвым позавидуете.

Земляков. Кривая надоев растет, Михаил Иванович.

Терентьев. Растет! Она должна рваться в облака... Пойми, Земляков, молоко — последний козырь. Если мы дадим, что обещали, значит, дело с мясом может отодвинуться на задний план. Нам нужен выигрыш во времени. А там — подойдет осень, новый скот подрастет... И старые долги покроем.

Земляков. О чем говорить, Михаил Иванович. Блеск нового успеха уже озаряет нашу область. Вы только посмотрите последнюю сводку. *(Показывает бумагу.)* Колхоз Пряхиной надоил уже по две с половиной тысячи килограммов от каждой коровы! А еще и половины года не прошло. Весь Духановский район дал по две тысячи триста. Область подошла к заветному двухтысячному рубежу... Да никому и не снятся такие удои!

Терентьев. Говорить вы мастаки...

Земляков. Да мы и в деле никогда не подводили. Так что поезжайте, Михаил Иванович, в санаторий... Отдохните!

Терентьев. Нужен мне этот санаторий, как барану зимняя стрижка. Но ничего не попишешь — посылают. *(Наливает из термоса.)*

Земляков. И правильно делают.

Терентьев. Что-о? Уж не ты ли, друг, посигналил туда — мол, утомился Терентьев?.. Не тем чайком заправляется!

Земляков *(изображая ужас)*. Что вы, Михаил Иванович! Ну кто посмеет?

Терентьев. Ладно, я пошутил. *(Пьет, закусывает лимоном.)* А чует мое сердце — стукнула какая-то бестия, из близких. Знающая что к чему.

Земляков. Не может быть... Просто заботятся о вас.

Терентьев. Ладно! Готовь микрофон.

Входит Маша.

Маша *(кладет телеграмму на стол)*. Михаил Иванович, срочная телеграмма из Москвы.

Маша уходит.

Терентьев. Что еще за новость? *(Читает.)* «На границе Московской области милицией задержана грузовая машина, груженная сливочным маслом. Машина принадлежит колхозу «Восход» Ухановского района вашей области. Масло куплено в московских магазинах с целью сдачи на районный молокозавод вместо молока... Срочно расследуйте этот тревожный сигнал». *(Откладывает телеграмму и спрашивает грозно.)* Чья машина?

Земляков *(лепечет)*. Пряхиной.

Терентьев *(жестко)*. Ты знал?

Земляков. Нет!.. Я и подумать не мог... Так опозорить область! Влипнуть... Это же провокация! Как она посмела?

Терентьев. Комиссию назначить, созвать расширенное бюро и результаты доложить... до моего отъезда. А радиоперекличку отмените.

Земляков. Есть! *(Включает микрофон.)* Внимание, товарищи, в связи с отъездом Михаила Ивановича и подготовкой к бюро очередная радиоперекличка отменяется.

Картина одиннадцатая

Переправа на реке. Автор и Кузьма сидят возле костра. Весна. Кузьма босой.

Кузьма. Вы где же теперь живете, Петрович? У нас или обратно в Москву уехали?

Автор. Уехал... Сразу после смерти Веселинова.

Кузьма. Давненько вы у нас не были. А мы ныне в поход отправились по большое молоко. Поди, писать будете? Про мясо-то писали?

Автор. Нет, Кузьма Иванович, не писал.

Кузьма. А почему?

Автор. Хвалить вас не за что, а ругать не дают. Авторитет сберегают. Вы же передовые!

Кузьма. Вон что! Оно, конечно, передом идем. Только куда? Вот вопрос! А в газетах хва-алют: Америку обогнали! Я человек малограмотный, а вы образование имеете. Ну поясните мне: почему хвалят? Или по незнанию, или с целью?

Автор. И то, и другое, Кузьма Иванович... Но все-таки большинство знает или по крайней мере догадывается. Ведь нельзя же в самом деле из одной коровы за год сделать три! Знают, что нелепость, но молчат... Чудеса?! В том-то и дело, что любят у нас чудеса творить. И верят до сих пор в чудо. Только крикнуть надо погромче, посулить побольше выгоды... А уж как называются эти чудеса — кукурузой там, бобами или молоком — неважно. Главное, посулить изобилие надо. И все ждать будут: мол, завтра откроем глаза и — вот оно, изобилие под рукой, бери его сколько хочешь. Чудо наяву! Уж сколько раз лопалось эдакое чудо, как мыльный пузырь. Только брызги в глаза. Ну и что? Проморгаем... Одно лопнуло, второе объявилось. И верят, ждут... Вот что непостижимо. *(Вынимает папиросы «Беломорканал», предлагает Кузьме.)*

Кузьма. У вас ноне и курево дешевенькое. А королевских-то ай больше не продают?

Автор. Я теперь вроде безработного... Аванс за книжку проел, а книжку не написал.

Кузьма. А что, прицелу нет, ай не заладилось?

Автор. Оно, может быть, и заладилось, да прицел пришлось менять.

Кузьма. Это большое дело! Значит, и молоко взяли под прицел?

Автор. Хочу посмотреть, чем все это кончится.

Кузьма. Чем она кончится? Политика, она всегда кончается одним и тем же — одного снимут, другого поставят. Слыхал, Пан-Миллана заменили? Так и у нас. Фешку сменят, помяни мое слово... Потому как она говорит одно, а диктует другое.

Автор *(смеется)*. Она еще в прошлом году надиктовала...

Кузьма. Что ты, парень! В прошлом году цветочки были, а теперь ягодки подошли. Как только объявили у нас этот поход по большое молоко, так, веришь ли, на молокозаводе все сита мальками позабивало.

Автор. Какими мальками?

Кузьма. Рыбьими, какими ж еще? Станы-то коровьи на берегу озер; ну, доярки черпают воду прямо из озера для добавки молока... Во удои! А в последние дни, говорят, на ситах и головастики появились. Тепло! Оно уж время и для развода лягушек подошло.

Автор *(смеясь)*. А водоросли еще не появились в масле?

Кузьма. Молчи, парень! С этим маслом такая карусель получилась, что умрешь. Намедни наш грузовик поймали под Москвой. Хватились, а в нем полный кузов масла!

Автор. Масло из Москвы?

Кузьма. Точно. Из магазина. Комиссию посылали из области. Проверить. Значит, все в точности уяснить. Наверное, Казанков упредил Фешку. Она всех первотелов — полсотни штук — за реку отправила, в лес пустила... Как беспризорных.

Автор. При чем тут первотелы?

Кузьма. А при том... У нее только коровы числились... А телки, которые отелились, она на учет не ставила. Молоко брала от них да коровам писала. Вот она, рекорда по удою молока, откуда и пошла. А тут комиссия... Они этих первотелов угнали в лес да бросили. Которые в соседний район ушли, которых волки погрызли, а которых и мужики прибрали.

За сценой раздается мычание коровы. Кузьма и Автор переглянулись.

Автор. Кузьма Иванович, это твоя корова молодая, под навесом привязана?.. Уж не волки ли тебе пригнали ее?

Кузьма. Ни-ни, Петрович, это я на базаре купил. А что, со стороны реки ее увидел?

Автор. Нет. Я давеча вглубь заходил, удильник вырезал.

Кузьма. А-а...

Автор. Фешку ждешь?

Кузьма. Верно догадался, жду. Утром косынку на той стороне вывесила. Я для нее и лодку перегнал туда.

Автор. Неужели они все еще здесь встречаются?

Кузьма. Давно уж не были. С прошлого лета, почитай. А ноне опять вывесила косынку. Уж и не знаю зачем. Ты бы, Петрович, тоже в лесок убрался. А то она при тебе не подойдет. Не такое у нее нынче настроение.

Автор. Я, Кузьма Иванович, пожалуй, в город подамся, с попутной машиной.

Кузьма. Отчего так? Отдыхай. У меня там навес, сенцо. А вечерком еще половим.

Автор. Спасибо. Я уж наловился. Эхма! *(Откидывается на спину, заложив руки за голову, смотрит в небо.)*

Кузьма *(встает)*. Снасти пойду посмотрю. Да там поразведаю, может, Фешка появилась.

Кузьма уходит.

Автор *(декламирует)*. «Я думал: «Жалкий человек. Чего он хочет!.. Небо ясно, под небом места много всем, но беспрестанно и напрасно один враждует он — зачем?»

Слышен шум остановившейся машины. На сцену выходит Таганов.

Таганов *(подходит к костру)*. Силантьев, здравствуйте! А говорят, вы от нас уехали? Поругались с Терентьевым...

Автор *(встает)*. Здравствуйте, Таганов, здравствуйте! Все было. Все истинная правда. Да вот видите — опять я у вас. Тянет меня к вам, как собаку в старый дом, где новые жильцы. Хоть на стены поглядишь да возле ворот повоешь.

Таганов. Да, хозяин наш сердит на тебя, это верно. Мы, говорит, ему и квартиру, и дачу, а он нас грязью поливать! Я, говорит, и в Москве его найду, на улицу выброшу. Печатать запрещу.

Автор *(смеется)*. Растопчу, съем и выброшу в окно... Ну, что у вас нового?

Таганов. Да гремим пока по-старому. Правда, появляются и новые мотивы. Слыхал историю с маслом?

Автор. Пряхина, что ли, попалась?

Таганов. И не она одна. Поговаривают, комиссию готовят нам... Большую! А Терентьева отправляют в санаторий. Мол, переутомился. Запивает. Кто-то из наших сообщил туда.

Автор. На Терентьева? Да неужто он запил?!

Таганов. Небось запьешь. Новый план по мясу не тянем, а там старые долги сдавать надо. И с маслом попались. Он теперь каждого подозревает... Собирает бюро по любому поводу: обгонит его машину кто-нибудь в городе — бюро. Разыскать, выяснить: с какой целью? Наказать! А сегодня собирает всех перед отъездом в санаторий, вот уж даст разгон. Чтобы целый месяц помнили.

Автор. Как у вас-то дела? В районе? В прошлом году сдали три плана?

Таганов. Нет, на двух удержался.

Автор. Силен! Каким же образом?

Таганов. По-всякому — где на четвереньках, а где и попластунски.

Автор. Так и живете, согнувшись?

Таганов. Ну нет... Нынче мы распрямились. Теперь нам легче. Скот у нас сохранился... Потому и план выполняем... Я теперь только одного боюсь: кабы меня не послали другой район поднимать — на место какой-нибудь Моторной. *(Кричит.)* Ку-узьма!

Кузьма *(появляясь из-за избушки)*. Тут я. На минуту отойтить нельзя. Все Кузьма да Кузьма. Что я, о четырех ногах, что ли? У меня всего две шагалки и не казенные. Присесть не дадут.

Таганов. Тебе бы такой паром, чтобы сам ходил. А ты возле костра сидел бы да кашу ел.

Кузьма. Ноне кашу не из чего сварить. Всю просу перевели. Бывалочи, проса в пояс стояли, а теперь вон «королева» с палец торчит.

Автор *(смеясь)*. Кузьма Иванович, кукуруза — культура политическая.

Кузьма. Я политику не трогаю. Я грю, каши нет, одна политика осталась.

Таганов. А то разве! Вон как ты исхудал, бедняга... Шея-то как у быка.

Кузьма. За счет природы только и держимся.

Таганов *(смеясь)*. Ну ты и философ!

Кузьма. Поехали, что лича?

Таганов. Поехали!

Автор. У вас найдется местечко в машине?

Таганов *(весело)*. Поехали! Ох, Кузьма, грех тебе на жизнь обижаться...

Уходят. Из-за избушки появляется Пряхина, приближается к костру, садится, обхватив колени, смотрит на тлеющие угли. Казанков подходит от лесной опушки так тихо, что Пряхина не слышит его.

Казанков. Феня!

Пряхина *(вздрогнув)*. А!.. *(Быстро встает, падает на шею Казанкову с плачем.)* Сережа-а! Сережа, милый, что же теперь будет? Что делать? Что?

Казанков *(снимая с плеч ее руки)*. Во-первых, успокойся; не забывай — все-таки день. Нас могут увидеть.

Пряхина *(садясь)*. Извини, пожалуйста! Я просто с ума схожу. Придумай что-нибудь! Скажи... успокой меня!

Казанков. Небось ты не посоветовалась со мной, когда машину отправляла.

Пряхина. Сережа, да я одна, что ли?..

Казанков. Черт знает что... Совсем обнаглели. Машины за маслом и — прямо в Москву. Вы бы в Кремль еще послали!

Пряхина. А где же еще купишь масло? Ведь не для себя же... План выполняли... Обязательства! Ты сам говорил — для государства. За что меня судить хотят? О господи! *(Уткнувшись в колени, плачет.)*

Казанков *(трогает ее за плечи)*. Феня, перестань! Пойми же, люди могут появиться... Ты меня просто скомпрометируешь. Перестань же! Иначе я вынужден буду уехать.

Пряхина. Хорошо, хорошо!.. *(Вытирает глаза.)* Ты в последнее время стал какой-то недоступный. На людях глаза воротишь от меня. На записки мои не отвечаешь. Встречи откладываешь. Ты меня не любишь?

Казанков. О господи! Нашла время о любви говорить. Тут комиссия за комиссией, провал за провалом, а она про любовь.

Пряхина. Ах, Сережа... не все ли равно!.. Сколько веревочке ни виться, а конца не миновать.
Казанков. Ну и что же, не я же начинал ее вить? Есть люди и поважнее меня.
Пряхина. А ты, Сережа?
Казанков. А что я? Ты на меня прямо как на бога рассчитываешь. Но кто я такой? Пойми ты — я лицо промежуточное. Я только передаю приказания сверху и вниз... Пересылаю... И слежу за исполнением. Я даже не прямой исполнитель. Я — лицо промежуточное. Не я же спускал эти планы, не я их отменять буду.
Пряхина. Значит, по-твоему, выходит, я сама, одна, нагородила все это с тремя планами? Одна и расхлебать должна?
Казанков. Не утрируй! Я говорю, есть люди и поважнее меня. Они давали команду. От них все и зависит. Ну пойми ты, не пойду же я к Терентьеву с просьбой — отменить московскую комиссию... Он сейчас рыкает, как лев в клетке. Бюро вон собирает... А я ему — Михаил Иванович, пожалейте Фетинью Петровну. Плюньте вы на комиссию! Так, что ли?
Пряхина *(встает и пристально смотрит на него)*. Нет... ты меня совсем, совсем не любишь... И не любил никогда. А я, дура, из-за тебя с мужем разошлась.
Казанков. Слушай, давай говорить о чем-нибудь одном. Нельзя же любовь с комиссией путать.
Пряхина. Нет, ты можешь, ты все можешь... Сережа, милый, я умоляю тебя, защити! Ты мудрый, сильный... Тебя послушают. Терентьев ценит тебя, верит. Не предавай меня позору... Во имя любви нашей... Счастья прошлого... Не бросай меня теперь. Я люблю тебя... Люблю! Ну! *(Заглядывает в глаза.)*
Казанков *(после паузы)*. Феня, если хочешь, я скажу тебе, что надо делать. Но только крепись.
Пряхина. Нет, не хочу! Ты убьешь меня...
Казанков *(со вздохом)*. Тогда я поеду... Мне на бюро, извини.
Пряхина. Стой! Ну, говори, что ты еще задумал?
Казанков. Пока не поздно, тебе надо подать заявление, покаяться... Что, мол, опыта не было... Поэтому и чрезмерные обязательства взяла. Признай вину с маслом, с приписками. Попроси освободить от должности. Учтем твое чистосердечное раскаяние... Опять пойдешь зоотехником работать.
Пряхина. Кому я нужна буду, опозоренная? Ты же первый от меня отвернешься?
Казанков. О чем ты говоришь? Вот все утрясется, уляжется, и снова будем встречаться...
Пряхина. Нет уж, улетели мои счастливые деньки. Я понимаю, Сережа. Для тебя нужно мое раскаяние. Мол, никто не насиловал председателей. Все сами. Инициатива снизу. Ладно, Сережа, я подам такое заявление... Все равно уж моя песенка спета. А ты, может, еще и заглянешь ко мне... Отблагодаришь.
Казанков. Не вешай голову. Мы еще с тобой погремим! Помнишь, как ты говаривала?
Пряхина. Нет уж, отгремела...
Казанков. Ну, я поехал!
Пряхина. Может быть, меня подвезешь? Напоследок...
Казанков. Могу только до колхоза. В область нам вдвоем в одной машине?.. Извини, Феня, нельзя теперь появляться. Только делу повредим. Сама понимаешь...
Пряхина. Все понимаю, все. Хорошо, Сережа. Поезжай один.
Казанков *(кричит)*. Кузьма!
Кузьма *(появляясь из избушки)*. Тут я. Что кричите?
Казанков. Подслушивал, наверное, стервец?
Кузьма. Завалинку оправлял. Была нужда подслушивать. Много вас тут ездит. Всех не переслушаешь.
Казанков *(Пряхиной)*. Пока, Феня!
Пряхина. Прощай...
Казанков и Кузьма уходят. Пряхина долго стоит и смотрит вслед.

Картина двенадцатая

Приемная Терентьева. В стенах две двери: одна с надписью «М. И. Терентьев», вторая — «Помощник секретаря». В третьей стене — окно, занавешенное шторой. В приемную ведет лестница. Виден только верх ее, два-три марша. Далее она круто спадает вправо, вниз. Оттуда по этой лестнице и входят на сцену.

В приемной за столом сидит Маша. Входит Казанков, заглядывает за портьеру. Увидав Машу, оборачивается на лестницу, кого-то манит пальцем. Появляется его Шофер.
Казанков *(приглушенно)*. Ступай вниз, сядь под лестницей, жди меня... Ни звука!.. И чтобы никто тебя не видел.
Шофер. Ясно, Сергей Митрофанович.
Шофер уходит.
Казанков входит в приемную танцующей походкой.
Казанков. Привет полуношникам, привет!
Маша. Здравствуйте, Сергей Митрофанович! Какими судьбами? В такое позднее время вы здесь?
Казанков. Ах, Машенька, я там, где и вы... Нитка за иголкой тянется.
Маша. Ха-ха-ха! А мы без ниток обходимся — у нас скоросшиватели.
Казанков. Ну так пришпильте и меня куда-нибудь в папку, чтобы под рукой у вас был.
Маша. Ха-ха-ха! А за какое место вас? За ухо, за нос? Или еще за что?
Казанков. А это уж сами выбирайте, что в руку попадет. Я на все согласен!..
Маша. Ха-ха-ха! А уколов не боитесь?
Казанков. От вас все стерплю.
Маша. Я пришпилю, не скоро сорветесь.
Казанков. Затем и приехал.
Маша. В самом деле — уже двенадцатый час... Что за нужда?
Казанков. Соскучился... Думаю, полночь подходит, а Маша — одна и грустна... Скоро домой идти — страшно ей. Дай, думаю, хоть подвезу ее.
Маша. Вы здесь на машине?
Казанков. Ага. В Сельхозтехнике задержался. Потом в ресторане ужинал. Потом... Машенька, вы тоже, поди, проголодались. Вот вам. *(Вынимает плитку шоколада.)*
Маша *(принимая)*. Спасибо!
Казанков. За спасибо и парикмахер не побреет.
Маша. А чего же вам еще?
Казанков. А поцеловать!
Маша. Ой, Сергей Митрофанович, какое удовольствие? Я уже старая. Вон смотрите. У меня уже волосы седые.
Казанков *(наклоняется над ней)*. И в самом деле!
Маша. А никто не верит... Говорят, что подкрашиваю.
Казанков *(целует ее)*. А я поверил...
Маша *(оправляя прическу)*. Ну, что вы делаете, Сергей Митрофанович!
Казанков. Уже сделал... то, что хотел.
Маша. Ну да... Легко обижать беззащитную девушку.
Казанков. Когда уехал твой охранитель?
Маша. Михаил Иванович-то? Сегодня уже пятый день.
Казанков *(склоняясь к ней, заигрывая)*. Говорят, что он там опять того... запил?
Маша *(уклончиво)*. Я не знаю.
Казанков. Какие у тебя синие глаза! Озера! Прямо утонуть можно...
Маша. Вас уж утопишь...
Казанков. А что? Не смогу полюбить?
Маша. Который раз? Поди, уж давно и со счета сбились?
Казанков. В любви, Машенька, как в продвижении по службе,— чем дальше, тем все интереснее.
Маша. Ха-ха-ха! А вы забавный.
Казанков. Погоди, то ли еще будет... Лишь бы Михаил Иванович не помешал. Говорят, вы сегодня ждали его обратно? Что за причина?
Маша. Ждать не ждали... Но Земляков долго сидел, а потом поехал на дачу. Сказал, что туда, наверное, нагрянет.
Казанков. Значит, Земляков ждал?
Маша. Да вроде бы...
Казанков *(напевая)*. «Ах эти синие глаза!.. Меня пленили...» Маш! Поедем на реку...
Маша. Боюсь... Еще утонешь.
Казанков. Глупая, я тебя на руках вынесу...
Раздаются шаги на лестнице.
Казанков *(настораживаясь)*. Кто-то идет сюда!
Маша. Василий Спиридонович, наверное.
Казанков. Зачем?
Маша. Ха-ха-ха! За тем же самым, что и вы. Проводить меня хочет.
Казанков. У, черт! Мне бы не хотелось с ним встречаться здесь. *(Оглядывается по сторонам.)* Слушай, я пройду в комнату помощника! *(Скрывается за дверью.)*
Входит Земляков.

Земляков. Маша, ты с кем-то разговаривала?
Маша. Да, по телефону звонила. Ну как, не приехал Михаил Иванович?
Земляков. Ложная тревога.
Маша. Я так и знала. Между прочим, некоторые с периферии интересуются внезапным возвращением Михаила Ивановича.
Земляков. Кто? Откуда им известно?
Маша. Земля слухами полнится. Ну и подслушивают.
Земляков. Ну, кто это, кто?
Маша. Да ваш друг-приятель, Казанков, звонил.
Земляков. Казанков? *(После паузы.)* Этот может дознаться. Везде шпионит.
Маша. Что вы говорите? Вы же друзья! Он такой почтительный, преданный, умный.
Земляков. Я тоже так думал... до поры до времени...
Маша. А что в нем изменилось?
Земляков. Да в нем-то ничего не изменилось. Зато обстановка изменилась. Как он с Пряхиной разделался! Что бы там ни было, но она наша, преданная нам. В трудную пору своих защищать надо, а он все на нее свалил. Я, мол, тут ни при чем. Обманули, ввели в заблуждение! И выбросил ее...
Маша *(с удивлением)*. Вон что?..
Земляков. По совести говоря, я думаю, что это он и на Терентьева донес.
Маша. Так вот оно что! Теперь мне все понятно. Значит, он хотел поглядеть, в каком виде появится Михаил Иванович, потому и ждал.
Земляков. Где ждал?
Маша. Да на телефоне. Ну и пусть пождет.
Маша подходит к двери помощника секретаря и запирает ее. Ключ кладет в карман.
Земляков. Домой идешь?
Маша. Знаете что, Василий Спиридонович! Мне пришла превосходная идея. Вы меня приглашаете погулять где-нибудь, попировать? Так?
Земляков. Хоть сейчас, Машенька! Выбирайте любое место. Доставлю! Хоть на луну.
Маша. А я вот что надумала... У Михаила Ивановича осталось кое-что в термосе... Есть лимончик. Да еще плитка шоколада. Мне один прохвост принес сегодня. Давайте устроим пир? Здесь! Вот будет весело...
Земляков. Машенька, хотите, я зареву от счастья?
Маша. Давайте!
Земляков. Мм-у-у!
Маша. Очень хорошо. *(Бьет в ладоши.)* А теперь бараном!
Земляков. Б-я-а-а!
Маша. Чудненько. *(Опять хлопает в ладоши.)*
Земляков. Ручки, ручки! Мм... *(Целует ей руки.)*
Маша. А теперь пошли за термосом, за стаканами. Поставим все на этот стол, поближе к двери помощника... и будем мычать, лаять, мяукать... Пошли! А то мне одной не найти. Вы лучше знаете, где что лежит.
Земляков. Для вас все сейфы переворошу, паркет разберу, а достану...
Они уходят в кабинет Терентьева.
Через минуту в окно влезает Казанков. Он весь перепачкан в известке.
Казанков *(отряхиваясь)*. Спасибо, хоть труба на стене оказалась. *(Подходит к двери Терентьева, прислушивается.)* Целуются, наверное, негодяи.
На лестнице послышались шаги.
Кого еще несет нелегкая? *(Прячется за стол.)*
Появляется Терентьев, сильно выпивши, растрепанный. Его поддерживает шофер Федя.
Терентьев *(у лестницы)*. Домой я не поеду, Федя... Только в обком. Здесь мой дом, мой престол, моя могила... Все мое — здесь. А ты ступай!
Федя уходит по лестнице. Терентьев рывком оттолкнулся от лестницы, зашел за портьеру и здесь, в приемной, упал. Подняться он уже не мог. Но перед ним был его кабинет, его дверь, и он пополз на четвереньках. Так на четвереньках он прополз всю приемную и открыл дверь своего кабинета лбом. Казанков тем временем перебежал за портьеру, к лестнице.
Голос Маши *(из кабинета)*. Кто там? Ой! Михаил Иванович!
Маша выбегает из кабинета, за ней Земляков, наклоняются над Терентьевым, суетятся.
Маша. Что с вами, Михаил Иванович, вы больны?
Земляков. Воды ему надо, Маша, воды!
Маша. Нет, сперва в кабинет занесем. *(Она тормошит Терентьева.)* Ну, миленький, ну, родненький! Вставайте же. Ну, хоть на колени. Вот так.
Они вводят Терентьева в кабинет.
Казанков *(на лестнице, приглушенным голосом)*. Миша!
Появляется его Шофер.
Казанков *(вкладывает в конверт наспех исписанный лист бумаги, заклеивает и подает Шоферу)*. Выжми из «Волги» все, и к девяти часам утра этот пакет чтобы был в ЦК. Понял?
Шофер. Понял.
Исчезают оба.
Входят Маша и Земляков.
Земляков. Схожу в гараж. Шофер, наверное, еще не ушел.
Маша. Надо Ольге Акимовне позвонить.
Земляков. Куда звонить? Она же в санатории. Он сбежал оттуда.
Маша. Хорошо, я сама с ним поеду.
Земляков. Никуда ты не поедешь. Гаси свет, а то кабы кто не нагрянул.
Маша. Да, совсем позабыла. *(Достает ключ и идет к двери помощника.)*
Земляков. Что такое?
Маша. У меня тут субъект один. Выпустить надо.
Маша открывает дверь.
Ну, выходи на свет божий! Выходи!
Пауза.
Земляков. Кто у тебя там? В чем дело?
Маша входит в кабинет помощника, выходит через минуту в растерянности.
Земляков. Да что у тебя за секрет?
Маша. Ничего особенного... Приблудного кота заперла, а он в окно выпрыгнул.
Земляков. Сейчас только за котами и следить.
Земляков уходит. Маша выключает свет, уходит в кабинет Терентьева, притворяет дверь. На сцене полная темнота.
Длительная пауза.
Скупой рассвет пробивается в окна сквозь шторы. Постепенно свет увеличивается, и мы видим Машу за столом; она положила голову на руки, спит. Звонит телефон.
Маша *(просыпается, снимает трубку)*. Я слушаю! Алле! Алле! Я слушаю! *(Кладет трубку.)* Что за странные звонки? Трубку снимаешь, никто не отвечает...
Входит Земляков. Вид у него усталый, озабоченный.
Земляков. Доброе утро, Маша! Какие новости?
Маша. Моторная звонила. Обещала утром быть здесь.
Земляков. Хорошо! Я вызывал ее. А еще никто не звонил?
Маша. Да какие-то странные звонки были. Трубку сниму — «Алле! Алле!» — молчание. Минут двадцать—тридцать пройдет — опять звонок и никакого ответа.
Земляков. Это он звонит.
Маша. Михаил Иванович?
Земляков. Да... Отвез его благополучно. Но он всю ночь не спал, все за столом сидит и набирает свой номер... И в трубку дышит.
Маша. Точно. Он! Дыхание я слыхала... Что это с ним творится?
Земляков *(поднимает палец)*. По большому секрету... Только никому... Его отказались принять там, наверху... Сказали — новую комиссию пришлют. Большую! А это значит — и нового секретаря.
Маша. Что же теперь с нами будет!
Раздается телефонный звонок.
Маша *(снимая трубку)*. Я слушаю! Алле! Кто это? *(Подает трубку Землякову.)* Опять!
Земляков *(слушая трубку)*. Дышит... Он. *(Кладет трубку.)*
Входит Моторная.
Моторная. Здравствуйте! Что случилось, Василий Спиридонович? С чего это вы меня в такую рань подняли?
Земляков. Речь идет о большом и близком для нас человеке. Положение настолько серьезное, Клавдия Ивановна, что ему даже отказали в приеме. Там! Кто-то оговорил Терентьева, а это значит, и нас. Доложил все в искаженном виде. Мы должны спасти его.
Моторная *(патетически)*. Мы спасем его! Спасем сообща!
Земляков. Вот именно — сообща! Я сейчас вызову Казанкова, и мы втроем набросаем план. Потом соберем всех секретарей... *(Снимает трубку.)* Дайте Уханово! Алло! Уханово? Квартиру Казанкова! Сергей Митрофанович, доброе

444 04 03

утро! Земляков говорит. А? Дело важное... Садись в машину и будь через час в обкоме. Что? Речь идет о спасении очень близкого нам человека. Что-что? Температура? Когда заболел? Ночью? А, черт! Ну, приезжай! Здесь подлечишься. Не можешь? Понятно. *(Положив трубку.)* Говорит, температура за ночь подскочила, отказался.

Маша. Подлец!

Моторная. Простите, кого вы имеете в виду?

Маша. Одного знакомого... Я это про себя.

Моторная. А-а! А я уж думала, кого из сотрудников.

Земляков. Все ясно. Ну, ладно! Мы сами соберем секретарей. Маша, и ты подключайся. Вызывать на завтрашнее утро к пяти часам со своей машиной в обком. Отсюда поедем все по направлению к Москве. Там, возле переправы, в лесочке остановимся и договоримся.

Моторная. А почему не здесь?

Земляков. И стены имеют уши.

Картина тринадцатая

Переправа, знакомый нам лесок. На опушке собралось человек пятнадцать секретарей райкомов. Среди них Земляков, Таганов, Моторная. Казанкова нет.

Земляков *(берет Кузьму за рукав)*. А вы ступайте на ту сторону и сидите там. Если подойдут машины, то задержите. Без моего сигнала паром не отправлять.

Кузьма. Ясно, товарищ начальник! *(Уходит.)*

Земляков. Товарищи, мы собрались с вами провести очень важное совещание.

1-й голос. А почему не в обкоме?

Моторная. И стены имеют уши!

2-й голос. Ну что это за конспирация?

3-й голос. С пяти утра нас манежите!

Земляков. Спокойно, товарищи! Право же, обстоятельства настолько серьезные, что мы вынуждены идти, так сказать, на некоторую конспирацию. Товарищи, дело в том, что по клеветническим доносам изменилось отношение в ЦК к нашему дорогому Михаилу Ивановичу. Мне нечего говорить вам, что значит для нас Терентьев. Каковы его заслуги перед народом, перед областью. Наша область просто немыслима без Терентьева. Мы должны поехать сейчас же все в Москву на своих машинах. Явиться в ЦК и спасти нашего Терентьева.

Моторная *(патетически)*. Товарищи, спасем сообща нашего дорогого Михаила Ивановича! Он нам первый человек! Ближе отца родного. Он для нас не щадил ни сил своих, ни жизни... В передовые нас вывел, героями нас сделал! И мы для него не пощадим животов своих. Явимся все вместе и стеной станем за нашего Терентьева. Не позволим, товарищи!

1-й голос. Так всей кавалькадой и потянемся? Прямо как на похоронах.

2-й голос. У меня бензина не хватит. Заправиться не успел.

3-й голос. Вот пыли будет...

4-й голос. Нашли время острить!

Земляков. Товарищи, по-моему, все ясно. Давайте проголосуем.

Таганов. Подожди голосовать. Сперва на вопрос ответьте: от кого же мы будем спасать Терентьева?

Земляков *(опешив)*. Как от кого?

Таганов. Вот именно, от кого? От ЦК? Спасать Терентьева от ЦК? Очень мудрое решение. Ничего не скажешь.

Всеобщее замешательство.

Земляков. Спасать будем от клеветников!

Таганов. А где же искать их будем, клеветников? В ЦК?

Земляков. Мы растолкуем там...

Таганов. Ага! Не то они сами не видят, где правда, а где — ложь. Извините! У меня срочные дела в районе. Я поехал домой.

Таганов уходит при общем молчании. Слышен шум отходящей машины.

1-й секретарь. А я, знаете, не предупредил никого. Не знают, куда я уехал. Мне тоже в район надо.

Уходит. Слышен шум отходящей машины.

2-й секретарь. А я бензином не заправился...

Уходит. Рев уходящей машины.

3-й секретарь *(4-му секретарю)*. Слушай, Иван. Ты меня сюда привез, ты и отвези.

Уходят оба. Шум отходящей машины.

5-й секретарь *(смотрит на часы)*. Уже семь часов, пора и на работу.

Уходит. Рев отходящей машины.

6-й секретарь *(обращаясь к другим)*. В самом деле, товарищи, на работу пора... По местам.

Все уходят, остаются только Земляков и Моторная. Моторная, глядя в спины уходящим, вдруг закрыла лицо руками и глухо зарыдала.

Моторная. Что ж это творится, Василий Спиридонович? Что творится?

Земляков *(трогая ее за плечи)*. Ничего, Клаша, ничего...

За сценой слышен рев автомобильных сирен.

Входит Кузьма.

Кузьма. Так вы чего ж сигнал не подаете? Те кричат — перевези! Эти дудят — перевези... А мне как теперь быть? Куда их переправлять?

Земляков. Переправляй их куда хочешь. Хоть на речное дно.

Картина четырнадцатая

Кабинет Терентьева. Вечереет. Михаил Иванович встает из-за стола, включает свет. Вид у него бодрый, он хорошо одет, чисто выбрит.

Входит Земляков.

Земляков. Звонил я, Михаил Иванович. Машины с комиссией вышли из Москвы ровно в восемнадцать. И... новый секретарь с ними.

Терентьев. Понятно. *(Смотрит на часы.)* Значит, в десять вечера они пересекут границу нашей области. Тридцать минут осталось. Еще тридцать минут мы с тобой хозяева. Ну, что скажешь, Земляков?

Земляков. Михаил Иванович, мы ни в чем не виноваты. Мы старались, как могли, тянуть общую линию. Может, ношу на себя взяли непосильную? Так ведь старались для государства.

Терентьев. Не в том беда, что сил у нас не хватало... А беда в том, что нас не поддержали. Квелых людей много развелось. Энтузиазма не хватает. Ничего, Земляков, мы не дотянули, дети наши дотянут. А для этого мы должны показать им пример непоколебимости своей и неустрашимости.

Входит Маша.

Маша. Михаил Иванович, к вам Таганов. Говорит, комиссию пришел встречать.

Терентьев. Сейчас... Вот только Василий Спиридонович выйдет.

Маша уходит.

Стой до конца. Прощай, брат! А обо мне не беспокойся. Я с честью выйду из этой истории.

Земляков уходит. Входит Таганов, с ним Автор.

Терентьев *(холодно и строго)*. По какому поводу явились?

Таганов. Мне приказано комиссию встретить. Принять участие в ее работе. Распорядитесь насчет машин.

Терентьев. Встречайте! Машины готовы. Ждут внизу. *(Протягивает руку.)* До свидания!

Таганов пожимает руку, уходит.

Терентьев. Торжествовать победу приехал, Силантьев? Ошибаешься — побежденных не будет.

Автор. Не вам бы говорить... Кажется, вы последний день в этом кабинете?

Терентьев. Не радуйся... Я уйду отсюда, но моя тень здесь останется. Дух мой! А это еще вопрос — с кем труднее сладить, с человеком или с его тенью?!

Автор. Смотрю на вас и думаю: что бы сказал сейчас Веселинов, будь он в живых?

Терентьев. А что бы сказал ваш Веселинов?

Автор. За что же вы его растоптали? Чтобы не было свидетелей вашего позора?

Терентьев. Опозорить меня? Ну нет. Это уж не выйдет. Прохвостом я никогда не был, и никто меня им не сделает. Так и передай всем друзьям и приятелям. В нашем деле прохвостов не было.

Автор. По крайней мере тешили себя иллюзиями, мечтами.

Терентьев. Мечтами, говоришь? Ну что ж... Когда в мечту верят, она становится великой силой. Ей служат массы. А правда складывается из мнения масс. Учти это, Силантьев!

Автор. Нет. Правда голосованию неподвластна. А массам надоело маршировать под вашу команду. Они хотят трезвости.

Терентьев. От вашей трезвости люди зажиреют и обленятся. Без команды у нас и путевой дороги не построишь. Энтузиазм нужен, огонь. Да вы и гореть-то не можете. Колбешки вы с глазами. Один дым от вас да вонь.

Автор. А вы, значит, прогорели?

Терентьев. Ну и что? Зато я хоть пожил!

Автор. Да уж, повеселились, потешились. Но во имя чего? Неужто и теперь скажете — для блага народа? То бишь для торжества нового.

Терентьев. Ты не смейся: молод еще ревизию мне устраивать. Чином не вышел. Выйди вон!

Автор. От меня можно избавиться. Но как вы избавитесь от людей? Ото всех, кто вам верил, кого вы обманывали? В этой башне вы отсидели. *(Указывает на стены.)* А на воле-то страшно будет, Терентьев. Прощайте... *(Уходит.)*

Терентьев *(с минуту недвижно стоит, смотрит Автору вслед, потом решительно направляется к дверям, растворяет их, кричит).* Маша!

Маша *(торопливо входя).* Что случилось, Михаил Иванович? На вас лица нет.

Терентьев. Все хорошо... *(Он бодрится, даже улыбается.)* Разве у меня что-нибудь не в порядке?

Маша. Да нет, одеты вы по-праздничному.

Терентьев. А мне положено хорошо выглядеть. День у меня сегодня такой... особенный. Я тебя позвал, Машенька, вот зачем... Вот эту штуку... *(Берет конверт со стола, передает Маше.)* Этот пакет отнеси сама в облисполком. Сейчас. Передай председателю... или кто там будет.

Маша. Хорошо, Михаил Иванович.

Терентьев. Ну, Машенька, отработали мы с тобой. Спасибо тебе за все, дорогая... За преданность твою и за любовь. Не поминай лихом.

Маша *(плачет).* Ох, Михаил Иванович! Михаил Иванович!..

Терентьев *(мягко оглаживая ее по голове).* Ступай, Маша, ступай и успокойся.

Маша, всхлипывая, уходит. Терентьев смотрит на часы.

Н-да... пять минут... *(Подходит к двери, запирает ее, бросает ключ на стол. Потом проходит к столу, вынимает из ящика пистолет. Смотрит на пистолет.)* Эх, Мишка-Тырчок!.. Затыркался, брат, ты совсем. Хотел, как лучше. Ни себя не жалел, ни других. А вышло вон оно как! Хуже и быть не может. Конец тебе подошел. Ну и что ж! Мы и жить умели, и помереть сумеем. Но поставить нас на колени!.. Нет еще на свете такой силы. Не народилась! И в плотники нас обратно не пошлешь — не пойдем... *(Подымает пистолет к виску... Затем опускает. Выключает свет. В кромешной темноте слышно, как тикают часы, и стук их постепенно переходит в гулкие, упругие толчки сердца: «Жух! Жух! Жух!» Наконец грохнул выстрел, и наступила мертвая тишина.)*

После длительной паузы вспыхивает яркий свет. Тот же кабинет Терентьева; за столами вдоль стен сидит множество народа. В президиуме один только Таганов знаком нам. На месте Терентьева сидит тоже незнакомый человек. Не видно ни Землякова, ни Моторной.

Казанков стоит посреди сцены и произносит речь.

Казанков. Товарищи! Мы понимаем, что положение нашей области нелегкое. Мы все должны признать и свою вину в этом. Да, мы были частично повинны, так сказать, в раздувании ложного авторитета Терентьева, в зажиме критики этим деятелем. Это был для нас всех хороший урок. Но теперь воздух очищен. Дышать стало легче, товарищи! Давайте работать с новым подъемом!..

На авансцену выходит Автор. Казанков все еще говорит, но слов его не слышно. Одни жесты, как в немом кино.

Автор *(хватаясь за голову).* Какой же я глупец! Я думал, что гвоздем является Терентьев. Глупец! Вот он, герой!.. Вот о ком пьесу-то писать надо...

Занавес

1966 год.

Поэзия

Валентин КУЗНЕЦОВ

За темной дверью

Кто царапается в двери? —
На дворе такая тьма.
Это лапы. Лапы зверя.
Зверь по имени Зима!

Ну, чего ты, глядя на ночь,
Размечтелилась окрест.
Я не тот Иван Иваныч,
Что торопится под крест.

Я такую холодюгу
В этой жизни перенес,
Что теперь мороз и вьюгу
Принимаю не всерьез.

Отряхни-ка лучше плечи,
У порога сбрось снежок.
Положи у теплой печи
Сапожок на сапожок.

Эх, старуха ты, старуха!
Эх, ты, баба, мерзлый клин!
Нашепчи мне сказок в ухо,
На метель своих былин.

Не конфетину, а льдинку
Я на севере кусал.
Ты меня брала в обнимку
У седых уральских скал.

Не твои ли это трубы
Пели, в плен меня маня?
Не твои ли это губы
Целовали в лоб меня?

Я в твоем бескрайнем шуме
Падал в снег, как на траву.
Жив я. Жив. Еще не умер.
И тебя
переживу!

☆☆☆

Такая вот стряслась беда,
Как будто ворог из засады,
Заполонила лебеда
Лицо деревни — палисады.

А раньше розы там цвели,
Колючие, как понедельник.
Какие дети у земли:
Жасмин, ромашка, можжевельник!

А пышно-грузный георгин
Бахвалился, играя гривой:
«Да, я среди цветов один!
Я самый что ни есть красивый!

Меня не тронула коса,
Что поутру прошлась лугами,
И даже дерзкая коза
Меня не дергала губами!»

Ах, георгин! В тени берез
Какие ты вещаешь речи!
Ударит срок. Придет мороз
И снимет голову по плечи.

Не выдавайся далеко
И не показывайся бойким.
Красивым все же быть легко,
Куда трудней —
прямым
и стойким.

☆☆☆

Степь, перевитая снегами,
Лежит, как скатерть на столе.
А я ее топтал ногами,
Бил сапогами-битюгами
И спал ночами на золе.

А солнце беркутом висело,
С вершины дня не уходя.
Трава ковыльная кипела
И небу заунывно пела,
Прося хоть капельку дождя.

За дюнами, за тусклой синью,
Железный караван бредет.
И пахнет нефтью и полынью,
Сухой, растепленною стынью
Горячий воздух ноздри рвет.

Я в эту степь впечатал тело,
В ее зыбучие пески.
Вставай, душа! Заря поспела.
Нас выпрямляет только дело.
Вставай! Идут буровики.

Боль людская

Назад — от бомбы! В джунгли, в чащи,
В собранье сочинений трав.
Откуда в синеву все чаще
Мы смотрим, головы задрав.
Земля! Лесная, городская,
Как уберечься нам с тобой!
К тебе взывает боль людская,
Небесный купол голубой!
Сметет ли черный смерч жилища
На сотни, на века веков?
Кто будет жить на пепелищах? —
Седые тени облаков?
И будет холодно и жутко,
Планета повернется вспять.
О, это ведь совсем не шутка
Кому-то кнопочку нажать!
Кто вспомнит, что рождались дети,
Смеялось солнце, ухал гром?
Да неужель на этом свете
Мы так друг друга не поймем?
Земля! Мы люди, а не тени.
Ты не пустой, холодный дом.
Но мальчик с маминых коленей
Грозится
небу кулачком.

Кирилл КОВАЛЬДЖИ

☆☆☆

Мы любим новизну,
А больше — повторенье:
За вдлнами волну,
За ночью — пробужденье.

Молитва или песнь,
Признанье или праздник,—
Раз повторенье есть,
То жизнь еще прекрасна!

Как молнии разряд,
Влюбленность. Что откуда?
Неужто первый взгляд,
Воспоминанья чудо?

За миг и мир возник!
Любовь и вдохновенье —
Неповторимый миг,
А словно — повторенье.

И жизнь, и жизнь сама,
Вселенной блик случайный,
Еще сведет с ума
Своей бессмертной тайной.

Пусть, как в засаде рысь,
Готовит смерть развязку,
Мы жизнь, как в детстве сказку,
Упросим: повторись!

Зарубежное

Поколенья сменила столица,
сорок лет прошло или дней? —
но она повторяется в лицах
тиражами своих типажей.

Я свидетельствую очевидцем —
это воспроизводство людей.

Лишь сменили наряд персонажи,
в исполнителях — нация та же,
за спиной незапамятный стаж,
и вращается сценой история,
обновляется лишь бутафория,
изменяется лишь антураж.

Старуха

И это с ней умрет.
Она молчать умеет.
Однажды бедных душ
коснулся звездный час...
От бездны немоты
отступничеством веет,
а Слово — это дар,
что продолжает нас.
О музыке смолчать?
Душа окаменеет.
Зачем сама себе
она зажала рот?
Кто песне волю даст,
тот в ней не постареет,

чем более отдаст,
тем менее умрет.
Увидевший цветок,
смолчит —
цветок увянет,
смолчавший про маяк
потопит корабли,
узревший божество,
смолчит —
и нас не станет,
пустыни подойдут,
подходят,
подошли...

☆ ☆ ☆

Вот Рим, властитель мира,
который перерос
себя, свои победы,
окраину не видит,
где в тихом Вифлееме
рождается Христос,
и знать о том не знает
прославленный Овидий.

Певца любви нескромной,
творца «Метаморфоз»
на край другой забросит
опальная галера...

Христос еще подросток.
В империи склероз.
Незримо
не из Рима
взошла иная эра.

☆☆☆

И сейчас Экклесиаст
в сто очков мне фору даст:
не от боли и обид —
от познанья жизнь горчит.

Уравненье было сложным,
человеческим, тревожным,
небывалым, невозможным,
полным счастья и утрат...
Что с того, что было сложным? —
прост летальный результат.

Встанет старость над тобой —
укротительница,
а над нею — та, с косой
упростительница...

Без следа ль мне тенью тленной
в уравнение Вселенной
затесаться довелось?
Это я — мне нет замены —
мира временная ось.
Сладко жить! И пусть познанье
в чаше — горечью на дне,
отражаюсь в мирозданье
так же, как оно — во мне.

К ЭВМ

Сосчитай человека, компьютер,
вот чело и число
или очи и почки —
на какой они сходятся почве?
Ведь они умудряются точками
объявиться на мочках ушных и на пятках,
непонятно еще, как лицо и все прочее
на самой отпечатаны почке.
Неизвестно, где печень кончается,
может, совмещена с человеком,
а душа — с бесконечностью.
Звездный код отражен в человеке,
как и сам человек в хромосоме,—
что получится в сумме?
Вот такой вот, компьютер, компот,
Неизвестно, где личность кончается
и с чего человек начинается;
сосчитай его предков и пращуров,
и помножь на потомков,
и учти в человеке следы
Льва Толстого, Гомера и «Слова...»,
сосчитай отложенья
сослуживцев, соседей, газет,
приплюсуй упованья и сны,
и любви дефицитную долю;
сосчитай нерожденную музыку,
корни в темном лесу подсознанья,
мирозданье и мусор в мозгу...
Округляются запросто числа большие,
но заметь, что Россия немыслима
без такой единицы, как Пушкин!

Чет и нечет восходят над числами,
единица же — верх совершенства.

Сосчитай человека, компьютер.
Сосчитать единицу нельзя.

☆☆☆

Кто за себя любимую любить
поручит? Но придумано удобство:
Другому можно приказать убить...
Какое над зверями превосходство!

Учить моральным нормам с высоты
теории —
не так уж это сложно.
Я посмотрю:
а что позволишь ты
себе,
когда себе позволить можно?
Что может клен себе позволить? Он
листвой листает собственный закон.
У клена нет проблем.
Он без затей
осуществляет то, к чему назначен.
А у людей полным-полно идей,
взамен путей к единственной задаче:
наращивать не силу, а добро.
Как это злободневно,
как старо!
Все за прогресс.
Откуда ж черный дым?
Освенцим. Хиросима...
В самом деле —
предела нет возможностям людским,
а в самый раз подумать о пределе!
Двадцатый век
почти изжит и прожит,
но все для всех
решит его итог:
не то, чего достичь уже не сможет,
а что себе позволить он
не смог.

☆☆☆

От имени павших героев,
от имени славной страны
и ее священных устоев
внушали нам чувство вины:
народ, меняющий русла рек,
строил ГЭС в миллион киловатт,
а маленький человек
кругом виноват.

Судьи властью сильны,
ларчик просто у них открывается:
невиновный легко проникается
чувством вины,
если судит вождь-победитель,
созидатель, освободитель,
обожаемый обвинитель,
мастер вечной гражданской войны.

Выставляли тебя лжесвидетели
блудным сыном великой семьи,
чтоб забыл, что твои благодетели
это платные слуги твои.

☆☆☆

На Ваганьковском храм Воскресения
видит, как ручейками течет
от Высоцкого до Есенина
нескончаемый русский народ.

Та гитара и та березка
ни на площади, ни в метро
не представлены, как Маяковский,
приравнявший к штыку перо.

Но и он молодым кремирован —
что с того, что отлит в чугуне?..

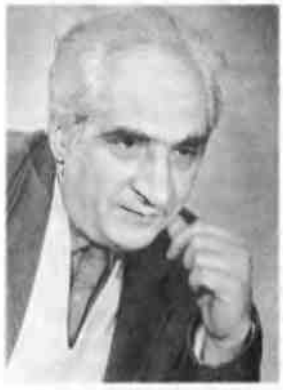
Кто состарился — тот премирован.
Жизнь улучшилась в нашей стране.

Все ж какому-то юноше Муза
«Присягни,— говорит,— полюблю,
как Есенина,
как Маяковского,
как Высоцкого
погублю...»

☆☆☆

В час пик мировой перегрузки,
о люди, услышьте меня:
евреи родственны русским,
а негры японцам родня,
и сердце у каждого слева,
двуногие братья мои,
потомки Адама и Евы
или обезьяньей семьи —

на ветках Вселенского древа
единственные соловьи!



Александр ТИМОФЕЕВСКИЙ

Человек

Младенческий свой напрягая слух
И космосу внимая жадным ухом,
К хоралам сфер ты остаешься глух
И в шепот звезд не проникаешь слухом.
Еще ты на правах ученика,
Ты — первоклассник, знания убоги,
И ты не понимаешь языка,
Которым говорят с тобою боги.
Как разгадать их совершенный код,
Сложить слова из Буки, Аз и Веди,
Мгновений бег и атомов полет
Прочесть, как словари энциклопедий?
И вот, еще робея, по складам,
Как «ма-ма» в ученической тетради,
Ты в первый раз, вслед за богами, сам
Выводишь: «Е равно эм-це в квадрате».
Ты только слово первое постиг,
А там, вдали, мерещится такое...
Ты словари захлопнешь — и без них,
Уже как равный, прочитаешь стих,
Начертанный божественной рукою.

☆☆☆

Я через степь иду в ночи.
Стоят стога, как куличи,
И телеграфный столб скрипит,
И над водой туман кипит,
И схваченное льдом жнивье —
Как отражение мое
В скрипучем отзвуке шагов,
Где я иду среди стогов,
Среди жнивья, среди борозд,
Сквозь тишину под небом звезд.

В моем сознанье заключен
Какой-то звук, какой-то звон,
А может, жест или кивок,
Который передать бы мог,
Как телеграфный столб скрипит,
И над водой туман кипит,
И как вдоль горизонта в ряд,
Как куличи, стога стоят,
И я иду среди борозд...

Но от меня за сотни верст
Ты мельком в зеркало глядишь
И глаз карандашом тенишь.
Там зеркалом отражено
В стакане светлое вино.
Там лампа над столом висит,
Машинка под окном стучит,
Тебе портниха платье шьет,
А твой жених маджари пьет.

☆☆☆

Ты — как за тысячу веков,
Ты — страшно далека,
Ты — из приснившихся стихов
Последняя строка.

Строка, которой мне не в труд
Любых певцов забить,
Строка, которой поутру
Ни вспомнить, ни забыть.

☆☆☆

Пойдем, исполнены смиренья,
Туда, где осень сено косит,
Где дева с детскою свирелью
Слова безмолвно произносит.

Слова, как «даждь нам днесь», простые,
Как хлеба вкус и запах сада,
Слова, к которым мы остыли,
А их-то нам с тобой и надо.

А звуки те, что нас манили,
И те, которым мы внимали,
Подобны играм беса или
Напевам Демона Тамаре.

☆☆☆

Без шумных игр я с детства рос,
Но от зари и до зари,
Испачкав в мыле длинный нос,
Пускал с балкона пузыри.

Мне удивить хотелось свет
И скучно было средь друзей,
И называл меня сосед —
«Маэстро мыльных пузырей».

Шаров веселая чета
Неслась на землю с высоты,
И оставалась лишь мечта
От трехминутной красоты.

Они тягаться без труда
С самою радугой могли,
Но почему-то никогда
Не долетали до земли.

И вот за то, что я грустил,
Шары по небу растеряв,
Не раз посечь меня грозил
Внизу живущий домуправ.

За то, что было мне не лень
Их выпускать за роем рой,
Домохозяйки целый день
Могли смеяться надо мной.

А дома с ними заодно
Мать выбивалася из сил.
Отец не брал меня в кино
И чьим-то дедушкой стыдил.

Но я был непослушный сын.
Шары с ума меня свели.
Мне все казалось: хоть один,
А доберется до земли.

Мне удивить хотелось свет,
И, став серьезней и взрослей,
Я все по-прежнему поэт —
«Маэстро мыльных пузырей».

Мои поэмы без труда
Тягаться с радугой могли,
Но почему-то никогда
Не достигали до земли.

Стихи рвалися в жизнь с листа,
Друзьям читалися листы,
И оставалась лишь мечта
От трехминутной красоты...

Наталья АСТАФЬЕВА

☆☆☆

Тончайший аромат
от пожелтевших книг...
Точит сладчайший яд
тот старомодный стих.
Брожу как водолаз
по дну, где среди букв —
блеск отблиставших глаз,
боль отболевших губ.

☆☆☆

Так плотно столпились подонки,
так тесно, как ягоды в гроздьях,
подонки растут, как поганки,
на пнях и на кучах навозных,
так тесно сплотились, столпясь,
что яблоку негде упасть.
Ты был ли ребенком, подонок?
Чей сын ты и чей ты потомок?
Неужто твой прадед и дед
пахали, железо ковали
и крепкой крестьянской морали
держались с мальчишеских лет?
Ходили в лаптях и опорках,
и каждая хлебная корка
давалась им тяжким трудом.
Но ду́ши светились добром.
Чужая натура — потемки.
Откуда беретесь, подонки?

☆☆☆

Я не могу знакомиться с людьми,
дрожит ладонь с брезгливою опаской,
пока меж нами бродят (кто?— пойми!)
доносчики тридцать седьмого в масках.
Доныне в сейфах скрыты имена.
Они оклеветали самых лучших!..
Плывет по городу, как душная волна,
толпа седых убийц благополучных.
1962 г.

☆☆☆

Пришли. Ночную дачу оцепили.
И увели. И нет у нас отца.
Наверно, мучили. Наверно, били.
Он оказался стойким до конца.
Нет в деле подписи его рукою.
Не подписал ни одного листка.
Осталась лишь написанная кровью
записочка в кармане пиджака.
Отец отверг нелепость обвинений
и, внутренним гореньем озарен,
шагнул к окну и выбросился в не́бо
из бреда обезумевших времен.
На площади плашмя лежало тело
того, чей дух взлетал на облака...
Так вышвырнули царские войска
на мостовую инструмент Шопена...
Проходят годы, крови не смывая,
а только бередя мою беду.
Когда по этой площади иду —
кипит отцовской кровью мостовая.
Когда я говорю с отцовской тенью,
две родины ведут во мне свой спор:
я полька, варшавянка по рожденью,
по крови я москвичка с этих пор.
Но негде мне припасть к его надгробью,
погоревать, поплакать по нему.
Осталась лишь написанная кровью
записочка в архивах ГПУ.
Что́ — вся поэзия, все поэтизмы!
Нет более красноречивых слов,
чем результат двукратной экспертизы,
удостоверившей, что это кровь.

☆☆☆

Где взять огня мне рассказать,
когда давно иссякли слезы,
о том, как уводили мать...
(Подавленность — вот правда прозы.)
Как до конца последних дней
над бедной матерью моей
висела хуже наказанья
шипящая молва людей,
себе искавших оправданья
(доносы — кто?— они писали,
пытали кто?— они пытали),
мол нету дыма без огня.
Но все ясней день ото дня,
что пролитая ими кровь —
кровь праведников, не врагов.

Юрий НАГИБИН

СТРАДАНИЯ ЦЕНСОРА КРАСОВСКОГО

Рассказ

Ценсор Красовский, фигура, печально приметная в русской литературной администрации первой половины прошлого века, вел дневник. Быть может, самый загадочный дневник в мире, ибо при наиуглубленнейшем размышлении невозможно понять, зачем он это делал. Во всяком случае, не для того, чтобы закрепить в собственной памяти или в назидание потомству события своей усердной службы и однообразной жизни. А ведь он встречался с особами царского дома, выдающимися военачальниками, сановниками, видными деятелями дней Александра и Николая, а также со знаменитыми писателями, о чем даже не упоминает. Тщетно искать в его дневнике значительных примет времени, описаний лиц и событий — внимание литературного Цербера сосредоточено лишь на приснившихся ему снах и состоянии желудка. Не будем голословны. Вот несколько наудачу взятых записей за 1848 год, когда Красовскому было шестьдесят семь лет и он собирался отметить пятидесятилетие своей ревностной службы по удушению литературы. Впрочем, сам ценсор в существо своей службы не вникал, применяя к ней лишь мерки исполнительности, усердия и долголетия.

«1848.

Благослови, Господи, Творче веков, наступивший 1848 год и не отними от меня твоей помощи. Продолжи милость твою, Долготерпение!

Благодарение Создателю и Промыслителю, сон был хорош от 1-го до 5-го часа. Во сне видел протоиерея Михайловского дворца Семена Александровича, желавшего дослужить некоторое время с отставки, и еще что-то. Отправление желудка было обыкновенное в 10 ч. Ужинал в 9 ч. и на ночь лег спать в 12 ч.».*

«Благодарение жизнодавцу Христу, нас ради крестившемуся от Иоанна в водах Иорданских. Сон был хорош от 11-го до 3-го и потом до 6-го ч. (Во сне виделось что-то в дороге, на каком-то постоялом дворе, и после завтрака из молочного кушанья увидел Неву и впадающую в нее речку; потом Е. И. Ильмер, уходившую от меня, потом остановившуюся с какой-то старушкой.) Отправление желудка было порядочное в 11 ч.».

«Помяни, Господи, кроткую душу рабы твоей княгини Татьяны; даруй ей покой чистых сердцем в Твоем лицезрении! Благодарение Богу, сон был хорош от 2-го до 4-го и потом до 7-го и не прерывался (во сне виделись ценсурные дела и В. Д. Комовский) и проч.».

Эта ничем не примечательная запись потом вспомнится Красовскому, когда он станет отыскивать причину надвинувшейся на него невзгоды, омрачившей безмятежные, исполненные радужных надежд дни в канун приближающегося юбилея: семнадцатилетним юношей вступил он в государеву службу при несчастливом монархе Павле Петровиче, царствие ему небесное!..

«Благодарение Господу, сон был хорош от 1-го до 4-го или до 5-го ч. (Во сне виделся город Ревель и в нем небольшое возвышение, с которого я опускался в воду и искал башмаков или обуви, чтобы перейти по воде на другую сторону; мне дал какой-то мужик, с красным наростом на носу, башмаки деревянные, большие, с соломой, и за них требовал 2 к. серебром.) Отправление желудка было в 10 ч. обыкновенное».

Рисунок А. Костина

* В подлиннике — выражение, совершенно неудобное к печати.

А вот где обнаружились первые симптомы неблагополучия:

«Помяни, Господи, душу раба твоего митрополита Серафима. Благодарение Спасителю и его святому Антонию великому, сон был хорош от половины 1-го до 4-го и 5-го ч. (Во сне виделось, что я на Каменном острове, в мундире и ленте; потому собираюсь в Новую или Старую деревню на похороны, снимаю мундир и ленту, надеваю черный фрак и, не зная, где взять круглую шляпу, просыпаюсь.) Отправление желудка было порядочное и обыкновенное в 10 ч.; в 12 часов ночи необыкновенное (разрядка моя.— Ю. Н.)».

«Помяни, Господи, душу раба твоего благочестивейшего, государя императора Петра 1-го, преставившегося в вечность в сей день 1725 г. Даруй ему покой от земных трудов в Твоем бесконечном царствовании с праведными царями. Еще благодарю тебя, Господи, за явленные мне тобою милости от сего дня 1832 доныне. Благодарение Богу, сон был хорош. (Во сне виделись: чей-то гроб с телом, уже попортившимся и закрытым; еще какой-то огород, еще кто-то в платье сером, и темный сюртук, и еще что-то.) Отправление желудка было в 5 и 10 ч. не так порядочно, и в 11, и в 12 вечера хуже, может быть, оттого, что утром принимал магнезию».

Красовский обманывает себя: что значит магнезия для луженого бурсацкого желудка, в которой и долото сгниет? Пищеварительный тракт реагировал на смятение духа.

«Благодарение Господу, сон был хорош от 12-го до 7-го ч. (Во сне виделись преосвещенные Илиодор и Иннокентий, последний, подающий мне книгу в переплете, и митрополит Антоний, отказывающий мне дать для целования крест, чем я был смущен.) Отправление желудка было поздно, в 4 ч. пополудни, несколько трудное и в малом количестве. После обеда уснул от слабости часа три...»

«Помяни и упокой, Господи, души рабов твоих, родителей моих, братьев, сестер, сродников, друзей, благодетелей и всех православных христиан, отошедших от сей временной жизни к вечной, и даруй им вечное блаженство! Благодарение Богу, сон был хорош от 12 до 3-го и потом до 7-го ч. (Во сне виделись: князь Александр Николаевич Голицын и его книги и ландкарты, цензурованием которых я должен был заняться; еще Иван Иванович Ястребцов; еще Василий Иванович Копылов, говорящий о дешевизне в Сибири и проч.) Отправление желудка почти не было (разрядка моя.— Ю. Н.), в 7 вечера малое».

И грянуло самое страшное:

«Благодарение Подающему, сон был хорош от 1-го до 6-го и 7-го ч. (Во сне виделись Варшава, княгиня Варшавская и несколько приветливых поляков.) Отправлений желудка не было (разрядка автора)...»

Сколько в этих разреженных буквах скрытого страдания мужественной натуры, не привыкшей жаловаться да и не имеющей кому пожаловаться. Был цензор Красовский холост, а некоторые вдовы и одна кума, которых он изредка навещал, сохраняя и в преклонные годы значительную телесную крепость — дар чистой, воздержанной, чуждой каким-либо излишествам жизни,— едва ли годились для такого рода признаний. Жена, как говаривал Пушкин, свой брат, ей все можно сказать, она не смутится, не скривится, все поймет, озаботится пуще, чем собственным недомоганием, и поможет. А с этими только о приличном да красивом говори.

Нам (впервые с горделивым чувством применяет автор это множественное число для обозначения своей личности, хотя немало писано им о днях минувших, но в сугубо беллетристическом роде, в этом же небольшом произведении он выступает не только как повествователь, но и как историк-исследователь), так вот, нам довелось проделать громадную работу, чтобы по крупицам реставрировать картину болезни и выздоровления цензора Красовского. В смысле течения недомогания дневники его дают достаточный материал, не ограничиваясь пищеварением, они подробно излагают, как омрачались, перепутывались, превращаясь в кошмар, его чистые, стройные сны о святителях православной церкви, императорской фамилии, достославном князе Варшавском, министрах и сенаторах. А дальше пошло еще хуже: ему стали сниться отхожие места, которые он отыскивал в незнакомых домах через лакеев, Вольтер и семилетняя война. Перепут больных сновидений оплел и священную фигуру императора: *«Во сне виделся государь, говоривший о лекарствах и удостоивший меня киванием головы на мой низкий поклон. Еще снилось приготовление какими-то двумя аптекарскими учениками при дворе порошков и хождение мое по доскам строящегося здания в верхнем этаже, с которых я чуть не упал».*

Тема падения — беды повторяется: *«...виделась какая-то женщина, которую, по желанию, бросали вверх и которая, сделав круг, обращалась на дно какого-то судна невредима; еще иглы с большими ушами, в которыя мне доставалось вдевать проволочную нитку...»* В ночных видениях цензора Красовского проглядывает Кафка.

В одном долгом сне, прерванном желудочными страданиями, ему снился сперва *«...покойный Ив. Андр. Крылов»*, которого он *«потчевал в своей столовой, у комода, нижней сладкой корочкой белого хлеба»*, потом *«...какие-то молодые люди, говорившие о наградах орденами и не заслужившие знаков отличия беспорочной службы на XV лет».*

Даже какая-то непочтительность появилась в его верноподданнических снах: *«...виделась нечаянная встреча с лишившимся престола французским королем, которого я хотел угостить в трактире за свой счет и представил ему моего батюшку, как протоиерея и члена Русской Академии...».*

Картина смятенного духа и смятенной плоти вырисовывается весьма отчетливо, и в этом смысле для историка нет никаких затруднений, но о причине охватившего его беспокойства, перешедшего в мучительную тревогу, разрушившую его пищеварение, Красовский не говорит ничего. Путем сложнейшего и тончайшего анализа, для чего понадобилось на годы зарыться в архивы и спецхранилища крупнейших библиотек, нам удалось раскрутить эту историю. Более того, мы убедились, что Красовский и сам понимал, что хворь шла от головы, сообщалась желудку, претворялась в дурные сны, а расстроенное пищеварение и ералаш бредовых, а порой прозрачно грозных снов усугубляли страдания ума и души.

Нить нам дал сам цензор вполне невинным вроде бы упоминанием имени своего коллеги Комовского. Этот сухонький, легкий на ногу, преуспевающий чиновник-втируша был лицейским другом Пушкина. Вернее, считался таковым за давностью лет, ибо настоящей дружбы между двумя мальчиками, схожими лишь вертлявостью и живостью движений, никогда не было. Пустой, хитренький, склонный к подслушиванию и ябедам Комовский, прозванный Лисичкой, не вызывал у Пушкина ни симпатии, ни интереса. И странно, что Комовский оказался верным и посто-

янным участником всех лицейских встреч. Но ведь и такой чинуша (переросший в сановника), как Модест Корф, верноподданный до мозга костей, напрочь чуждый лицейскому духу, тоже усердно хаживал на юбилейные сборища лицеистов. Конечно, главным магнитом этих встреч был Пушкин, хотя мало кто признавался себе в этом, но, видимо, каждому человеку в тайниках души хочется приобщиться к вечности.

Эта преданность юной памяти сблизила воспитанников Энгельгардта сильнее, чем годы безмятежного расцвета в царскосельских садах. Ну, а для публики, начитавшейся лицейских од Пушкина, не было сомнений, что лицеисты первого выпуска наипреданнейшие друзья. В исходе же сороковых на всех, кто как-то прикасался к Пушкину, лежал его отсвет. И Красовский, знавший лицейский расклад лучше многих, тоже считал Лисичку близким другом Пушкина.

Служа по одному ведомству, censоры сталкивались нечасто, и хотя Комовский вел себя лояльно, Красовский ему не доверял, всегда ждал каверзы, каждую встречу с ним воспринимал как дурную примету, хуже попа нос к носу, пустых ведер и косого через дорогу. А дело опять же в Пушкине, которого Красовский ненавидел всей своей угрюмой, темной и вялой душой, вроде бы неспособной к сильным чувствам. Пушкин преследовал его злыми остротами, эпиграммами — раз «дураком» назвал, другой — «подлецом-поповичем»,— не упускал случая унизить в глазах света.

Ничего примечательного во встрече с Комовским не было: раскланялись, перекинулись двумя-тремя словами о поправках к censурному уставу, о придирках Уварова к их ведомству — об этом, правда, один Комовский болтал, провоцировал, да не на таковского напал,— что еще?.. Да ничего вроде. Комовскому было под пятьдесят, он сохранил сухощавую легкость, хотя Лисичкой уже не назовешь, нет былой гибкости, верткости в членах, подагра не обошла любителя шипучих вин, но хитролисье в нем осталось, даже сильнее проступило в заострившихся чертах тонкого лица с длинным хрящеватым носом. Но как он ни хитер, ни пронырлив, а большой карьеры покамест не сделал, думал Красовский, хотя этим молодым все проще дается, да ведь и не с нуля начинал, уж из лицея с чином вышел.

Нет, что-то еще сказано было: о каких-то чиновниках, обойденных повышением (после в тяжелом сне отыгралось), о его близящемся юбилее. «Андреевскую ленту ждете?» — хихикнул Комовский. А чего тут смешного? Над такими вещами подшучивать вообще дурной тон. Андреевской ленты он не ждал, не такая у него должность, но разве не заслужил он высокой награды за полвека беспорочной службы? Конечно, заслужил. Да ведь кто заслужил и ждет, тому ничего не выпадает. А кто не заслужил и ничего не ждет... Таких не бывает: каждый считает себя достойным самых высоких отличий; кто помельче лелеет мысль о чине невздорном, а какой статский не видит себя генералом?

Тон Комовского не понравился. Лисичка что-то вынюхал, конечно, дурное, и за доброжелательными расспросами скрывалось злое торжество завистника, проведавшего о твоем провале. Вспомнились Красовскому и участившиеся за последнее время подковырки от графа Уварова, и вообще-то не больно к нему благоволившего. Стал бы этот царедворец уязвлять человека, которому значительная от государя награда предстоит? Навряд ли. Уваров — жесткий, злой, мстительный, но Красовский ему ни в чем не помеха, а даром ожесточать человека, пользующегося благосклонностью государя, тоже не в его правилах. Он знает, кого язвить, одергивать, ставить на место, а с кем и поостеречься. Но если тебя обошли, нечего с тобой церемониться. Нет ли связи между ухмылочками Комовского и придирками графа?

Но за что же с ним так?.. Уж он ли не... А кого этим разжалобишь? Недавно он запретил богохульные сочинения Вольтера, а кто-то напомнил императору, что его бабка, великая государыня Екатерина, состояла в переписке с фернейским умником. Государь изволил обозвать censора болваном. И сразу пиявки за уши, кислый стул, сердечное недомогание. А ведь император, поди, не раскрывал Вольтера, а раскрой — в ужас пришел бы. Вольтера, значит, нужно было разрешить, а как взгрели censурный комитет за допущение к продаже «крамольной книги» о подагре, выписанной из Берлина Смирдиным! Чем это медицинское сочинение угрожает видам и негоциям Российской империи?

Другим и не такие промахи прощают, а ему каждое лыко в строку ставят, любую оплошность муссируют, ибо с легкой руки Пушкина утвердилась за ним слава неуча и дурака.

Не было ничего удивительного, что, пытаясь разобраться в своей незадаче, Красовский пришел к Пушкину. Уже сосредоточившись на Комовском, он догадывался: дело не в старом лисе, а в его лицейском дружке, что непременно высунет censору лиловый негритянский язык. Языка Пушкина Красовский не видел, но был уверен, что африканской породе положен лиловый язык. Конечно, Пушкин лишь на одну восьмую эфиоп, но русская кровь примесей не любит, и если кто из предков не соблюл чистоты, то будешь ты уже не русский, а инородец.

С Пушкиным связана самая неприятная история в жизни Красовского, когда вышел он круглым дураком перед великой княгиней Еленой Павловной, почитавшейся самой просвещенной женщиной своего времени; перед ней, младшей, благоговел покойный император Александр и почтительно склонялся суровый Николай. Обхождение Елены Павловны было таким простым и милым, таким располагающим к доверию и откровенности, что каждый человек становился с нею самим собой, ничуть за себя не стесняясь. Она обладала способностью всегда находить в людях что-то привлекательное, даже их слабости обращать им на пользу. И в тот раз все обошлось бы, если б не Пушкин — нечистый его принес. И ведь знал Красовский, что его враг и хулитель среди гостей и, будто подстерегая жертву, смещает в его сторону плоскости желтоватых белков. Искренне почитая великую княгиню, Красовский плохо чувствовал себя в ее салоне, слишком остром и быстроумном. Любила Елена Павловна общество литераторов, художников, музыкантов и позволяла им большую свободу в словах и поведении. Красовский сроду бы не ходил на эти собрания, но его приглашали как-то подчеркнуто. Разве мог он отказаться? Видимо, считалось, что censор — человек литературный и надо ему быть в обществе просвещенных умов, а может, доброй и наивной Елене Павловне хотелось сблизить вечно пребывающих в контроверзе словесность и censуру?

Вот и в тот раз, промыкавшись часа два среди чуждых ему всей кровью завсегдатаев салона (помнится, были среди них Жуковский, князь Вяземский, граф Виельгорский, почт-директор Булгаков, пронырa и сплетник,— он-то небось и раззвонил на весь свет о приключившейся неловкости). Красовский собрался уходить, но колебался: не слишком ли рано даст стрекача, что может быть дурно истолковано. Несколько позже перед ним оказалась Елена Павловна и, верно, подметив угрюмое и несчастное выражение его лица, сказала своим ласковым голосом:

— Месье Красовский, вам приходится столько читать. Не надоела вам литература?

И, поддавшись на ноту участия, исполненный дове-

рия и благодарности, он утратил обычную осмотрительность и ляпнул от души:

— На дух не переношу, Ваше императорское высочество!

Он заметил смущенную, сразу погашенную улыбку на тонких бескровных губах Елены Павловны, и тут раздался какой-то фырк и звонкий голос Пушкина произнес:

— Бедная литература! Ты в надежных руках!

Люстры были пригашены, вечер близился к концу, углы гостиной приютили густую тень. В сумраке меж шкафчиком с севрским фарфором и дельфтской вазой на постаменте высветилась узкая полоска. Красовский сперва заметил высверк белых зубов в издевательском оскале, а потом — мозглявую фигурку Пушкина в развязной, как всегда, позе. Он облокотился о спинку кресла, отклячив зад и заложив ногу за ногу. Говорят, и на аудиенции у государя-императора он не постеснялся греть ноги у камина, а потом чуть не уселся на край письменного стола.

Красовский хотел осадить весельчака резонным вопросом: над чем изволите потешаться, милостивый государь? Но тут великая княгиня снова улыбнулась, и эта быстрая, молодая, какая-то заговорщицкая улыбка предназначалась Пушкину. И цензор вынужден был смолчать, проглотить оскорбление, ведь его фраза попала бы рикошетом в великую княгиню.

Раздумывая потом над этой сценой, Красовский не мог понять, почему он должен принять в обиду слова Пушкина, хотя намерение обидеть было несомненно. «Литература в надежных руках»,— сказал Пушкин. Да, пока он, Красовский, на страже, никакой крамолы пропущено в печать не будет. Кстати, в своем послании Шишкову Пушкин и сам утверждал, что цензура необходима. Он сказал «бедная литература» — что ж, сочинителю так позволено считать, у него своя забота — марать бумагу, у цензуры своя — не пропускать. Спутал его мысли граф Уваров, с которым он столкнулся у дверей собственной Его величества канцелярии. «Ну, батенька, и сморозили вы!..» — кинул граф своим хриплым, непрокашлянным голосом, усмехнулся и прошел мимо. Красовскому бы спросить: чего я такого сморозил? — а он растерялся и пропустил момент. «Сморозил» — слово-то какое!.. Ответил он великой княгине по чести и совести, не слишком изящно, прямолинейно, по-бурсацки, так это от доверия к собеседнице, не терпящей светских околичностей.

А разве цензор может любить литературу? Любовь ослепляет, а цензор должен все насквозь видеть, подозревать каждое слово, даже то, что за словами, ведь иной, крамольный смысл в недосказанности прячется. Чтение и вообще докука, а для человека, прикованного к этому делу, как каторжник к тачке,— мука мученическая. Эк же осточертела печатная галиматья, в которой и слова путного не встретишь! Все — плод дурного беспокойства кичливого ума и расстроенных чувств. Разве отцы и тем паче деды читали книги, а как высоко стояла Россия среди других народов! В славный и тревожный век Екатерины II завелся этот несподручный россиянам обычай. Заигралась матушка-государыня в свои просветительские игры со всякими вольтерами и дидеротами, а после сама была не рада. Спохватилась, да поздно: Радищева в Сибирь закатала, Новикова — в Шлиссельбургскую крепость, Княжнина в тайной канцелярии насмерть запытали, а зараза успела проникнуть в русское нутро.

Будь его, Красовского, воля, он запретил бы все книги, кроме Священного Писания, акафистов, месяцеслова, сонника и «Домостроя»: в них сказано все, что русской душе потребно. А еще надо читать правительственные указы и распоряжения городских властей, остальное — от лукавого. Вот он за всю жизнь прочел столько книг, что из них Вавилонскую башню построить можно, а извлек ли из всего читаного хоть одно полезное наставление, добавилась ли ему хоть капля ума, омылось ли сердце хоть одной слезинкой? Нет, нет и нет. Учат человека родители, церковь и сама жизнь. Светлейший князь Меншиков ни читать, ни писать не умел, с трудом имя свое на бумагах рисовал, а был царю первый помощник и всю Россию под себя подмял. Русским администраторам книжное научение только помеха. Разве открывал когда книгу граф Аракчеев, разве читает Клейнмихель, а какими делами заворачивает! Можно ли представить за чтением князя Варшавского, первого героя России? Государь-император читает, но единственно для выговоров господам-литераторам (цензорам тоже перепадает). А ежели спуститься вниз: нешто народ-кормилец читает? Видел ли кто-нибудь читающего пахаря и сеятеля? Они и грамоте не знают, как и солдат — защитник Отечества. Все, кем сильна и прочна российская держава, чтением ум не смущают, зато дамы до чтения большие охотницы, жить не могут без романчиков и стишков. Критики это понимают и судят о литературе с точки зрения прекрасного пола, мол, подходит дамам или нет. Что ужасно бесит Пушкина. Хорошей литературы не бывает и быть не может, как не может быть сладким то, что по природе своей горько. Даже «Выжигин», самое благонамеренное и занимательное произведение российской словесности,— дрянь, на которую совестно тратить время. Об остальном говорить не приходится. В России литература не нужна, от нее лишь разврат и пагуба. Недаром декабристы сильно начитанные были.

Но все эти умные мысли не приносили успокоения. Он чувствовал, что печень в нем разгорячена, что тихая и справная работа пищеварительных органов вот-вот разладится, и зашатается, похилится вся его такая размеренная, блаженно созерцательная и, на близорукий взгляд, несколько однообразная жизнь. На деле же пестро и приятно расцвеченная разными занятными малостями: то на поминки сходишь, то знакомый сенатор предложит вместе говеть, то государя во всей подробности на дворцовом приеме или на плацу узришь, то с архиереем побеседуешь, то кума Чемодурова соленых груздочков пришлет, пожалования тоже приятно волнуют сердце и будят мечту...

Коль пришло лихо, словами его не заговоришь. Постиг его душевно-кишечный недуг такой силы, что пришлось лечь в постель и вызвать лекаря. Тот прописал порошки и диету, когда ему и так кусок в горло не шел. Порошки, изжелта-зеленые, будто плесневелые, и дурно пахнущие, больной положил за образа: коли имеется в них сила, через святые образа скорей подействует. А сам решил испробовать народную медицину. Послали за Домной Пантелеевной, специальной женщиной, известной на весь околоток своим умением заговаривать любую боль, прогонять ветры и вообще приносить облегчение. Красовский почему-то считал, что все ворожеи — старые, худющие, черные, как галки, а Домна Пантелеевна оказалась особой моложавой, приятно окатистой, на подбородке ямочка, руки с перетяжками, как у раскормленных младенцев, а глаза голубенькие, словно незабудки. На редкость привлекательная женщина. Спрыснула его с уголька, получила полтинник и провизии на четвертак (лекарь червонец содрал!) и попросила непременно обращаться к ней в случае нужды. Такая нужда, весьма настоятельная, возникла, когда Красовский поправился. Сколько уже лет прошло, а Красовский все прибегает к услугам этой умелой и обязательной женщины, когда чувствует себя особенно бодрым и здоровеньким.

Может, уголек помог, а скорей всего, визит лейбмедика Арендта, присланного самим государем-императором. И не в таких чинах Красовский тогда был, а надо же, вспомнил государь о рачительном и преданном слуге своем и явил монаршую заботу. Приятство для души помогло освобождению кишечника, вновь спокоен и сладостен стал глубокий сон, даривший лицезрением царских особ, архиереев, сановников, самого князя Варшавского, изредка в сон допускались близкие: покойные родители, знакомые дамы,— последнее служило напоминанием, что надо посылать за Домной Пантелеевной.

И все же полного покоя он не обрел. Мелкая и пустая история оказалась на удивление живучей. Она проникла даже в книгу французского путешественника, как полагается, бесстыдно перевранная. Случалось, при его появлении на рауте, торжественном обеде, дворцовом бале или в театре какие-то кучно стоявшие люди прерывали свою беседу, косились на него, и он чуял за спиной грязный шепоток. Но по-прежнему, хоть убей, не понимал сути своего афронта. Наверное, все давно бы забылось, если б не растущая слава Пушкина. Она, эта слава, возводила в легендарный чин каждого, кого Пушкин коснулся хоть словом. И цензор, осмеянный Пушкиным в лицо и заглазно, стал по-своему легендарен.

Конечно, было бы преувеличением сказать, что скверное воспоминание неотступно преследовало его, омрачая жизнь. Нет, конечно. К тому же человек управляет своей памятью: не хочу — не помню. Были заботы поважнее. Но сейчас опять нахлынуло и повергло в болезнь. Все дело в близости юбилея и боязни, что обойдут. А уже если он сейчас не получит сполна, то не получит никогда.

Забрало его крепко, хоть завещание пиши. Кому только завещать и чего завещать: не нажил он палат каменных от всех трудов своих, а с заморенной деревеньки, доставшейся по наследству от тетки, оброк получал солеными огурцами, капустой и рыжиками. Конечно, про черный день кое-что отложено, капиталом не назовешь, но больше, чем ничего. Для Домны Пантелеевны это было бы настоящим богатством, для кумы Наталии Ивановны Чемодуровой — солидным приварком к пенсиону, а для вдовы Александры Афанасьевны Блажиевской, пожалуй что, безделицей, не стоящей благодарности. А коли так — накось, выкуси! И больной с усилием складывал в кукиш мясистые, квелые пальцы. Но и куме отказывать свои кровные не хотелось: подозревал Красовский, что в очередь с ним принимает она геморроидального

старичка — тайного советника Арцибушева, а вне очереди — синодального служащего титуляшку Синицына, у которого одна заслуга — белокурый капуль да румянец во всю глупую щеку. Так неужто Домне Пантелеевне оставлять? Хоть она и ворожея, и целительница, а в деньгах ни черта не смыслит. Облапошит ее первый попавшийся прохиндей. Не будет он этим бабам благотворительствовать. Где-то обреталась сестрица, двумя-тремя годами его моложе, уж лучше родной кровиночке порадеть. Да где отыщешь эту сестрицу, последнее письмо от нее пришло еще до награждения его Владимиром III степени, может, померла давно. А с чего ей помирать, в провинции люди долго живут. Но вскоре ему стало безразлично, кому достанется его нажиток, весь он сосредоточился на своем вспучившемся, тугом, как барабан, но не пустом, как барабан, а тяжело набитом чреве. Он трогал его руками и не мог ущипнуть тела. Подпирало сердце, не продохнуть, было жуткое чувство, будто он тонет, но как-то изнутри. И пропала всякая охота сопротивляться. Он запретил слуге входить к нему и кого-либо впускать. Он не собирался звать врача, и даже спасительный образ Домны Пантелеевны ни разу не прорезал его ночь. И если б государь прислал к нему своего лейб-медика, он не принял бы его, как и всех остальных. То была полная капитуляция. Красовский лежал на спине, брюхо возвышалось горой, закрывая спинку кровати, щетина небритого лица колола грудь и плечи, стоило чуть двинуть головой, и лишь это напоминало ему, что он еще живой.

Но как не готов он был к принятию кончины, как жаждал жить, Красовский узнал в одну из ночей, когда, громко и слышимо для самого себя застонав, открыл глаза в адов огонь. С невыносимым ужасом уставился он в багряно-угольную шевелящуюся тьму, оттуда надвинулся кто-то черный, волосатый, с мерцающим взором, высветом оскаленных зубов и простер к умирающему руки с длинными окогченными пальцами.

«Пушкин!» — ахнуло в Красовском. Он узнал князя тьмы и в то же мгновение понял, что каким-то далеким, недостижимым в обычной жизни умом всегда знал, что Пушкин — Сатана.

И с этим последним страхом пришло к нему неизъяснимое блаженство и унесло на своих крыльях из сознания жизни.

Он очнулся утром: легкий, пустой, голодный, покоясь, будто на пуховой перине,— и сразу, цельно и ясно, принял свою блаженную освобожденность, смешной детский грех и возвращение в мир. Он еще полежал, наслаждаясь покоем, и вдруг услышал чей-то сиповатый голос, напевавший:

И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.

Это о нем. Но кто же мог петь в его доме глинковский романс? Голос был глухой, старческий, но мотив передавал точно, с чувством. Господи, да ведь он сам поет. Но как же это он слова запомнил? Романс частенько напевали в разных гостиных, но он никогда не прислушивался, и слова и мелодия сами встряли ему в голову. А Пушкин-то каков — на все руки! Эх, Александр Сергеич, вздохнул Красовский, и зачем вы со мной так?.. Ведь мы могли бы!.. Но чего такое могли они с Пушкиным, было неясно, а додумывать лень. Он встал, ополоснулся и велел затопить баню.

На другой день Красовский явился в присутствие, удивив подчиненных, похоже, уже похоронивших его, своим свежим и бодрым видом. На радостях он запретил, не глядя, всю скопившуюся за время его отсутствия литературу и понял, что это хорошо. Строгость, строгость и строгость! — вот чего требует время. И никаких колебаний, никаких сомнений, исполнительность и строгость — только это нужно России. И нечего бояться, что его не оценят, обойдут,— истинное усердие всегда будет вознаграждено, как бы ни кривился Уваров, ни злобствовали завистники, ни злопыхательствовали светские остроумцы.

Дневник тех дней отражает мир и лад, наступившие в душе и желудке Красовского. Впрочем, одна запись свидетельствует о некоем беспокойстве иного, сладостного свойства. *«...Во сне виделись покойная М. И. Капгер и особенно Антония, которая представилась открывшейся и сватаемой за меня со странным лицом... Сон был хорош, но во сне было сатанинское искушение».*

И чтобы избавиться от грешных чар, насылаемых на спящего врагом рода человеческого, Красовский нанес визит вдове Блажиевской, через день-другой посетил куму Чемодурову, а напоследок вызвал целительницу Домну Пантелеевну.

Он совсем успокоился, и сны его стали светлы, благочестивы, достойны пожилого мужа, пришедшего через страдания к полной гармонии.

«Благодарение Создателю, сон был хорош от 1-го до 8-го ч.(Во сне виделись княгиня Клейнмихель, приведшая меня за руку к обеденному столу, и ее муж, граф Петр Андреевич, принявший меня благосклонно и расспрашивавший о моей службе, и проч.) Отправление желудка было обыкновенное».

И дальше в таком же благостном роде:

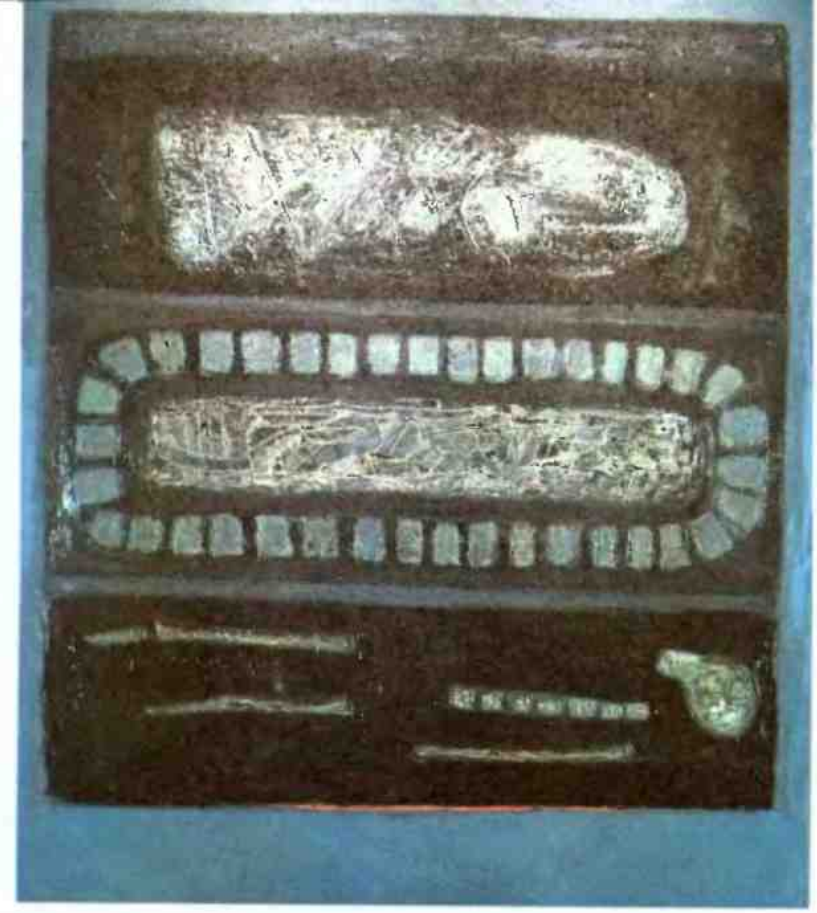
«Благодарение Господу, сон был хорош от 1-го до 8-го ч. (Во сне виделись: штаб-доктор действующей армии д. с. с. Четыркин и покойный преос. митрополит Гавриил в архиерейской мантии, вызывавший меня по имени и давший мне поцеловать свою правую руку.) Отправление желудка было обыкновенное».

А там и граф Уваров приснился в белых одеждах, говоривший с ним *«благосклонно» (разрядка наша общая).* И сон этот был в руку:

«Благодарю тебя, Создатель и Хранитель моей жизни, даровавший мне провести 67 лет на сем свете и долготерпевший беззакониям моим; даруй мне силу служить тебе и правде и отойти от сей временной жизни к вечной путем, благоугодным тебе; даруй кончину жития христианскую, не плотоядную и мирную! Благодарение Богу, сон был хорош от 1-го до 6-го ч. (Во сне мне виделось кое-чего, что я одевался идти куда-то и слышал какое-то детское пение...)».

Знал, хитрец, и во сне знал, куда он так тщательно одевается и почему звучит хор детских голосов, не детских — ангельских, радовалось само небо, что восторжествовала справедливость, и в полном параде он идет во дворец за наградой, о которой мечтал.

«СЕНЕЖ»-87



ЖИЛКИЧИ ЖАКЫПОВ. Фрунзе. «Время».

СЕРГЕЙ СОКОЛОВ. Ярославль. «Бетонная жизнь, Лифт».

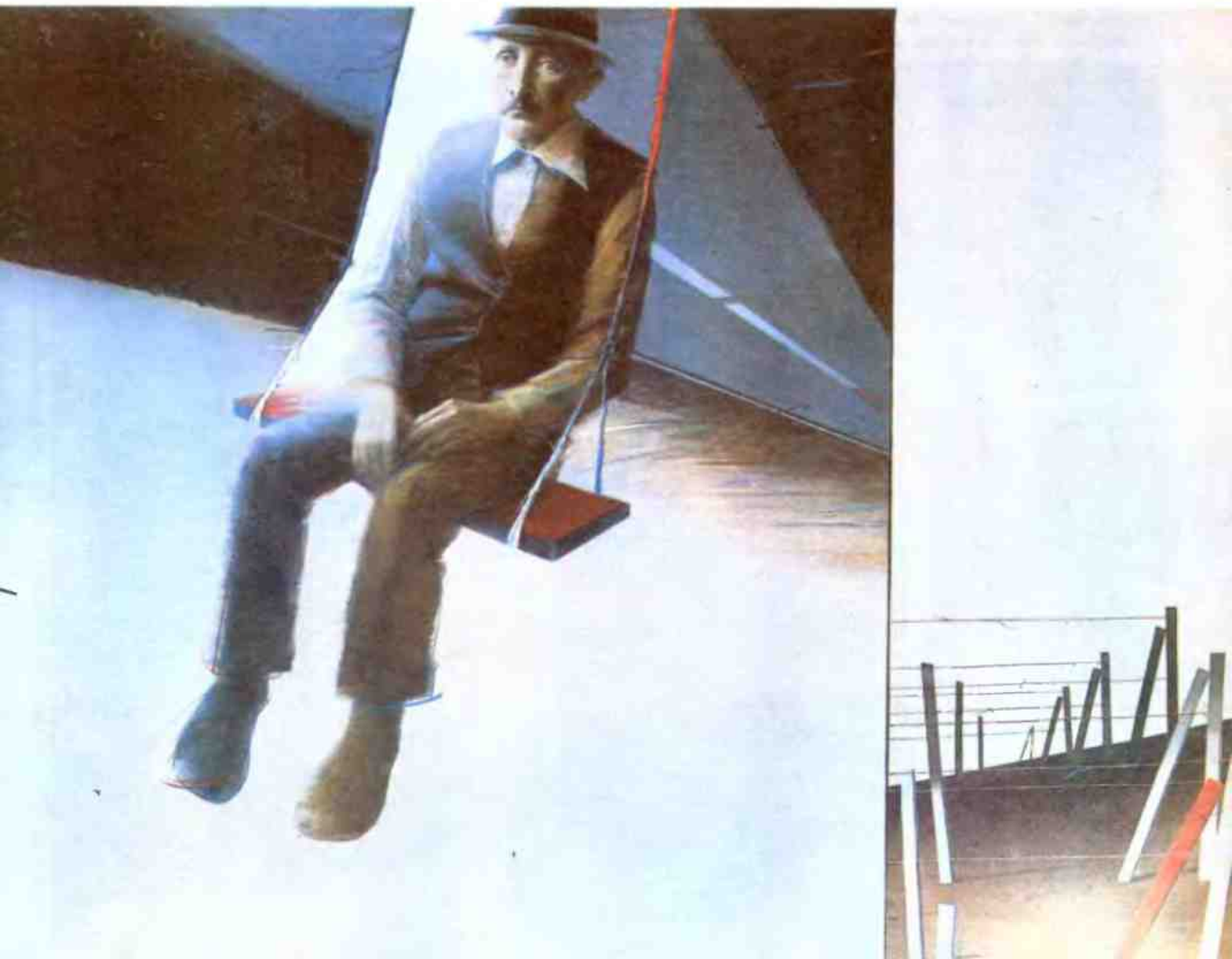
В конце прошлого года в Подмосковье в Доме творчества «Сенеж» работала молодежная группа стипендиатов Союза художников СССР. Мы предлагаем читателям несколько произведений из большой группы живописцев, обративших на себя внимание искусствоведов.

ВЛАДИМИР БЛИНОВ. Ленинград. «Старый завод». Центральная часть триптиха.

МИХАИЛ БЕРЗИНГ.
Ленинград.
«Пустая клетка».

ВАДИМ ГРИГОРЬЕВ. «Бочка» Из серии «Север».

МИХАИЛ ГОРБАН. Кишинев. «Пустующие виноградники».



ЭРКЕН САЛИЕВ.
Фрунзе.
«Продавец перепелок».

КОНСТАНТИН КУЗЬМЕНЫХ.
Магадан.
«Поселок на берегу».

Наша публикация

Эрнест
ХЕМИНГУЭЙ

РАЙСКИЙ САД

ГЛАВЫ ИЗ РОМАНА

В 1986 году в нью-йоркском издательстве «Чарлз Скрибнерс санз» вышел не известный читателям роман Хемингуэя «Райский сад». Наряду с такими произведениями, как «Опасное лето», «Праздник, который всегда с тобой», «Острова в океане», «Лев мисс Мери», роман «Райский сад» также относится к числу не законченных писателем произведений. Вероятно, можно не согласиться с американским редактором, отбиравшим завершенные эпизоды романа, но, по его словам, он руководствовался пометками, сделанными в рукописи самим Хемингуэем.

Действие романа происходит в середине 20-х годов. Молодая пара — ветеран войны, писатель Дэвид Бёрн, и его состоятельная жена — путешествует по югу Франции и Испании, наслаждаясь медовым месяцем. Постепенно взбалмошный характер жены, ее ревность к писательской работе, целиком захватившей мужа, стремление занять центральное, оплаченное ее деньгами место в жизни и творчестве Дэвида приводят к осложнению их отношений. В судьбе Бёрна появляется другая женщина... Тему «Райского сада» писатель определил так: «...это роман о безмятежном счастье, которое человек неизбежно теряет». Роман нельзя назвать полностью автобиографическим, и все же описанная в нем ситуация напоминает время, когда Хемингуэй и его первая жена Хэдли Ричардсон путешествовали летом по Франции и Испании с Полин Пфейфер — редактором парижского издания журнала «Вог», которая впоследствии стала второй женой писателя. Читателям «Юности» предлагаются главы из романа. Полностью он будет опубликован издательством «Прогресс».

В. ПОГОСТИН

* * *

Ветер дул третий день кряду, только теперь порывы его стали слабее. Дэвид сел за стол и перечитал рассказ с самого начала до той строчки, где прервал работу, и, читая, правил написанное. Он снова начал писать и перенесся в рассказ, забыв о настоящем, так что, когда раздались женские голоса, он не стал прислушиваться. Женщины прошли под окном, и он махнул им рукой. Они помахали в ответ, и темноволосая девушка улыбнулась, а Кэтрин послала ему воздушный поцелуй. Утром девушка выглядела очень хорошенькой, лицо ее сияло и было покрыто ярким румянцем. Кэтрин была красива, как всегда. Он услышал мотор автомобиля и про себя отметил, что они уехали на «бугатти». Дэвид снова погрузился в работу. Рассказ получался хороший, и он закончил его перед самым полуднем.

Завтракать было поздно, и, хотя в записке, приколотой на ключе от машины, Кэтрин писала, что они уехали в Ниццу и на обратном пути подождут его в кафе, он слишком устал, чтобы ехать в город на старенькой «изотте» с плохими тормозами и громоздким неисправным мотором.

«Я знаю, чего мне хочется,— подумал он.— Холодного пива в высокой литровой кружке из толстого стекла и pomme á l'huile[1], посыпанный грубо помолотым сушеным перцем». Но пиво на побережье было плохим, и он с удовольствием вспомнил Париж, да и другие города, и радовался тому, что поработал и закончил хороший рассказ. Это была первая вещь, которую он написал с тех пор, как женился. Главное — суметь закончить, думал он. Неоконченная вещь никуда не годится. Завтра он продолжит повесть о путешествии и обязательно закончит и ее. Только как? Как ты собираешься закончить ее теперь?

Стоило ему отвлечься от работы, в голову полезло все, о чем он старался не думать. Он вспомнил вчерашнюю ночь и дорогу, по которой два дня назад ехал с Кэтрин и по которой сегодня она отправилась вместе с этой девушкой, и ему стало

[1] Картофель с растительным маслом (*фр.*). Здесь и далее примечания переводчика.

не по себе. Должно быть, они возвращаются. Уже полдень. А может быть, они в кафе. Будь проще, сказала Кэтрин. Но она имела в виду что-то еще. Наверное, она знает, что делает. Наверное, она знает, чем все кончится. Наверное, она действительно знает. А ты нет.

Ну вот, ты работал, а теперь терзаешься. Лучше напиши еще один рассказ. Напиши самый трудный из тех, что задумал. Завтра же принимайся за новый рассказ. К черту завтра! Что это еще такое. З а в т р а? Иди и пиши сейчас.

Он сунул записку и ключ от машины в карман, вернулся в рабочую комнату, сел за стол и написал первый абзац нового рассказа, который откладывал с тех самых пор, как научился писать. Он написал этот абзац простыми предложениями, и теперь все проблемы, о которых он хотел рассказать, предстояло пережить самому и оживить их на бумаге. Начало написано, и остается только продолжить работу. Вот и все, сказал он. Видишь, как на самом деле просто то, что у тебя не получалось?

Дэвид услышал их голоса, и вот они появились в дверях, счастливые и оживленные, как вчера. Кэтрин, светленькая, точно березка, а лицо загорелое, нежное и возбужденное. Вторая — с взъерошенными от ветра волосами и горящим взглядом — как только подошла ближе, неожиданно смущенно потупилась.

— Мы решили не заходить в кафе, когда увидели, что тебя там нет,— сказала Кэтрин.

— Я работал допоздна. Как дела, дьяволенок?

— Отлично. Про нее можешь даже не спрашивать.

— Вам хорошо работалось, Дэвид? — спросила девушка.

— Вот это жена! — сказала Кэтрин.— А я и забыла спросить.

— Что делали в Ницце?

— Можно, мы сначала выпьем, а потом расскажем?

Они стояли так близко от него, что он почти физически ощущал их близость.

— Вам хорошо работалось, Дэвид? — спросила она еще раз.

— Конечно, хорошо,— сказала Кэтрин.— Он иначе не умеет, глупышка.

— Правда, Дэвид?

— Да,— ответил он и потрепал Мариту по голове.— Спасибо.

— Дадут нам выпить? — спросила Кэтрин.— Мы, правда, не работали. Только купили кое-что, кое-что заказали да еще поскандалили.

— Ну, разве это скандал?

— Не знаю,— сказала Кэтрин.— Мне все равно.

— Что у вас случилось? — спросил Дэвид.

— В Ницце кто-то высказался насчет ее брюк.

— В этом нет ничего обидного,— сказал Дэвид.— Ницца большой город. Этого следовало ожидать, раз поехали туда в таком виде.

— Скажи, я изменилась? — спросила Кэтрин.— Почему до сих пор здесь нет зеркала? Как, по-твоему, я хоть сколько-нибудь изменилась?

— Нет.— Дэвид посмотрел на нее. Она казалась очень белокурой, необыкновенно загорелой, и растрепанные волосы придавали ей дерзкий вид.

— Вот и хорошо,— сказала она.

— Да ничего и не могло измениться,— сказала девушка.

— Нет, могло, и мне понравилось, и я хочу еще выпить.

— Ничего не было, Дэвид,— сказала девушка.

— Утром я остановила машину на пустынном участке дороги и поцеловала ее, и на обратном пути из Ниццы еще раз, и еще только что, когда мы выходили из машины.— Кэтрин смотрела на него, и взгляд ее был нежным, но непокорным, и она сказала: — Это было забавно, и мне понравилось. Ты тоже поцелуй ее.

Дэвид повернулся к Марите, и она неожиданно прильнула к нему и поцеловала его. Он не собирался целовать ее и не ожидал, что так получится.

— Хватит,— сказала Кэтрин.

— А ты что скажешь? — спросил Дэвид. Девушка стояла смущенная и счастливая.

— Я счастлива, как ты и хотел,— сказала она.

— Ну вот, теперь все довольны,— сказала Кэтрин.— Разделили вину поровну.

— К ужину или даже раньше мы приготовили потрясающий сюрприз, Дэвид,— сказала Кэтрин.— Знаешь, она сорит деньгами, как подвыпивший индеец — хозяин нефтеносного участка.

— А они симпатичные? — спросила Марита.— Или похожи на магарадж?

— Дэвид расскажет тебе про них. Он родом из Оклахомы.

— А я думала, он из Восточной Африки.

— Нет. Кое-кто из его предков удрал из Оклахомы и увез его мальчиком в Восточную Африку.

— Должно быть, это очень интересно?

— Он написал роман о том, как в детстве жил в Восточной Африке.

— Я знаю.

— Ты его читала? — спросил Дэвид.

— Да,— сказала Марита.— Хочешь, расскажу?

— Нет,— сказал он.— Мне знакомо содержание.

— Очень грустный роман,— сказала она.— Это ты об отце писал?

— Отчасти.

— Должно быть, ты очень любил его.

— Да.

— Ты мне о нем никогда не рассказывал,— сказала Кэтрин.

— Ты не спрашивала.

— А ты бы рассказал?

— Нет,— сказал он.

— Книга мне очень понравилась.

— Не переигрывай,— сказала Кэтрин.

— Я и не думала.

— А когда ты целовала его...

— Это была твоя идея.

— Не перебивай меня,— сказала Кэтрин.— Я хотела спросить, когда ты целовала его, ты думала о нем как о писателе или тебе было просто приятно?

Дэвид налил себе вина и сделал глоток.

— Не знаю,— сказала девушка.— Я не задумывалась.

— И то хорошо,— сказала Кэтрин.— А то уж я испугалась, что все дело в вырезках.— Девушка удивленно посмотрела на них, и Кэтрин пояснила: — Вырезки из газет о его второй книге. Он ведь уже две написал.

— Я читала только «Порог».

— Вторая книга о летчиках на войне. Лучше него никто не написал о летчиках.

— Чушь,— сказал Дэвид.

— Прочтешь, сама увидишь,— сказала Кэтрин.— Чтобы написать такую книгу, надо было самому полностью выложиться или погибнуть. Не думай, что я ничего не смыслю в книгах Дэвида, потому что целую его не как писателя.

— По-моему, настало время сиесты,— сказал Дэвид.— Тебе нужно вздремнуть, дьяволенок. Ты устала.

— Я заболталась,— сказала Кэтрин.— Спасибо за прекрасный обед и извините, если я наговорила лишнего и расхвасталась.

— Мне так понравилось, когда ты говорила о книгах,— сказала девушка.— Ты была сама прелесть.

— Я так не думаю. Я устала,— сказала Кэтрин.— У тебя есть что почитать, Марита?

— Осталась еще пара книг,— сказала девушка.

— Можно заглянуть к тебе попозже?

— Если хочешь,— сказала девушка.

Дэвид старался не смотреть на девушку, а она — на него.

— Я тебе не помешаю? — спросила Кэтрин.

— Да я вроде ничем не занята,— сказала Марита.

* * *

Из Канн Дэвид вернулся уже в сумерки. Ветер стих, и он поставил машину на обычную стоянку и прошел по дорожке до того места, где свет из окон освещал внутренний дворик и сад. Из дверей навстречу ему вышла Марита.

— Кэтрин в ужасном настроении,— сказала она.— Пожалуйста, будь с ней поласковее.

— К черту вас обеих,— сказал Дэвид.— Где она?

— Там, ждет тебя.

Дэвид вошел в дом. Кэтрин сидела возле пустого бара.

— Привет,— сказала она.— Зеркало так и не принесли.

— Привет, дьяволенок,— сказал он.— Извини, я задержался.— Он поразился ее мертвенной бледности и вялому голосу.

— Я думала, ты уехал совсем,— сказала она.

— Разве ты не заметила, что вещи на месте?

— Я не смотрела. Да ты бы ничего и не взял.

— Да,— сказал Дэвид.— Я ездил в город.

Она вздохнула и отвернулась к стене.

— Ветер стихает,— сказал он.— Завтра будет хороший день.

— Мне все равно, что будет завтра.

— Уверен, что это не так.

— Так. Не уговаривай меня.

— И не думаю,— сказал он.— Пила что-нибудь?

— Нет.

— Я приготовлю.

Она выпила до дна и потом еще долго смотрела через пустой стакан, и Дэвид был уверен, что она вот-вот швырнет стакан ему в лицо. Но Кэтрин поставила стакан, взяла из него чесночную маслину, медленно прожевала и протянула Дэвиду косточку.

— Полудрагоценный камень,— сказала она.— Спрячь в карман. Я бы еще выпила, если ты приготовишь.

— Но пей понемногу.

— О, со мной все в порядке,— сказала Кэтрин.— Ты, возможно, даже разницы не почувствуешь. Когда-нибудь это со всеми случается.

— Тебе получше?

— Значительно. Нет, правда. Только что-то теряется, и кончено. Мы теряем все, что имели. Но обретаем нечто другое. Все так просто, правда?

— Ты голодна?

— Нет. Но уверена, все обойдется. Ты ведь и сам так говорил?

— Конечно.

— Жаль, я не могу припомнить, что же мы все-таки потеряли. Но ведь это неважно? Ты сам говорил, что неважно.

— Да.

— Тогда будем веселиться. Что было, того не вернешь.

— Должно быть, было что-то, но мы забыли что,— сказал он.— Попробуем вспомнить.

— Я знаю, я что-то натворила. Но теперь все в прошлом.

— Вот и хорошо.

— Но что бы то ни было, никто в этом не виноват.

— Не будем о виноватых. Ничего не случилось.

— Конечно же, нет. И незачем было говорить.

— Я и не говорил, дьяволенок.

— Как я рада, что все в порядке. Как только ты забрал назад свои слова, мне стало легче. Но лучше бы что-нибудь натворил ты, а я бы взяла назад свои слова. Мы снова стали сами собой, правда? И я ничегошеньки не убила.

— Нет.

Она опять улыбнулась:

— Вот и отлично. Пойду позову ее. Хорошо? Она так переживала за меня, пока ты не вернулся.

— Неужели?

— Ну, я заболталась,— сказала Кэтрин.— Вот всегда так. Она очень мила, Дэвид. Если бы ты знал ее получше! Она была так добра ко мне.

— Ну ее к черту.

— Нет. Ты снова за старое. Вспомни. Я не хочу начинать все сначала. А ты? Все так перепуталось. Нет, правда?

— Ладно. Зови.

Когда Кэтрин вернулась, она уже улыбалась, и голос звучал почти как обычно.

— Она придет через минуту,— сказала Кэтрин.— Она очаровательна, Дэвид. Как хорошо, что она с нами.

Вошла девушка, и Дэвид сказал:

— Мы тебя ждали.

Она взглянула на него и отвернулась. Потом снова посмотрела на Дэвида и, стараясь не отводить глаз, сказала:

— Простите, что заставила ждать.

— Ты прекрасно выглядишь,— сказал Дэвид, и это была сущая правда, только глаза ее были необыкновенно грустными...

— Самое удивительное, что теперь я чувствую себя ужасно взрослой. Только внутри как-то пусто... Впрочем, я всего лишь новичок,— сказала Кэтрин.

— Итак, нас просят сделать скидку на неопытность,— сказал Дэвид и, воспользовавшись моментом, добавил весело: — Разве нельзя поговорить о чем-нибудь другом? Аномалии надоели, да и вышли из моды.

— Я думаю, это интересно только в первый раз,— сказала Кэтрин.

— И только тому, кто интересуется, а для остальных — скука дремучая,— сказал Дэвид.— Ты согласна, Наследница?

— Ты зовешь ее Наследницей? — спросила Кэтрин.— Какое чудное, забавное прозвище!

— Не могу же я называть ее госпожой или вашим высочеством,— сказал Дэвид.— Так ты согласна, Наследница? Про аномалии?

— Мне всегда это казалось глупым,— сказала она.— Развлечение для тех, кому больше нечем заняться.

— Как хорошо, что мы снова друзья и все чудесно,— сказала Кэтрин. Она очень оживилась, и голос ее звучал естественно и без напряжения.— Я совсем забыла про сюрприз, который Наследница купила утром. Сейчас принесу.

Когда Кэтрин ушла, девушка взяла Дэвида за руку, крепко сжала ее и поцеловала. Они молча смотрели друг на друга. Девушка рассеянно касалась пальцами его руки.

— Нам не нужны слова,— сказала она.— Ты ведь не хочешь, чтобы я произнесла здесь речь?

— Нет,— сказал он.— Но когда-нибудь нам придется поговорить.

— Хочешь, чтобы я уехала?

— Так было бы разумнее.

— Поцелуешь меня, чтобы я поняла, что остаюсь не зря?

Вернулась Кэтрин с молоденьким официантом, который принес поднос с тостами и большой банкой икры в чаше со льдом.

— Вот это был замечательный поцелуй,— сказала Кэтрин.— Все видели, так что теперь можно не бояться сцен и тому подобного. Сейчас подрежут яйцо и лук.

Икра была сероватого цвета, крупная, и Кэтрин осторожно переложила ее на тонкие кусочки поджаренного хлеба.

— Наследница купила тебе ящик «Бюллингер-брют» 1915 года. Вот эта бутылка уже холодная. Как, по-твоему, мы можем выпить ее с икрой?

— Конечно,— сказал Дэвид.— Выпьем за обедом.

— Тебе повезло, что мы с Наследницей богаты и тебе ни о чем не нужно беспокоиться. Уж мы о нем позаботимся, правда, Наследница?

— Будем очень стараться,— сказала девушка.— Я как раз изучаю его запросы. Но на сегодня это все, что мне удалось выяснить.

* * *

Он проспал почти два часа, пока солнечный свет не разбудил его. Он проснулся и посмотрел на Кэтрин. Во сне дыхание ее было легким, и она выглядела счастливой. Такой он и оставил ее: красивой, молодой и неиспорченной. В ванной он принял душ и, надев шорты, босиком прошел через сад в комнату, где работал. После непогоды небо было вымыто до голубизны, и стояло свежее раннее утро нового дня на исходе лета.

Он опять принялся за трудный рассказ и, работая, поочередно брал приступом все, к чему годами не решался притронуться. Он работал до одиннадцати часов, и когда сделал намеченное, запер комнату и вышел в сад, где женщины играли за столиком в шахматы. Обе выглядели свежо и молодо и казались такими же привлекательными, как умытое дождем и ветром утреннее небо.

— Она опять выигрывает,— сказала Кэтрин.— Как ты, Дэвид?

Девушка улыбнулась ему застенчивой улыбкой.

«А все-таки они необыкновенно хороши,— подумал Дэвид.— Интересно, что принесет новый день?»

— Как вы? — спросил он.

— Отлично,— ответила девушка.— А тебе что-нибудь удалось?

— Пишется тяжело, но все получается,— сказал он.

— Ты еще не завтракал.

— Поздновато для завтрака,— сказал Дэвид.

— Глупости,— сказала Кэтрин.— Наследница, сегодня женой будешь ты. Заставь его позавтракать.

— Хочешь кофе и фрукты, Дэвид? — спросила девушка.— Тебе нужно поесть немного.

— Черный кофе, пожалуй,— сказал Дэвид.

— Я принесу тебе что-нибудь,— сказала девушка и вошла в дом.

После купания, пляжа и обильного, затянувшегося обеда с «Бюллингерским» Кэтрин сказала:

— Я очень устала и хочу спать.

— Ты много плавала,— сказал Дэвид.— Устроим сиесту.

— Нет, я, правда, засыпаю,— сказала Кэтрин.

— Ты себя хорошо чувствуешь? — спросила девушка.

— Да. Только смертельно хочу спать.

Они постояли и подождали, пока она заснет, а потом тихонько вышли. Дэвид прошел по каменной террасе и заглянул в окно. Кэтрин спала, и дыхание ее было ровным. Он принес два стула и столик, и они сели в тени под окном Кэтрин, так, чтобы меж сосен было видно синее море.

— Вчера мне показалось, я люблю кого-то, кого уже нет,— сказал Дэвид.— Так нельзя.

Он встал, подошел к окну и заглянул в комнату. Кэтрин спала все в той же позе.

— Она крепко спит,— сказал он девушке.— Может, ты тоже вздремнешь?

— Пожалуй.

— Я пойду к себе в рабочую комнату,— сказал он.— Там есть дверь к тебе, которая запирается с двух сторон.

Он пошел по каменным плитам террасы и, войдя в комнату, открыл задвижку со своей стороны двери в смежную комнату. Постоял и подождал, пока не услышал, как отодвинули задвижку с другой стороны, и дверь открылась. Они сели рядом на кровать, и он обнял ее.

* * *

Он услышал, как завели «бугатти», и даже вздрогнул от неожиданности, потому что в том краю, куда перенес его рассказ, автомобилей не было. Он полностью отрешился от всего, кроме рассказа, в который, по мере работы, вживался все глубже. Он постепенно справлялся с самыми трудными местами, которые раньше доставляли ему более всего беспокойства. Но теперь ему все удавалось: описание людей, и природы, и дней, и ночей, и того, какая была погода. Он продолжал работать и почувствовал такую усталость, точно и правда всю ночь пробирался по испещренной впадинами вулканической пустыне, и солнце настигло его и спутников на полпути, а вдали — еще переход через высохшие грязно-серые озера. Он ощущал тяжесть двустволки, которую нес на плече, придерживая рукой за дуло, и вкус гальки во рту. За поблескивавшими впадинами пересохших озер он видел далекий голубой склон горы. Впереди не было никого, а за ним тянулась длинная цепочка носильщиков, понимавших, что они вышли в этот район с трехчасовым опозданием.

Конечно, его не было там в то утро; он даже никогда не носил той потрепанной залатанной вельветовой, выгоревшей до белизны куртки со сгнившими от пота подмышками, которую снял и отдал своему слуге и брату из племени камба, разделившему с ним вину и ответственность за опоздание, и камба вдохнул кислый, уксусный запах и с отвращением тряхнул головой, а потом усмехнулся и, схватив куртку за рукав, перекинул ее через свое черное плечо, и они двинулись вперед по сухой, запекшейся грязи, положив стволы ружей на плечи дулом вперед, а тяжелыми прикладами в сторону носильщиков.

Это был не Дэвид, но, когда он писал, ему казалось, что это о нем, и то же должен почувствовать каждый, кто прочтет рассказ. Прочтет и узнает, что́ они обнаружили, достигнув склона горы, если только они его достигнут. А он обязан привести их к подножию горы не позднее полудня; тогда, кто бы ни прочел рассказ, переживет все, что пережили они, и запомнит это навсегда.

«Все, что открывал твой отец, он открывал и для тебя,— думал он,— хорошее, удивительное, плохое, очень плохое, по-настоящему скверное и отвратительное. Обидно, что человек, умевший так радоваться и горевать, ушел из жизни, как ушел отец». Воспоминания об отце всегда согревали его, и он знал, что отцу понравился бы рассказ.

Приближался полдень, когда он закончил работать, вышел из комнаты и пошел босиком по каменным плитам внутреннего дворика ко входу в гостини-

цу. В зале рабочие вешали зеркало на стену за стойкой бара. Месье Ороль и молодой официант стояли рядом, и он, поболтав с ними, отправился на кухню к мадам.

— У вас найдется пиво, мадам? — спросил он.

— Mais certainement, Monsieur Bourne[1],— сказала она и достала из холодильного шкафа бутылку холодного пива.

— Я выпью из бутылки,— сказал он.

— Как будет угодно, месье,— сказала она.— Дамы, по-моему, уехали в Ниццу. Месье хорошо работалось?

— Отлично.

— Месье слишком много работает. Нельзя забывать о завтраке.

— Не осталось ли у вас в банке икры?

— Конечно, осталось.

— Я бы съел ложечку-другую.

— Месье такой странный,— сказала мадам.— Вчера запивал икру шампанским. Сегодня пивом.

— Сегодня я один,— сказал Дэвид.— Не знаете, мой велосипед по-прежнему в remise[2]?

— Где ж ему быть,— сказала мадам.

— Отлично. А что это у вас за архитектурное новшество? — спросил Дэвид.

— Новое зеркало в баре? Какой очаровательный подарок!

— Все кругом так и тают от очарования,— сказал Дэвид.— Сплошь очарование и осетриные яйца. Пожалуйста, попросите прислугу проверить шины, пока я надену что-нибудь на ноги и отыщу кепи...

Выехав из отеля на заезженное до блеска черное шоссе, петляющее среди сосен по холмам, он почувствовал, как напряглись мышцы рук и плеч и как уперлись ступни в тугие округлые педали, когда он под палящим солнцем одолевал подъем за подъемом, вдыхая запах сосен и моря, принесенный бризом. На мысу дорога пошла под уклон вдоль берега, и он притормозил, слез с велосипеда, вскинул его на плечо и стал спускаться по тропинке к пляжу. Прислонив велосипед к сосне, от которой в жаркий день пахло смолой, он спустился на прибрежные камни, разделся, положил на эспадрильи[3] шорты, рубашку и кепи и нырнул с камней в глубокое, прозрачное, холодное море. Вода понемногу светлела, когда он плыл к поверхности, и, вынырнув, он тряхнул головой, чтобы вода не попала в уши, и поплыл от берега. Он лежал на спине и, качаясь на воде, смотрел на небо и пригнанные бризом первые белые облака.

Потом он поплыл назад к бухте и, выбравшись на бурые камни, уселся на солнце, вглядываясь в море. Хорошо было одному, особенно когда удавалось сделать все намеченное на день. Потом, как всегда после работы, подступило чувство одиночества, и он стал думать о девушках и затосковал, но не по какой-нибудь одной, а сразу по обеим. Он начал думать о них, но не осуждая, и не о том, что такое любовь, увлечение или долг, или что произошло и что ждет их впереди, а просто о том, что ему их недостает. Он тосковал по обеим. По каждой в отдельности и вместе. Он смотрел на воду и пытался осмыслить случившееся, но ничего не получалось. Хуже всего то, что произошло с Кэтрин. Скверно и то, что ему понравилась другая. Незачем было копаться в собственном сознании, чтобы понять, что он любит Кэтрин, что любить двух женщин плохо и ничего хорошего из этого не выйдет. Он еще не понимал, насколько это скверно. Но видел, что все уже началось. «Мы и так переплелись, точно три шестерни, вращающие одно колесо,— подумал он,— но на одной из шестерен уже сорвана резьба, и она никуда не годится». Он нырнул глубоко в прозрачную холодную воду, в которой тонула его тоска по кому бы то ни было, и, вынырнув, тряхнул головой и поплыл далеко в море, а потом повернул к берегу.

Он оделся, не обсыхая, сунул кепи в карман, выбрался на дорогу, сел на велосипед и поехал вверх на невысокий холм. Мышцы бедер ныли из-за отсутствия тренировок, но он налег на педали, постепенно набирая темп, точно гонщик и его велосипед слились воедино, превратившись в один живой механизм. Потом он покатил по крутому спуску вниз, едва касаясь пальцами тормозов и не замедляя на поворотах, пронесся по черной, бегущей меж сосен дороге и свернул по тропинке на задний двор гостиницы, откуда было видно поблескивающее из-за деревьев по-летнему синее море.

Девушки еще не вернулись. Он прошел к себе, принял душ, надел свежую рубашку и шорты и вышел в бар, где уже красовалось новое зеркало.

* * *

Он проснулся, когда рассвело настолько, что были видны стволы сосен, и тихонько, стараясь не потревожить Кэтрин, поднялся, нашел шорты и пошел вдоль всей гостиницы по мокрым от росы плитам к рабочей комнате. Открывая дверь, он почувствовал легкое дуновение ветра с моря, обещавшее жаркий день.

Когда он сел за стол, солнце еще не взошло, и ему показалось, что он немного наверстал время, упущенное им в рассказе. Но как только он перечитал написанные его аккуратным, разборчивым почерком строки и слова перенесли его в другую страну, ощущение это исчезло, и ему снова предстояло решать ту же задачу. Солнце поднялось из-за моря, но он этого даже не заметил, потому что уже давно пробирался по солнцепеку через грязно-серые, высохшие, потрескавшиеся озера, и ботинки его побелели от солончаковой пыли. Солнце обжигало голову, шею, спину. Рубашка стала мокрой, и он чувствовал, как пот течет по спине и ногам. Отдыхал он стоя, не двигаясь, и, откинув с плеч рубашку, чувствовал, как солнце быстро сушит ее, оставляя на материи белые солевые разводы. Он видел себя стоящим на этой жаре и знал, что у него нет другого выхода, как только идти вперед.

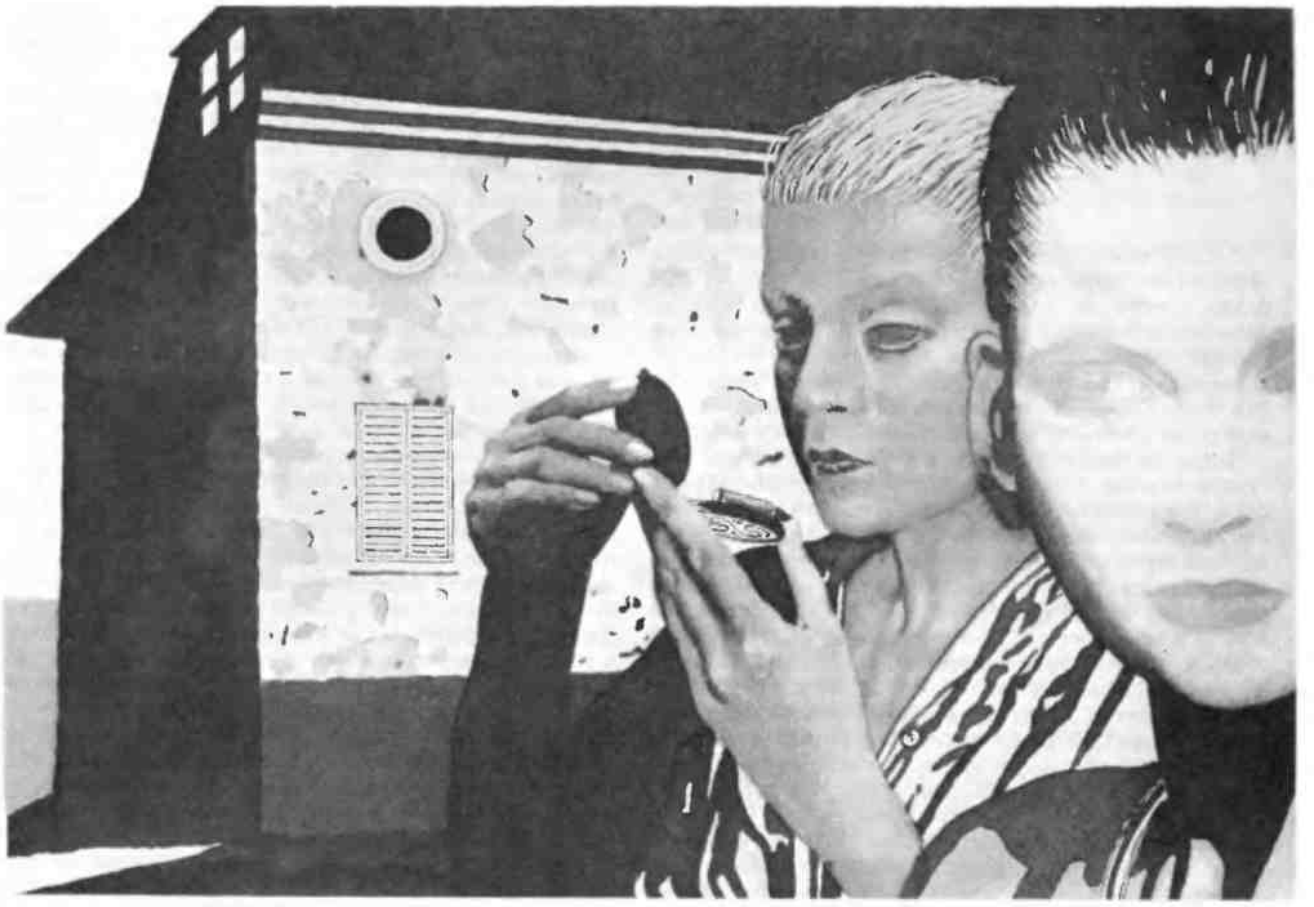
К половине одиннадцатого он пересек озера и оставил их далеко позади. Он уже вышел к реке и роще фиговых деревьев, где они собирались разбить лагерь. Кора на деревьях была зеленовато-желтая, а ветви густые. Дикими фигами питались бабуины, и повсюду на земле валялся обезьяний помет и обкусанные фиги. Пахло гнилью.

Здесь, в рабочей комнате, где он сидел за столом, чувствуя прикосновение бриза с моря, часы показывали половину одиннадцатого, а по-настоящему в рассказе наступил вечер, и он, расчистив себе место под деревом, сидел со стаканом виски с водой, опершись спиной о грязно-желтый ствол, и смотрел, как носильщики разделывают тушу антилопы конгони, подстреленной им в первой же заросшей травой болотистой низине, что повстречалась им на пути к реке.

«Я оставляю их здесь с мясом,— подумал он,— и, что бы ни случилось потом, сегодня вечером в лагере все будут довольны». Он спрятал карандаш и тетради, запер чемодан, вышел из комнаты и прошел по уже сухим и нагревшимся плитам во внутренний дворик гостиницы.

Девушка сидела за столиком и читала книгу. На ней была полосатая рыбацкая блуза, теннисная юбка и эспадрильи. Заметив Дэвида, она подняла голову, и ему показалось, что она вот-вот зальется румянцем. Но Марита сдержалась и сказала:

[1] Ну конечно, месье Берн *(фр.)*.
[2] Сарай *(фр.)*.
[3] Вид обуви.



— Доброе утро, Дэвид. Хорошо поработал?

— Да, моя прелесть.

Она встала, чмокнула его в щеку и сказала:

— Очень рада. Кэтрин уехала в Канны. И велела сказать, что на море с тобой пойду я...

Кэтрин еще не вернулась в гостиницу, и Дэвид с Маритой успели принять душ, переодеться, выйти в бар и приготовить мартини. Они видели отражение друг друга в зеркале, и, глядя на Мариту, Дэвид подмигнул ей, чтобы она не вешала нос. Девушка покраснела.

— Хочу, чтобы у нас было больше общего,— сказала она.— Того, о чем знаем только ты и я. Чтобы я не ревновала.

— Не стоит торопиться,— сказал он.— Потом не распутаешь.

— Я обязательно придумаю такое, чтобы ты остался со мной.

— Какая практичная, славная Наследница,— сказал он.

— Не нравится мне это имя. Я бы его поменяла. Ты не против?

— Клички прилипчивы.

— Тем более давай сменим. Неужели тебе нравится?

— Нет... Хайя[1].

— Ну-ка, повтори еще разок?

— Хайя.

— Это хорошо?

— Очень. Так буду звать тебя только я и больше никто.

— А что это значит?

— Краснеющая девушка. Скромница.

Он крепко прижал ее к себе, и она прильнула к нему и положила голову на его плечо.

— Поцелуй меня один раз,— сказала она.

...В тот вечер Кэтрин была совершенно неузнаваемой. Когда они вернулись с пляжа, она сидела в баре. Марита задержалась у себя в комнате, а Дэвид прошел в залу.

— Что ты с собой сделала, дьяволенок?

— Смыла шампунем всю эту ерунду,— сказала она.— От нее оставались грязные пятна на подушке.

— Ты чертовски красива,— сказал он.— Но лучше бы у тебя были прежние волосы.

— Об этом поздно жалеть. Хочешь, я тебе еще кое-что скажу?

— Конечно.

— С завтрашнего дня я ничего не пью, начинаю учить испанский, читать и перестаю думать только о себе.

— Бог мой,— сказал Дэвид.— У тебя был важный день. Подожди, дай мне только выпить и переодеться.

— Я буду здесь,— сказала Кэтрин.— Надень темно-синюю рубашку, ладно? Одну из тех, что я купила для нас обоих!

Дэвид не торопясь принял душ и переоделся, а когда вернулся, обе женщины были в баре, и он пожалел, что не может нарисовать их.

— Я уже рассказала Наследнице, что начинаю новую страницу в жизни,— сказала Кэтрин.— Я только что ее открыла и хочу, чтобы ты любил Мариту тоже, ты даже можешь жениться на ней, если она согласна.

— В Африке я мог бы на ней жениться, если бы принял магометанство. Им можно иметь трех жен.

— Как было бы хорошо, если бы все мы могли пережениться,— сказала Кэтрин.— Тогда никто не смотрел бы на нас косо. Ты пошла бы за него, Наследница?

— Да,— сказала девушка.

— Очень хорошо,— сказала Кэтрин.— Я так переживала, а, оказывается, все просто.

— Ты серьезно? — спросил Дэвид Мариту.

— Да,— сказала она.— Сделай мне предложение.

[1] Застенчивая *(суахили)*.

Дэвид посмотрел на нее. Марита была очень серьезна и возбуждена. Он вспомнил ее лицо с закрытыми от солнца глазами, темную головку на белом махровом халате, расстеленном на желтом песке на берегу.

— Я сделаю предложение,— сказал он.— Только не в этом чертовом баре...

* * *

Солнце ярко осветило комнату, и начался новый день. «Тебе пора работать,— сказал он себе.— Все равно ничего не повернешь назад. Только Кэтрин могла бы все изменить, но и она не знает, с какой ноги встанет и на каком она свете. Чувства твои не имеют значения. Лучше садись работать. Только в этом есть какой-то смысл. В остальном его маловато. Здесь ничего не поможет. Это было ясно с самого начала».

Когда он наконец вернулся к рассказу, солнце уже стояло высоко, и он забыл про обеих женщин. Нужно было представить, о чем думал в тот вечер его отец, сидя подле зеленовато-желтого ствола фигового дерева с эмалированной кружкой виски в руке. Отец легко расправлялся со злом. Не давая ему ни малейшей власти над собой, игнорируя его силу, он лишал зло власти и могущества. Он обращался со злом, точно со старым, закадычным приятелем, и зло, нанося удар, не достигало цели. Отец, в отличие от многих знакомых ему людей, был неуязвим, и убить его могла только смерть. В конец концов он понял, о чем мог думать тогда его отец, и все же не стал писать об этом в рассказе. Дэвид написал лишь о том, что делал отец, что он чувствовал, и тогда снова вошел в образ, и слова отца, обращенные к Моло, стали его словами. Он хорошо выспался, лежа на земле под деревом, и, проснувшись, слышал, как кашляет леопард. Позже леопарда не было слышно из лагеря, но он знал, что зверь где-то поблизости, и снова заснул. Леопарда привлек запах мяса, но мяса у них было много, так что беспокоиться было не о чем. Утром, перед рассветом, сидя подле тлеющего костра с чаем в эмалированной кружке с оббитыми краями, он спросил Моло, добрался ли леопард до мяса, и Моло ответил: «Ndiyo»[1],— и тогда он сказал: «Там, куда мы идем, мяса будет вдоволь. Поднимай людей, пора начинать восхождение».

Вот уже второй день, как они шли по лесистому, напоминающему парк склону горы, но только теперь, довольный лесом, погодой и пройденным расстоянием, он решил остановиться. Он унаследовал от отца умение забывать о проблемах и не страшиться предстоящего. Он провел в этом горном районе двое суток и прошлую ночь, а впереди были еще один день и еще одна ночь.

Когда он оставил этот лес, отец все еще был рядом с ним, и они вместе заперли дверь и прошли через зал к бару.

Он решил пойти в бар, потому что в такой час отца скорее всего можно было застать именно там, и, хотя Дэвид только что вернулся из горного леса, он уже успел соскучиться по отцу. Небо здесь напоминало небо Африки. Оно было высокое и голубое, с белыми кучевыми облаками. Ему хотелось бы, чтобы отец был здесь, в этом баре, но, посмотрев в зеркало, он увидел, что рядом с ним никого нет. Он хотел бы задать отцу два вопроса. Отец, совершенно не умевший управляться с собственной жизнью, всегда давал поразительно дельные советы. Он извлекал их из горькой мешанины прошлых ошибок, приправленной свежими и предстоящими ошибками, и выдавал точно и метко, как человек, который знает цену всем пророчествам, даже самым страшным, но придает им не больше значения, чем набранным мелким шрифтом предписаниям на билете на трансатлантический пароход.

Дэвид пожалел, что отца не было с ним, но совет он расслышал достаточно хорошо и улыбнулся. Отец мог бы подсказать ему и точнее, но Дэвид перестал писать, потому что устал и не мог передать все, что хотел сказать его отец. По правде говоря, редко кто мог понять отца, да он порой и сам себя не понимал. Во всяком случае, теперь Дэвид яснее, чем когда-либо, сознавал, почему он откладывал этот рассказ. Прервав работу, он должен постараться не думать о рассказе, иначе он никогда не сможет его закончить.

«Думай о нем только во время работы. Тебе повезло, что рассказ получается, и не нужно его мусолить. Не уважаешь себя — умей по крайней мере уважать свое ремесло. Уж в своем-то деле ты разбираешься. Но рассказ получается страшный».

Он потягивал виски с содовой и смотрел в открытую дверь на летние сумерки. Как обычно, он постепенно приходил в себя после работы, и виски помогало ему. «Хотелось бы знать: куда подевались женщины?» Они снова задерживались, и он надеялся, что на этот раз ничего плохого не случится. В трагики он не годится, особенно после общения с отцом и работы, а после виски ему и вовсе стало не до переживаний.

Каждое утро он просыпался с ощущением радости, пока гнусная реальность дня не вытесняла это ощущение, и тогда он принимал новый день с тем же безразличием, что и все предыдущие. Он утратил, или это ему только казалось, способность переживать за себя, и настоящую боль ему могли причинить только чужие беды. Он ошибочно верил в это, потому что еще не понимал, насколько могут измениться его собственная восприимчивость или окружающие люди. Но так ему было удобнее. Он вспомнил о девушках и захотел, чтобы они быстрее вернулись. Поплавать до обеда они уже не успеют, но ему хотелось скорее их увидеть. Он ушел в комнату, принял душ и побрился. Заканчивая бриться, он услышал шум мотора приближающейся машины и неожиданно ощутил какую-то пустоту внутри. Потом раздались их голоса и смех, он натянул чистые шорты и рубашку и вышел, не зная, что его ждет.

Все трое молча выпили по коктейлю и пообедали.

В комнате он сказал Кэтрин:

— Ну ее к черту.

— Нет, Дэвид. Она делает лишь то, о чем я ее попросила.

— А ну ее...

— Это твое дело,— сказала она.— Иди и поговори с ней, и, если хочешь, можешь с ней переспать, сделай одолжение.

— Нельзя ли без грубостей?

— Хочешь, открою один секрет?

— Что-нибудь новенькое?

— Старенькое.

— Давай.

— Тебя ничего не стоит совратить, и смотреть на это ужасно забавно.

— Тебе виднее.

— Я пошутила. Никто никого не совращает. Мы просто развлекаемся.

* * *

Он закончил рассказ за четыре дня. Ему удалось передать то напряжение, которое он испытывал, пока писал, и тем не менее он, как всегда, сомневался: может быть, рассказ не так хорош, как ему кажется? Но холодный рассудок подсказывал, что рассказ получился.

— Как сегодня работалось? — спросила Марита.

— Я закончил.

[1] Да, это так *(суахили)*.

— Можно почитать?

— Если хочешь.

— Ты, правда, не против?

— Возьми две тетради в чемоданчике.

Он протянул ей ключ, а потом пошел в бар, выпил виски с содовой и просмотрел утреннюю газету. Она вернулась, села неподалеку на высокий стул и стала читать. Дочитав до конца, она принялась читать снова, а он налил себе еще виски и наблюдал за ней. Когда она прочла рассказ второй раз, он спросил:

— Тебе понравилось?

— Это не может нравиться или не нравиться,— сказала она.— Ведь это твой отец?

— Да.

— Ты уже не любил его тогда?

— Нет. Я всегда любил его. Просто тогда я наконец узнал его.

— Страшный рассказ и прекрасный.

— Я рад, что он тебе понравился,— сказал он.

Когда они вернулись с пляжа, Кэтрин была в саду. Он приготовил три мартини, отмерив равные порции в кувшин со льдом.

— Кому третий мартини?

— Марите.

— Твоей любовнице.

— Кому-кому?

— Любовнице.

— Наконец-то,— сказал Дэвид.— Никогда не слышал этого слова и, думал, так и умру, не узнав, что это такое. Ты великолепна.

— Самое заурядное слово.

— Так-то оно так,— сказал Дэвид.— Но какое же нужно мужество, чтобы произнести его этак запросто? Ну, дьяволенок, будь умницей. Почему бы не сказать: «твоей смуглолицей любовнице»?

Кэтрин взяла стакан и отвернулась.

— И этот шут мне когда-то нравился,— сказала она.

— Попробуем держаться в рамках? — спросил Дэвид.— И ты, и я.

— Нет,— ответила она.— Вот идет твоя, как бишь ее, а на вид, как всегда, мила и невинна. Дорогая, скажи мне, Дэвид работал сегодня перед тем, как приложиться к виски?

— Ты работал, Дэвид?

— Я закончил рассказ,— сказал Дэвид.

— Полагаю, Марита его уже прочла?

— Да, прочла.

— Я, знаешь ли, никогда не читала рассказов Дэвида. Не люблю мешать. Я лишь старалась обеспечить ему экономическую возможность писать как можно лучше.

Дэвид сделал глоток и взглянул на нее. Кэтрин была все так же очаровательна, смугла и красива, и светлая, цвета слоновой кости полоска волос, точно шрам, рассекала лоб. Только глаза стали другими, да еще губы произносили чужие для нее слова.

— По-моему, это очень хороший рассказ,— сказала Марита.— Необычный и, как бы это сказать, pastorale[1]. А под конец делается жутко. Мне трудно объяснить. Он показался мне magnifique[2].

— Что ж,— сказала Кэтрин.— Поговорим по-французски. По-французски можно выразить столько необыкновенных чувств.

— Рассказ меня очень взволновал,— сказала Марита.

— Что ж,— сказала Кэтрин,— почему бы и мне не прочесть это великое произведение? В конце концов я его субсидировала.

— Что ты сделала? — спросил Дэвид.

— Возможно, я не точно выразилась. Но я немало потратилась. Признайся, ты жил поприличнее, чем до женитьбы.

Марита молчала, а Дэвид смотрел на официанта, накрывавшего на стол на террасе. До обеда оставалось минут двадцать.

— Мне бы хотелось принять душ, если можно,— сказал он.

— Нельзя ли обойтись без этой идиотской фальшивой вежливости? — сказала Кэтрин.— Почему я не могу прочесть рассказ?

— Я писал карандашом и даже не успел переписать. Тебе будет трудно читать его в таком виде.

— Но Марита прочла.

— Хорошо. Прочтешь после обеда.

— Я хочу прочесть рассказ сейчас, Дэвид.

— Я бы не советовал читать его до обеда.

— Он так отвратителен?

— Это рассказ об Африке еще до войны четырнадцатого года. Действие происходит во времена войны Маджи-Маджи, восстание девятьсот пятого года в Танганьике.

— А я и не знала, что ты пишешь исторические романы.

— Оставим это,— сказал Дэвид.— Рассказ об Африке, и мне тогда было около восьми лет.

— Я хочу прочесть его.

Кэтрин читала молча. Она уже прочла половину второй тетради. Затем неожиданно разорвала ее пополам и швырнула на пол.

— Отвратительно,— сказала она.— Гадость какая-то. Вот, значит, каким был твой отец.

— Нет,— сказал Дэвид.— Это только одна его черта. Ты же не дочитала.

— Ни за что не стану дочитывать.

— Я тебя предупреждал.

— Нет. Вы нарочно все подстроили и заставили меня прочесть.

— Дай мне, пожалуйста, ключ, Дэвид. Я спрячу тетради,— попросила девушка.

Она подобрала с пола разорванные половинки. Кэтрин разорвала тетрадь по сгибу. Дэвид дал Марите ключ.

— В школьной тетрадке это выглядит еще отвратительней,— сказала Кэтрин.— Ты просто чудовище.

— Это было необычное восстание,— сказал Дэвид.

— Тем более странно, что ты взялся писать о нем.

— Я же просил тебя не читать.

Кэтрин заплакала.

— Я тебя ненавижу,— процедила она сквозь зубы.

По ночам он долго не мог заснуть. А когда засыпал, видел сны об Африке. Это были хорошие сны, и однажды он даже проснулся от такого сна и тут же сел работать. К тому времени, когда рассвело, он написал приличный кусок нового рассказа и даже не заметил, каким красным было в то утро солнце. В рассказе он ждал появления луны и ощущал, как становится дыбом шерсть собаки, когда он гладил ее, стараясь успокоить, и они вместе всматривались и вслушивались в темноту, пока не взошла и не разбросала тени луна.

Он обнял собаку за шею и ощутил ее дрожь. Ночные звуки стихли. Они не слышали слона, Дэвид заметил его, только когда собака повернула голову и плотно прижалась к нему. В этот момент их накрыла тень слона, когда тот бесшумно прошел мимо, и легкий ветерок с горы обдал их его запахом. Запах был сильный, но старческий и кислый, и когда слон прошел, Дэвид заметил, какой у него длинный, чуть не до самой земли, левый бивень. Они затаились, но слоны больше не показывались, и тогда они пустились

[1] Пасторальный *(фр.)*.

[2] Блестящим *(фр.)*.

следом за ним в лунной ночи. Собака бежала сзади и, когда Дэвид останавливался, тыкалась носом ему под коленку. Дэвиду нужно было еще раз взглянуть на самца, и он наконец достиг его у самой кромки леса. Слон уходил в сторону горы и постепенно оказался в полосе ровного ночного ветра. Дэвид подошел так близко, что слон снова заслонил от него луну и обдал кислым запахом старости, но правого бивня Дэвид так и не разглядел. Подходить ближе с собакой было рискованно, и Дэвид отвел ее назад, стараясь держаться в полосе ветра, и, заставив собаку лечь за стволом дерева, попытался все ей объяснить. Дэвид надеялся, что собака послушается и останется на месте, но как только он направился к темной громаде слона, он опять ощутил под коленкой толчок влажной морды.

Они шли по следу, пока слон не оказался на поляне. Здесь слон застыл неподвижно и только шевелил огромными ушами. Тело его оставалось в тени, но луна освещала голову. Дэвид зашел сзади и, осторожно зажав собаке пасть рукой, стараясь не дышать, стал обходить слона справа, так, чтобы правой щекой постоянно чувствовать дыхание ночного ветра и ни в коем случае не оказаться с наветренной стороны от слона, пока не рассмотрел его голову и медленно двигающиеся уши. Правый бивень был толщиной с бедро Дэвида и загибался до самой земли.

Дэвид и собака отступили назад, и теперь ветер дул ему в затылок, и они отходили до тех пор, пока не выбрались из зарослей к открытому, похожему на парк лесу. Собака бежала впереди и остановилась подле тропы, где они вышли на след слона и где Дэвид оставил охотничьи копья. Он перекинул перевязанные кожаным ремнем копья через плечо и, взяв свое любимое копье, с которым никогда не расставался, направился в сторону шамба [1]. Луна стояла высоко, и он не понимал, почему из деревни не доносился барабанный бой. Что-то случилось, раз его отец был в шамба, а барабан молчал.

* * *

Кэтрин застала их в баре. Вид у нее был усталый, но держалась она спокойно и просто. За обедом она сказала:

— Я ездила в Ниццу и по дороге остановилась за Вильфранш посмотреть, как входит в порт крейсер, и немножко опоздала.

— Ты приехала почти вовремя,— сказала Марита.

— Но у меня было странное ощущение,— сказала Кэтрин.— Краски казались слишком яркими. Даже серые тона. Оливковые деревья просто сверкали на солнце.

— Так бывает при полуденном свете,— сказал Дэвид.

— Нет. Не думаю,— ответила она.— В этом было что-то неприятное, зато, когда я остановилась посмотреть на корабль, было очень красиво. Правда, он показался мне маленьким и совсем не воинственным...

Позже в комнате Кэтрин сказала:

— Ты только, пожалуйста, не волнуйся, Дэвид. Но за последнее время мне стало хуже.

— Как? — спросил Дэвид. Он гладил ее по голове.

— Не знаю. Сегодня утром мне вдруг почудилось, что я состарилась и даже время года изменилось. Потом краски стали неестественными. Я расстроилась и подумала, что нужно позаботиться о тебе.

— Ты и так обо всех чудесно заботишься.

— Нет, я должна, но я так устала, да и времени не было. Но я понимаю, это будет унизительно для тебя, если деньги кончатся и тебе придется одалживать, а я из-за своей небрежности ничего не устроила, я не оформила бумаги. И потом, я очень боюсь за твою собаку.

— Мою собаку?

— Да, ту, что осталась в рассказе, в Африке. Я пошла в твою комнату посмотреть, не нужно ли тебе чего-нибудь, и прочла рассказ. Вы с Маритой говорили о чем-то в соседней комнате. Но я не слушала. Ты оставил ключи в шортах, когда переодевался.

— Я написал только половину рассказа.

— Прекрасный рассказ,— сказала она.— Но мне страшно. Слон ведет себя так странно, и твой отец тоже. Он мне и раньше не нравился, зато собака мне нравится больше всех, конечно, кроме тебя, Дэвид, и я так боюсь за нее.

— Отличная была собака. Зря ты за нее боишься.

— Можно, я прочту, что с ней случилось сегодня?

— Конечно. Если хочешь. Но сейчас она в шамба, и можно о ней не беспокоиться.

— Раз она в безопасности, я подожду читать. Кибо. Какое славное имя.

— Это — название горы. А другая ее часть называется Мавензи[1].

— Ты и Кибо. Я так вас люблю. Вы так похожи.

— Тебе получше, дьяволенок?

— Наверное,— сказала Кэтрин.— Я надеюсь. Но надолго ли? Сегодня утром за рулем мне было так хорошо, и вдруг я почувствовала себя старухой, такой дряхлой, что все стало безразлично.

— Ну какая ты старуха!

— Нет, старуха. Дряхлее одежды, оставшейся после моей матери, и я не переживу твою собаку. Даже в рассказе.

* * *

Закончив писать, Дэвид чувствовал внутри пустоту и усталость, а все потому, что не сумел вовремя поставить точку. Правда, в то утро это было не так важно. Там, в Африке, начался самый изнурительный день, и, как только они взяли след, он сразу ощутил усталость. Поначалу он держался молодцом и был в лучшей форме, чем двое мужчин, и даже нервничал оттого, что преследование шло очень медленно, а отец ровно каждый час устраивал привал. Казалось, Дэвид мог бы идти много быстрее, чем Джума и отец, но, когда Дэвид стал уставать, они продолжали идти, не сбавляя темп, и даже в полдень отдыхали только положенные пять минут, а Джума еще прибавил шаг. Возможно, это было не так. Возможно, они шли не быстрее. Но помет стал более свежим, хотя и недостаточно теплым на ощупь. Когда они последний раз наткнулись на кучу помета, Джума дал ему винтовку, но час спустя, взглянув на Дэвида, снова забрал ее. Все время они поднимались вверх по склону горы, но потом следы повернули вниз, и за лесной прогалиной им открылась овражистая местность.

— Вот где будет по-настоящему трудно, Дэви,— сказал отец.

Только сейчас отец понял, что Дэвида следовало бы отправить назад в шамба, как только он вывел их на следы. Джума и раньше так думал. Отец же понял это только теперь, но делать было нечего. Он совершил еще одну ошибку и вынужден был идти на риск. Дэвид увидел огромный вдавленный круглый след, оставленный слоном, подметил, где смят папоротник, а где сохнет надломленный стебель цветущего дикого табака. Джума поднял сухой стебель и посмотрел на солнце, затем отдал сломанный стебель отцу Дэвида, и тот растер его на ладони. Заметил Дэвид и поник-

[1] Деревня *(суахили)*.

[1] Хемингуэй имеет в виду вулканический массив Килиманджаро в Восточной Африке. Образован из трех слившихся потухших вулканов: Кибо, Мавензи и Шира.

шие, засыхающие белые цветы, но солнце еще не совсем высушило их стебли, и лепестки не опали.

— Похоже, нам придется туго,— сказал отец.— Пошли.

С наступлением сумерек они все еще пробирались через овраги. Его клонило в сон, и, глядя на взрослых, он понимал, что сейчас главный враг — сонливость, и старался не отстать, сбросить сковывающую его дремоту. Мужчины попеременно прокладывали путь, и тот, кто шел вторым, следил, чтобы Дэвид не потерялся. Когда стемнело, они наспех устроились на ночлег в лесу, и Дэвид заснул, едва коснувшись земли, а проснулся лишь оттого, что Джума стягивал с него мокасины и ощупывал ступни ног, проверяя, нет ли там волдырей. Отец накрыл Дэвида своей курткой и сидел рядом, приготовив для него кусок холодного жареного мяса и две галеты. Он дал Дэвиду глотнуть холодного чая из бутылки.

— Слон обязательно остановится где-нибудь попастись, Дэви,— сказал отец.— Ноги у тебя в порядке. Не хуже, чем у Джумы. Поешь не торопясь, выпей еще чая и поспи. У нас все хорошо.

— Прости меня, но мне так хотелось спать.

— Ты и Кибо охотились всю ночь. Еще бы тебе не хотелось спать. Возьми мяса.

— Я не голоден.

— Хорошо. Нам хватит еды дня на три. Завтра снова выйдем к воде. С горы стекает много речушек.

— Куда он идет?

— Кажется, Джума знает.

— Это плохо?

— Не очень, Дэви...

— Я посплю еще,— сказал Дэвид.— Можешь забрать куртку.

— О нас с Джумой не беспокойся,— сказал отец.— Ты же знаешь, я не мерзну во сне.

Отец не успел даже пожелать ему спокойной ночи, как Дэвид заснул. Однажды он проснулся от лунного света и вспомнил о слоне, как тот стоял в лесу, опустив голову под тяжестью бивней. Тогда, ночью, думая о слоне, он вдруг ощутил пустоту внутри, но решил, что это от холода. Он ошибался, но понял это только в последующие три дня.

В рассказе Дэвид еще не раз пытался представить себе слона в ту ночь, когда он и Кибо увидели его при свете луны. «Может быть, я смогу,— думал Дэвид.— Может быть, смогу». Но, убрав тетради в чемодан и выйдя из комнаты, он подумал: «Нет, не сможешь. Слон был слишком стар, и, если бы не твой отец, его убил бы кто-нибудь другой. Тебе остается только написать все, как было. Постарайся с каждым днем писать лучше, и пусть теперешние невзгоды помогут тебе понять, как подступает первая грусть. Никогда не забывай того, во что верил, и тогда это останется в твоих произведениях и ты ничего не предашь. Работа — твое единственное будущее».

За стойкой бара Дэвид нашел бутылку виски и недопитую бутылку холодной минеральной воды, налил себе и пошел на кухню к мадам.

— Не пейте, пока не поели, месье,— сказала мадам.

— Мне это только на пользу,— ответил он.— На фронте во время мессы мы пили виски вместо вина.

— Удивительно, что вы не стали пьяницами.

— Как французы,— сказал он.

И они заспорили о питейных традициях французского рабочего класса, и тут мадам с ним согласилась, но ехидно заметила, что женщины бросили Дэвида навсегда. Он ответил, что они обе ему надоели, и спросил, не согласна ли она занять их место? Нет, ответила она, чтобы вызвать какие-то чувства у француженки, да еще южанки, он должен доказать, что он действительно настоящий мужчина. Дэвид ответил, что поедет в Канны и там наконец поест как следует, вернется, точно лев, и тогда держитесь все южанки!

После разговора с мадам и душа он повеселел. «Интересно, что бы она сказала, узнав, что происходит на самом деле?» — думал он. После войны многое изменилось, и оба они, и мадам и месье, умели жить и старались идти в ногу с переменами. Мы для них три постояльца и de gens trés bien[1]. А почему бы и нет — доход приносим и не буяним. Русские сюда больше не приезжают, англичане беднеют потихоньку, немцы разорены, а тут появляемся мы и игнорируем заведенные порядки, но кто знает, может быть, в этом и есть спасение всего побережья. Мы — первооткрыватели летнего сезона, а приезжать сюда летом по-прежнему считается сумасшествием. Он выбрил одну щеку и взглянул на себя в зеркало. «Хоть ты и пионер,— подумал он,— но не настолько, чтобы брить лишь пол-лица». Он внимательно и с отвращением рассматривал в зеркале свои белые, почти серебристого цвета волосы.

* * *

На следующий день, перенесясь в Африку, Дэвид чувствовал себя совсем скверно. Еще утром он понял, что потребность во сне не единственная черта, отличающая мальчика от мужчины. Первые три часа он чувствовал себя бодрее мужчин, но, когда он попросил у Джумы винтовку 303-го калибра, Джума только покачал головой. Он даже не улыбнулся, а ведь Джума был лучшим другом Дэвида, и сам научил его охотиться. «Вчера он предложил мне винтовку,— подумал Дэвид,— но сегодня я чувствую себя лучше, чем вчера». Так-то оно так, но к десяти часам он уже понимал, что сегодня ему достанется и, пожалуй, даже больше, чем вчера. Рассчитывать, что он может охотиться наравне с отцом, было так же глупо, как решить, что он может помериться с ним силами в рукопашной. И дело тут не только в том, что они взрослые. Они профессиональные охотники. Вот почему Джума зря не тратил силы даже на улыбку. Они знали все, что делал слон, молча указывая друг другу на оставленные им следы, и, если прокладывать путь было особенно трудно, отец уступал это Джуме. Когда они остановились у ручья пополнить запасы воды, отец сказал:

— Продержись до конца дня, Дэви.

Потом, после того, как они наконец выбрались из оврагов и стали подниматься по склону в сторону леса, следы слона повернули вправо к старой, протоптанной стадом тропе. Отец и Джума остановились и что-то долго объясняли друг другу, и, поравнявшись с ними, Дэвид увидел, как Джума оглянулся назад, на проделанный ими путь, а потом посмотрел на лежавший далеко впереди, посреди пустынной местности, островок каменистых холмов так, точно мысленно прочерчивал азимут от островка к вершинам трех далеких голубых холмов на горизонте.

— Джума знает, куда слон идет,— объяснил отец.— Он и раньше догадывался, пока слон не свернул к оврагам.— Отец посмотрел назад, на район, через который они пробирались весь день.— Добраться туда несложно, но придется подниматься в гору.

Они взбирались в гору до наступления темноты, а потом разбили еще один лагерь далеко от воды. Дэвид подстрелил из рогатки двух турачей из небольшой стаи, пересекавшей тропу перед самым закатом. Птицы гуськом, вразвалочку вышли на старую слоновую тропу, чтобы почистить перья, и, когда голы-

[1] Прекрасные люди *(фр.)*.

шом перебило хребет одной из птиц и она задергалась, забила крыльями, поднимая пыль, другая птица бросилась к ней и стала клевать ее, а Дэвид взял еще один камень, натянул резинку, выстрелил и попал ей в ребра. Как только он побежал к подбитым птицам, стая с шумом поднялась в воздух. Джума обернулся, взглянул на Дэвида и на сей раз улыбнулся, а Дэвид подхватил теплых, увесистых, покрытых гладкими перьями птиц и стукнул их о рукоять своего охотничьего ножа.

Устроившись для ночного привала, отец сказал Дэвиду:

— А я и не знал, что турачи забираются так высоко. Ты подстрелил их очень кстати. Молодец.

Джума насадил птиц на палку и зажарил на низком, едва поднимавшемся над углями огне. Пока он поджаривал птиц, отец выпил виски с водой из металлической крышки от фляжки. Потом Джума положил им по грудной части с сердцем, а сам съел обе шейки, спинки и ножки.

— Это очень хорошо, Дэви,— сказал отец.— Теперь нам надолго хватит съестных запасов.

— Мы сильно отстали от слона? — спросил Дэвид.

— Нет, мы почти настигли его,— ответил отец.— Все зависит от того, далеко ли он уходит, когда пасется ночью после восхода луны. Сегодня луна появится на час позже, чем вчера, и на два часа позже, чем в ту ночь, когда ты выследил его.

— Откуда Джуме знать, куда он идет?

— Когда-то неподалеку отсюда Джума ранил слона и убил его аскари[1].

— Когда?

— Он говорит, лет пять назад, а значит, и сам толком не помнит. Говорит, ты был еще крошкой.

— И с тех пор он один?

— Джума так считает. Он не встречал его потом. Только слышал.

— А что, слон очень большой?

— Бивни фунтов по двести. Мне такие не попадались. Джума рассказывает, был один слон еще крупнее нашего и тоже из этих мест.

— Пожалуй, я посплю,— сказал Дэвид.— Может быть, завтра мне будет полегче.

— Ты держался молодцом,— сказал отец.— Я гордился тобой. И Джума тоже.

Проснувшись среди ночи после восхода луны, Дэвид не сомневался, что гордиться им было рано, ну разве чуть-чуть, за его проворство с птицами. Он выследил слона ночью, убедился, что оба бивня на месте, и навел мужчин на его следы. За это они, несомненно, благодарны ему. Но лишь только началось изнурительное преследование, Дэвид стал мешать и мог испортить все дело, как Кибо той ночью, когда он слишком близко подошел к слону. Дэвид понимал: они злятся на себя за то, что вовремя не отправили его назад. Бивни слона весили по двести фунтов каждый. Должно быть, на слона охотились с тех самых пор, как его бивни выросли до необычных размеров, и вот теперь они втроем убьют его. Они наверняка убьют его, потому что он, Дэвид, сумел продержаться до ночи, хотя уже в полдень совершенно выбился из сил. Возможно, и за это они тоже были ему благодарны. Но для преследования Дэвид был только обузой, и без него они бы управились намного быстрее. Как часто днем он сожалел, что предал слона, а к вечеру даже подумал, что лучше бы он вовсе не встречал его. Проснувшись ночью, он понял, что это неправда.

Все утро, работая над рассказом, Дэвид пытался вспомнить, что он чувствовал и что же произошло в тот день. Самое трудное было точно передать его ощущения такими, какими они были тогда, без налета более поздних переживаний. Детали природы он помнил отчетливо и ясно, как и утро того дня, пока не приступил к описанию длительного, изнуряющего перехода, но и это ему удалось. Передать отношение к слону было сложнее, и возможно, ему придется отложить работу на время, чтобы суметь точно рассказать, что он чувствовал, и не позже, а именно в тот день. Дэвид вспомнил, что он тогда испытывал, но он слишком устал, чтобы точно передать это чувство в рассказе.

Он думал об охоте и мысленно продолжал жить в рассказе, даже когда запер чемодан, вышел из комнаты и направился по выложенной каменными плитами дорожке к террасе, где под сосной, повернувшись лицом к морю, сидела Марита. Он по-прежнему жил той, настоящей жизнью, которую оставил в рассказе об Африке, а все окружающее казалось неестественным и фальшивым.

— Доброе утро,— сказал он.— Ты не видела Кэтрин?

— Она куда-то уехала,— ответила девушка.— И велела передать тебе, что вернется.

Неожиданно все стало на свои места.

— Не знаешь, куда она поехала?

— Нет,— сказала девушка.— Она взяла велосипед.

— Бог мой,— сказал Дэвид.— Она же не ездила на нем с тех пор, как мы купили машину.

— Так она и сказала. Она решила вспомнить, как это делается. Ты хорошо поработал?

— Не знаю. Завтра станет ясно.

— Завтракать будешь?

— Не знаю. Поздновато.

— Лучше поешь.

— Пойду приведу себя в порядок,— сказал он.

Он уже принял душ и начал бриться, когда появилась Кэтрин. На ней была купленная в Ле-Гро-дю-Руа рубашка и короткие холщовые брюки до колен. Было жарко, и рубашка насквозь промокла от пота.

— Чудесно,— сказала она.— Только болят мышцы бедер, когда поднимаешься в гору.

— Ты далеко заехала, дьяволенок?

— Шесть километров,— сказала она.— Пустяки, но здесь столько подъемов и спусков!

— Страшная жара. Кататься можно разве что ранним утром,— сказал Дэвид.— Но я рад, что ты вспомнила про велосипед.

Она прошла в душ и, выйдя, сказала:

— Может быть, поедем в город и позавтракаем?

— Ты еще не ела?

— Хотела подождать тебя.

— Ладно,— сказал он.— Поедем и позавтракаем. Я тоже голоден.

Когда поели, Кэтрин спросила:

— Ты не пойдешь со мной к Жану? Я хочу вымыть голову и подстричься.

— Я подожду тебя здесь.

— Ну, пожалуйста, пойдем со мной. Ты же был там раньше, и хуже от этого никому не стало.

— Нет, дьяволенок. Один раз я уступил, но только раз. Это все равно, что сделать татуировку или еще что-нибудь в этом роде. Не уговаривай.

— Но мне так хочется, чтобы мы были похожи, ты уже почти такой, как я, осталось совсем чуть-чуть. Море постаралось за нас.

— Пусть оно и дальше старается.

— Жаль, ты не можешь на себя посмотреть,— сказала Кэтрин.

— Слава богу, не могу.

— Ну, посмотри в зеркало.

— Не хочу.

[1] Друга *(суахили)*.

— Тогда на меня. Ты теперь совсем такой же, хочешь — не хочешь. Вот какой ты.

— Это невозможно,— сказал Дэвид.— Я не могу быть похожим на тебя.

— И все же,— сказала Кэтрин.— Мы похожи. Лучше, если ты поймешь это поскорее.

— Это невозможно, дьяволенок.

— Все возможно. Сам знаешь. Просто не хочешь на себя посмотреть. Теперь мы оба пропащие. Так я была одна, а теперь еще и ты. Посмотри на меня, и тебе самому понравится.

Дэвид посмотрел в ее глаза, которые так любил, и на ее смуглое лицо, на неправдоподобно однотонные, цвета слоновой кости волосы и, видя, как она счастлива, понял, какую невероятную глупость он совершил.

В то утро он боялся, что не сможет продолжить работу над рассказом, и действительно поначалу у него ничего не получалось. Но в конце концов он заставил себя писать, и вот они снова шли в лесу по следу вдоль старой, проложенной слонами дороги. Дорога была такой вытоптанной, что казалось, будто слоны ходили здесь с тех самых пор, как остыла спустившаяся с горы лава, и лес вокруг стоял высокий и густой. Джума преследовал уверенно, и теперь они шли очень быстро. Ни отец, ни Джума не сомневались в успехе, а потому переход по тропе — то темным лесом, то солнечными прогалинами — был несложным, и Джума снова дал ему винтовку 303-го калибра. Но потом они натолкнулись на свежие, еще курившиеся кучи помета и плоские круглые отпечатки, оставленные стадом слонов, вторгшихся на тропу откуда-то слева из леса, и потеряли следы своего слона, и Джума, разозлившись, отобрал у него винтовку. Только к полудню им удалось настигнуть стадо и обойти его, слушая и наблюдая из-за деревьев, как шевелятся огромные уши, как сворачиваются и вытягиваются, обыскивая кроны, хоботы, трещат сломанные ветви и поваленные деревья, утробно урчат слоны и глухо шлепают о землю кучи помета.

Наконец они обнаружили следы старого самца, и, когда следы вывели на тропу, протоптанную другим слоном, поменьше, Джума усмехнулся, обнажив белый ряд зубов, а отец кивнул. Казалось, они знали какую-то скверную тайну, как и в ту ночь, когда он нашел их в шамба.

Разгадка не заставила себя долго ждать — они свернули направо в лес, и следы старого самца привели прямо к тому месту, где лежал большой, достающий до груди Дэвида, белый от дождей и солнца череп. Во лбу была глубокая вмятина, и от белых глазниц книзу торчали похожие на трубы две кости, на концах которых, где отрубили бивни, зияли неровные дыры. Джума показал, где стоял, глядя вниз, на череп, преследуемый ими гигант, и где он слегка сдвинул череп хоботом с належенного места, и где его бивни коснулись земли. Он показал Дэвиду круглое отверстие в глубокой вмятине на белой лобной кости и еще четыре близко посаженных отверстия в кости возле ушной раковины. Он усмехнулся, посмотрев на Дэвида и его отца, достал из кармана пулю 303-го калибра и вставил ее острым концом в отверстие в лобной кости.

— Сюда Джума ранил большого самца,— сказал отец.— Это и был аскари. Он напал первым, и Джума сбил его с ног, а потом прикончил выстрелом в ухо.

Джума показывал на разбросанные кости, и видно было, как ступал между ними старый самец. И Джума, и отец Дэвида были очень довольны своей находкой.

— Как, по-твоему, они с другом долго были вместе? — спросил Дэвид отца.

— Понятия не имею,— ответил отец.— Узнай у Джумы.

— Узнай сам, пожалуйста.

Отец немного поговорил с Джумой. Джума посмотрел на Дэвида и рассмеялся.

— Он говорит, возможно, в четыре или пять раз больше, чем прожил ты,— сказал отец Дэвида.— Точно он не знает, да ему и безразлично.

«Мне не безразлично,— подумал Дэвид.— Я видел его при свете луны, и он был совсем один, а со мной был Кибо. У Кибо есть я. Самец никому не причинил вреда, и вот мы настигли его там, куда он пришел навестить своего мертвого друга, и теперь мы собираемся убить и его. Я виноват. Я предал его».

Но Джума уже снова пошел по следу, он подал знак отцу, и они двинулись дальше.

«У отца нет нужды убивать слонов, чтобы заработать на жизнь,— подумал Дэвид.— Если бы я не нашел его тогда, Джума ни за что бы не выследил слона. Он уже охотился на него, но лишь ранил самца и убил его друга. Мы с Кибо обнаружили слона, и я должен был сохранить это в тайне и ничего не говорить им, и пусть бы они накачивались пивом со своими биби[1]. Джума был так пьян, что мы с трудом разбудили его. Теперь я буду все держать в тайне. Больше я им ничего не скажу. Если они убьют его, проклятый Джума пропьет свою долю слоновой кости или купит себе еще одну жену. Почему ты не стал помогать слону, ведь ты же мог? Нужно было только сказать, что ты не можешь идти на следующий день. Нет, это бы их не остановило. Джума не отказался бы от преследования. Нельзя было ничего говорить им. Нельзя, нельзя было говорить. Заруби себе на носу. Никогда ничего никому не рассказывай. Никому, ничего...»

Отец подождал, пока Дэвид поравняется с ним, и мягко сказал:

— Здесь он отдыхал. Он больше не уйдет далеко. Мы настигнем его в любую минуту.

— К черту охоту на слонов,— очень тихо сказал Дэвид.

— Что? — спросил отец.

— К черту охоту на слонов,— повторил Дэвид.

— Смотри не испорти все дело,— сказал отец и пристально поглядел на него.

«Ну и пусть,— подумал Дэвид.— Его не проведешь. Теперь он все понял и не будет мне доверять. И не надо. А я никогда больше ничего не скажу ни ему, ни кому другому. Никогда, никогда, никогда».

В то утро он прервал работу над рассказом об охоте на этом месте. Он понимал, что у него еще не все получилось. Он не сумел рассказать, каким чудовищным показался им череп, когда они наткнулись на него в лесу, и какие туннели прорыли под ним жуки — эти туннели, похожие на брошенные штреки или катакомбы, открылись, когда слон сдвинул череп. Ему не удалось передать, каким большим был участок, на котором лежали белые кости, и как следы слона кружили вокруг места, где был убит его друг, и, идя по ним, он мог представить себе, как бродил здесь слон и что он видел. Он не рассказал ни о широкой, протоптанной слоном тропе, которая походила на проложенную в лесу дорогу, ни об отполированных до блеска стволах деревьев, о которые чесались слоны, ни о том, как пересекались, напоминая схему парижского метро, тропы других слонов. Он не передал темноты леса, когда смыкались кроны деревьев, и еще многого другого. Расстояния не слишком важны, они остаются такими, как ты их запомнил. Зато передать

[1] Женщина *(суахили)*.

постепенное изменение его отношения к Джуме и отцу, к самой охоте было труднее всего, потому что воспоминания истощили его. Но с усталостью приходило понимание. Работая над рассказом, он медленно начинал осознавать, что же произошло. Еще надо было передать реальное ощущение отвратительности происходящего, и сделать это он мог, только отказавшись от стилистических красот, через описание действительных, запомнившихся ему деталей. Завтра он все поправит и потом будет писать дальше.

Он убрал тетради с рукописью в чемоданчик, запер его, вышел из своей комнаты и прошел вдоль гостиницы туда, где читала Марита.

— Что Кэтрин?

— Уехала очень довольная и веселая.

— А ты?

— Счастливая, застенчивая и спокойная.

— Такая застенчивая, что и поцеловать тебя нельзя.

Они обнялись, и он почувствовал, как отступает ощущение пустоты. Только сейчас он понял, как глубока была его раздвоенность. Работа помогала ему собраться, обрести некий внутренний стержень, который нельзя ни расщепить, ни расколоть, ни повредить. Он это знал, в этом и была его сила, потому что во всем остальном с ним можно было делать что угодно.

Пока официант накрывал на стол, они сидели в баре. И даже здесь и потом за столом под соснами в воздухе чувствовалась первая осенняя прохлада, принесенная бризом с моря.

— Этот холодный ветер дует от самого Курдистана,— сказал Дэвид.— Скоро придет пора экваториальных штормов.

— Сегодня все спокойно,— сказала девушка.— Сегодня нам не о чем беспокоиться.

— Ветра не было с тех пор, как мы познакомились в кафе в Каннах.

— У тебя такая хорошая память?

— Мне кажется, это было еще до войны.

— А я последние три дня была на войне,— сказала девушка.— И вернулась только сегодня утром.

— Я стараюсь о ней не думать,— сказал Дэвид.

— Наконец я прочла про войну,— сказала Марита,— мне только не понятно, что думаешь ты. Из книги это не ясно.

— Я сам разобрался только потом,— сказал он.— Поэтому я и не притворялся, что понимаю. Я старался ни о чем не думать, пока шла война. Я лишь чувствовал, наблюдал, действовал и еще решал боевые задачи. Вот почему книга не такая хорошая. Тогда я мало что понимал.

— Книга очень хороша. Особенно описание полетов и людей.

— Да, у меня неплохо получаются люди и всякие технические и тактические детали,— сказал Дэвид.— Поверь, это не болтовня и не бахвальство. Но, Марита, когда человек по-настоящему воюет, ему не до себя. Собственная персона не имеет значения. Стыдно было бы даже думать о себе.

— Но потом все понимаешь?

— Конечно. Но не всегда.

— Можно я прочту твои записи о нас?

Дэвид подлил в стаканы еще вина.

— И много она тебе рассказала?

— Говорит, что все. Она ведь прекрасная рассказчица.

— Мне бы не хотелось, чтобы ты читала,— сказал Дэвид.— Ничего путного из этого не выйдет. Я писал, еще не зная, что появишься ты. Я не могу запретить ей рассказывать, но читать все это тебе ни к чему.

— Значит, не нужно?

— По-моему, нет. Но запретить я не могу.

— Тогда я должна сознаться,— сказала девушка.

— Она дала тебе прочесть?

— Да. Она сказала, мне это необходимо.

— Черт бы ее побрал.

— Она не хотела никому зла. В то время она очень переживала.

— Так ты все прочла?

— Да. И это прекрасно. Намного лучше последней книги, а новые рассказы еще лучше.

— И даже часть про Мадрид?

Он посмотрел на нее. Она выдержала его взгляд и, не отводя глаз, медленно произнесла:

— Мне все это очень близко, потому что я чувствую все так же, как ты.

* * *

Женщины в баре пили шампанское. Обе выглядели свежими и хорошенькими.

— Мне это напоминает свидание с бывшим супругом. Чувствуешь себя жутко искушенной,— сказала Кэтрин. Она держалась необыкновенно весело и непринужденно.— Надо сказать, тебе эта роль подходит.— Она посмотрела на Дэвида с насмешливым одобрением.

— Как он тебе? — спросила Марита. Она взглянула на Дэвида и покраснела.

— И краснеть еще не разучилась,— сказала Кэтрин.— Ты только посмотри на нее, Дэвид.

— Она прекрасно выглядит,— сказал Дэвид.— И ты тоже.

— На вид ей лет шестнадцать,— сказала Кэтрин.— Итак, она созналась, что прочла твои записи?

— Ты бы могла спросить разрешения,— сказал Дэвид.

— Конечно, могла бы,— сказала Кэтрин.— Но я начала читать и так увлеклась, что захотела дать почитать и Наследнице.

— Я бы не позволил.

— Помни, Марита,— сказала Кэтрин,— если он говорит «нет», не обращай внимания. Это ровным счетом ничего не значит.

— Неправда,— сказала Марита. Она улыбнулась Дэвиду.

— А все оттого, что последнее время он не вел свой дневник. Как только он его допишет, ты сама все поймешь.

— С записями покончено,— сказал Дэвид.

— Так нечестно,— сказала Кэтрин.— Я ими жила, и это было наше общее дело.

— Ты не должен бросать, Дэвид,— сказала девушка.— Ты ведь напишешь, правда?

— Она хочет попасть в роман, Дэвид,— сказала Кэтрин.— Да и с появлением темноволосой подружки повествование станет интереснее.

Дэвид налил себе шампанского. Он заметил предупреждающий взгляд Мариты и сказал, обращаясь к Кэтрин:

— Я продолжу писать, когда закончу рассказы. А теперь поделись, как ты провела день?

— Прекрасно провела. Принимала решения и строила планы.

— О боже,— сказал Дэвид.

— Вполне невинные планы,— сказала Кэтрин.— Можешь не стонать. Ты же занимался весь день тем, что тебе нравится. Я очень рада, но и я имею право что-нибудь придумать.

— Ну и что это за планы? — спросил Дэвид с безразличным видом.

— Во-первых, нужно начинать что-то делать для выхода книги. Я собираюсь отдать рукопись перепечатать, все страницы, сколько есть, и позабочусь об

иллюстрациях. Мне надо встретиться с художниками и обо всем договориться.

— Ты, должно быть, перегрелась сегодня,— сказал Дэвид.— Надеюсь, ты понимаешь, что прежде, чем начать печатать, автор должен закончить рукопись.

— Не обязательно. Мне нужен всего лишь черновой вариант, чтобы показать художникам.

— Понятно. А если я пока не хочу ее перепечатывать?

— Ты что, не хочешь, чтобы книга вышла? А я хочу. Должен же хоть кто-нибудь заниматься настоящим делом.

— Каким же художникам ты хочешь ее отдать?

— Разным. Мари Лоренсен, Пасхину, Дерену. Дюфи[1] или Пикассо. Каждому по кусочку.

— И Дерен сюда же!

— Представь себе картину Лоренсен: Марита и я в машине. Помнишь, когда мы остановились по дороге в Ниццу?

— Об этом никто не написал.

— Напиши. Наверняка это интереснее и познавательнее, чем писать о куче аборигенов Центральной Африки в краале, или как там это у тебя называется, облепленных мухами и покрытых струпьями. Или о том, как твой подвыпивший папаша, разя пивным перегаром, пошатываясь, бродит среди них, гадая, кого из этих маленьких уродцев он породил.

— Ну, началось,— сказал Дэвид.

— Что ты сказал, Дэвид? — спросила Марита.

— Я сказал: большое спасибо за удовольствие отобедать вместе с тобой,— ответил он.

Дэвид ушел, но даже в ванной, принимая душ и переодеваясь в свежевыстиранный рыбацкий свитер и брюки, он думал об этом разговоре...

Завтра он вернется в свою далекую страну, к которой Кэтрин его ревновала и которую Марита любила и понимала. Он был счастлив в той, оставшейся в рассказе стране, но понимал, что счастье это не может быть долгим, и ему приходилось отрываться от всего, что он любил, и возвращаться к удушающей пустоте сумасшествия, которое теперь приняло форму неуемного желания практической деятельности. Он устал и оттого, что Марита помогала собственному врагу. Ему Кэтрин не враг, ну разве что в минуты тех бесплодных, бессмысленных любовных поисков, когда она пыталась стать им и таким образом оборачивалась врагом самой себе.

Ей так необходим враг, что она должна постоянно держать кого-либо возле себя, а ближе и беззащитнее, чем она сама, знающая все слабые и сильные стороны и бреши в нашей обороне, никого нет. Она искусно обходит меня с флангов и вдруг обнаруживает, что это ее же собственный фланг и последняя схватка, всегда в вихре пыли. Только пыль эта наша собственная.

Он ушел в спальню и, включив настольную лампу со своей стороны постели, улегся поудобнее и стал читать одну из книг У. Г. Хадсона. Книга называлась «Природа холмистых местностей», и он выбрал ее для чтения за самое скучное название. Возможно, чтобы успокоиться и войти в форму, вскоре ему понадобится много книг, и потому он старался отложить самые интересные на будущее. Однако, кроме названия, в книге не было ничего скучного. Он читал с удовольствием и незаметно перенесся в лунную ночь, где вместе с Хадсоном и его братом скакал верхом через белые заросли высокого, достающего до груди чертополоха, но постепенно стук костяшек и приглушенные женские голоса вернули его к реальности. Спустя некоторое время, когда он вышел из комнаты, чтобы приготовить себе виски с минеральной и снова уйти читать, они даже показались ему обычными людьми, занятыми обыкновенной игрой, а не персонажами некой невероятной пьесы, в которой и его заставили играть странную роль.

Он вернулся в спальню, почитал еще, не торопясь, выпил виски, выключил свет и задремал, когда услышал, как в комнату вошла Кэтрин. Ему показалось, что она долго возилась в ванной, прежде чем лечь рядом, и он боялся шевельнуться, стараясь дышать ровно и надеясь, что сможет заснуть.

— Ты не спишь, Дэвид? — спросила она.

— Кажется, нет.

— Не просыпайся,— сказала она.— Спасибо, что лег здесь.

— Я всегда тут сплю.

— Но ведь ты не обязан.

— Я тут сплю.

— Я рада, что ты пришел. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

— Ты не поцелуешь меня перед сном?

— Конечно,— сказал он.

Он поцеловал ее, и она показалась ему прежней Кэтрин, такой, какой она время от времени возвращалась к нему.

— Прости, я опять вела себя глупо.

— Не будем об этом.

— Ты меня ненавидишь?

— Нет.

— Мы можем начать все сначала?

— Не думаю.

— Тогда зачем ты здесь?

— Я подумал, тебе, должно быть, одиноко.

— Да.

— Нам всем одиноко,— сказал Дэвид.

— Ужасно. Лежать в одной постели и быть одинокими.

— Выхода нет,— сказал Дэвид.— Твои планы, твои затеи — все пустое.

— Но я же еще ничего не сделала.

— Сплошное сумасбродство, с самого начала. Мне надоели безумные затеи. Не только у тебя может лопнуть терпение.

— Я знаю. Но почему бы нам не рискнуть еще раз, а я постараюсь быть послушной? Я смогу. У меня почти получилось.

— Мне все надоело, дьяволенок. Опротивело до мозга костей.

— Ну, попробуй еще. Ради нее и ради меня.

— Ничего не выйдет. Мне все надоело.

— Она сказала, что ты прекрасно провел день, был весел и тебя ничто не мучило. Попробуй еще раз, ради нас обоих. Мне так этого хочется.

— Тебе всего очень хочется, а стоит добиться своего — и кончено, уже на все наплевать.

— На этот раз я вела себя слишком самонадеянно и нагло. Пожалуйста, попробуем еще раз?

— Давай спать, дьяволенок, и не будем об этом.

* * *

Утром он снова был на дальнем склоне горы. Слон больше не уходил от погони, а бесцельно бродил по окрестностям, останавливаясь время от времени попастись, и Дэвид знал, что скоро они его настигнут. Он пытался вспомнить, что он тогда чувствовал. Он еще не полюбил слона. Об этом он должен помнить. Он испытывал только жалость, так как устал сам и понял, каково приходится старикам. Он был очень молод, но уже смог понять, что значит глубокая старость. Он тосковал без Кибо и, думая о том, как Джума убил друга его слона, невзлюбил Джуму, а слон стал ему братом. Он понял, как много значила

[1] Французские художники.

для него та лунная ночь, когда они с Кибо шли за слоном и, настигнув его у лесной прогалины, увидели огромные бивни. Но тогда он еще не догадывался, что больше ничего хорошего его не ждет. Теперь он понимал, что они убьют слона и он не сможет помешать. Он предал слона, когда вернулся в деревню и рассказал о нем. Они убили бы и меня, и Кибо, будь у нас слоновая кость, подумал он и тут же понял, что это не так. Может быть, слон хочет найти место, где он родился, и они убьют его там. Это все, что им надо для полной удачи. Еще они хотели бы убить его там же, где они убили его друга. Вот было бы забавно. Они были бы очень довольны. Проклятые убийцы друзей.

Они подошли к краю густого леса, и теперь слон был совсем близко. Дэвид чувствовал его запах и слышал треск ветвей. Отец положил руку на плечо Дэвида, чтобы он отошел и подождал в сторонке, а потом достал из лежавшего в кармане кисета щепотку пепла и подбросил его в воздух. Падавший пепел слегка отнесло ветром в их сторону, отец кивнул Джуме и, пригнувшись, пошел за ним в заросли. Дэвид смотрел, как исчезали в зарослях их спины. Они шли совершенно бесшумно.

Дэвид стоял, не шелохнувшись, и слушал, как пасется слон. Он чувствовал его запах, такой же сильный, как в ту лунную ночь, когда он подобрался близко к слону и увидел великолепные бивни. Затем стало тихо, и запах слона больше не долетал до Дэвида. Потом раздался пронзительный вопль, грохот и выстрел из ружья 303-го калибра и сразу за ним — два раскатистых выстрела из двустволки отца 450-го калибра, потом снова постепенно стихающий шум и треск сломанных веток. Дэвид кинулся в заросли и увидел Джуму, ошеломленного, с окровавленным лицом, и отца, белого от ярости.

— Он напал на Джуму и сбил его с ног,— сказал отец.— Джума выстрелил ему в голову.

— А ты куда стрелял?

— Куда мог, черт побери, туда и стрелял,— сказал отец.— Ищи эти проклятые следы крови.

Крови было много. Одна яркая струя забрызгала стволы, листья деревьев и кустарник примерно на уровне головы Дэвида, другая, потемнее, с остатками содержимого желудка, брызнула гораздо ниже.

— Ранение в легкие и живот,— сказал отец.— Я надеюсь, черт побери, мы найдем его мертвым или парализованным,— добавил он.

Они нашли его в беспомощном оцепенении, скованного болью и отчаянием. Слон напролом пронесся по зарослям, служившим ему пастбищем, пересек участок редкого леса, и Дэвиду с отцом пришлось бежать по залитой кровью тропе. Потом слон снова углубился в густой лес, и внезапно Дэвид увидел его перед собой. Серый и огромный, он стоял, прислонившись к стволу дерева. Поначалу Дэвид видел его только сзади, и отец выступил вперед, а Дэвид пошел за ним, и они обошли неподвижного, будто корабль, слона, и Дэвид заметил, как струится и стекает по его бокам кровь. Отец поднял ружье и выстрелил, а слон повернул голову, и бивни тяжело и медленно проплыли в воздухе. Когда отец выстрелил второй раз, слон качнулся, точно срубленное дерево, и с шумом рухнул в их сторону. Но он не был мертв. Он был парализован и лежал с перебитой лопаткой. Он был неподвижен, но глаза его не потухли, и он смотрел на Дэвида. У слона были очень длинные ресницы, и за всю свою жизнь Дэвид не видел ничего более живого, чем эти глаза.

— Прикончи его выстрелом в ухо,— сказал отец.— Ну, давай.

— Стреляй сам,— сказал Дэвид.

Хромая, подошел окровавленный Джума, кожа со лба закрыла ему левый глаз, у переносицы была видна кость, ухо надорвано. Он молча взял у Дэвида винтовку, вставил ствол почти в самое ухо и дважды выстрелил, яростно дергая затвор. При первом выстреле глаз слона широко открылся, потом стал стекленеть, и из уха хлынула и потекла по серой морщинистой шкуре кровь. Кровь была не такого цвета, как раньше, и Дэвид подумал, что должен точно все запомнить, и запомнил, только ему это больше не пригодилось. Все величие и красота покинули слона, и он превратился в огромную, сморщенную груду.

— Ну что ж, с ним покончено, Дэви, благодаря тебе,— сказал отец.— Теперь разведем костер, и я немного подремонтирую Джуму. Подойди ко мне, горе Шалтай-Болтай. Эти бивни тебе запомнятся.

Джума подошел, усмехаясь, в руке он держал голый хвост слона. Они отпустили по этому поводу грязную шутку, и отец быстро заговорил на суахили. Он спрашивал, далеко ли вода, сколько потребуется времени, чтобы позвать носильщиков, которые вынесут отсюда бивни, как чувствует себя Джума и что у него, балбеса, сломано.

Послушав, что ответил Джума, отец сказал Дэвиду:

— Мы с тобой вернемся туда, где бросили рюкзаки, когда вошли за слоном в заросли. Джума пока соберет хворост и разведет костер. Медицинские инструменты в моем рюкзаке. Надо вернуться до наступления темноты. Заражение ему не грозит. Это не то, что рана от когтей. Пошли.

Отец знал, как переживал Дэвид из-за слона, и постарался в тот вечер и последующие несколько дней если не разубедить сына, то хотя бы помочь ему стать тем же мальчиком, каким он был раньше, до того, как возненавидел охоту на слонов. В рассказе Дэвид не упоминал об этом, он лишь описал все события и свое отвращение, и передал ощущение бойни, и то, как отрубали бивни, и как наспех оперировали Джуму, стараясь за неимением наркотиков смягчить и сдержать боль то добродушными насмешками, то бранью.

Дэвид лишь вскользь коснулся в рассказе доверительных отношений Джумы и отца, которые он не принял. Он попытался точно передать, как лежал под деревом скованный предсмертной агонией, захлебывающийся кровью гигант, той самой кровью, которую он не раз видел на своем теле, но раньше кровотечение останавливалось. Теперь же он захлебывался кровью, а огромное сердце все качало ее и качало, пока он следил за человеком, подошедшим, чтобы прикончить его. Дэвид гордился слоном, который все же почуял Джуму и внезапно напал на него. Не выстрели отец, слон убил бы Джуму, швырнув его хоботом на деревья. Слон атаковал, хотя смерть уже впилась в него. Поначалу рана показалась незначительной, пока кровь не заполнила легкие и стало невозможно дышать. В тот вечер, сидя у костра, Дэвид смотрел на Джуму, на шрамы на его лице, на то, как осторожно, чтобы не болели сломанные ребра, он дышит, и думал о том, что слон, возможно, узнал его и потому попытался убить. Хорошо, если это было так. Теперь слон стал его горем, каким долгое время был отец, и трудно поверить, думал Дэвид, что, несмотря на старость и усталость, слон оказался способен на такое. Он бы точно убил Джуму. А на меня он смотрел без ненависти. В его взгляде была только грусть, такая же, какую чувствовал я сам. И еще: в день гибели он навестил своего старого друга.

...Эта история, рассказанная мальчиком, подумал Дэвид, когда закончил писать. Он перечитал рассказ и заметил все огрехи, которые надо было исправить, чтобы читатель почувствовал, как все было на самом деле, и пометил эти места на полях.

Он помнил, как слон утратил свою величавость,

когда потух его взгляд, и как вздулась, несмотря на вечернюю прохладу, туша, когда они с отцом вернулись к нему с рюкзаками. Это был уже не слон, а лишь серая, морщинистая, разбухшая туша с огромными, в коричневых крапинках желтыми бивнями, из-за которых его убили. На бивнях запеклась кровь, и Дэвид сковырнул ногтем большого пальца несколько засохших, похожих на застывшие кусочки сургуча капель и положил их в карман рубашки. Это все, что осталось у него на память о слоне, если не считать проснувшегося понимания чувства одиночества.

Вечером у костра, после того как разделали тушу, отец попытался заговорить с ним.

— Он был убийцей, Дэвид,— сказал он.— Джума говорит, никто не знает, сколько людей он погубил.

— Но ведь они все пытались убить его, так?

— Еще бы! — сказал отец.— Такие бивни.

— Тогда как можно назвать его убийцей?

— Ну, как хочешь,— сказал отец.— Жаль, что ты так переживаешь из-за него.

— Жаль, что он не убил Джуму,— сказал Дэвид.

— Ну, это уж слишком,— сказал отец.— Джума — твой друг.

— Уже нет.

— Ты хоть ему не говори.

— Он знает,— сказал Дэвид.

— По-моему, ты несправедлив к нему,— сказал отец, и больше они об этом не говорили.

Позже, когда они благополучно добрались с бивнями до деревни и поставили их, соединив верхние концы, у стены хижины, слепленной из веток и глины, и бивни были такие высокие и толстые, что, даже потрогав их, никто не верил, что такие бывают, и никто, в том числе и его отец, не мог дотянуться до верхней точки в изгибе бивней; когда Джума, и отец, и он сам, и принесшие бивни, подвыпившие и продолжавшие праздновать мужчины стали героями, а Кибо — собакой героя, отец сказал:

— Хочешь помиримся, Дэви?

— Ладно,— согласился он, потому что уже решил, что больше он отцу никогда ничего не расскажет.

— Я очень рад,— сказал отец.— Так намного проще и лучше.

Потом их посадили в тени большой смоковницы на предназначенные для старейшин стулья, а бивни попрежнему стояли у стены хижины, и они пили местное пиво из тыквенных плошек, которое подавали молоденькая девушка и ее младший брат, превратившиеся из надоедливых приставал в слуг героев, и сидели они здесь же, на земле, рядом с отважной собакой героя, а сам герой держал в руках старого петушка, только что повышенного в звании до любимого бойцового петуха героев. Пока они сидели и пили пиво, кто-то ударил в большой барабан, и начался нгома [1].

* * *

Он вышел из комнаты, чувствуя себя счастливым, голодным и гордым. Марита ждала его на террасе, греясь под ярким солнцем раннего осеннего утра, о наступлении которого он и не подозревал. Утро было прекрасное, тихое и прохладное. Море внизу было зеркально-гладким, и по ту сторону залива белым изгибом вытянулся город Канны, за которым темнели горы.

— Я очень люблю тебя,— сказал он смуглой девушке, когда она поднялась ему навстречу

Он обнял ее и поцеловал, и она сказала:

— Ты закончил рассказ.

— Конечно,— сказал он.— Почему бы нет?

[1] Танец *(суахили)*.

— Я люблю тебя и страшно горжусь тобой,— сказала она.

Обнявшись, они прошли по террасе, глядя на море.

— Как ты? — спросил он.

— Мне очень хорошо, и я счастлива,— сказала Марита.— Ты действительно любишь меня или это просто утро такое хорошее?

— Должно быть, утро,— сказал Дэвид и поцеловал ее еще раз.

— Можно прочесть рассказ?

— Не стоит портить такой день.

— Разреши, я прочту, чтобы чувствовать то же, что и ты, а не просто радоваться за тебя, точно я твоя собачонка.

Он дал ей ключи, и она принесла тетради и прочла рассказ в баре, и Дэвид, сидя рядом, перечитывал его вместе с нею. Он понимал, что это плохо и глупо. Он никогда не поступал так раньше, потому что это было против его правил. Но он забыл об этом, как только обнял Мариту и увидел строчки на разлинованной бумаге. Он не мог удержаться, чтобы не прочесть рассказ вместе с нею и не поделиться тем, чем, как ему прежде казалось, нельзя и не следует делиться.

Закончив читать, Марита обняла Дэвида и поцеловала так крепко, что он почувствовал кровь на губе. Он посмотрел на нее, рассеянно слизнул кровь и улыбнулся.

— Прости, Дэвид,— сказала она.— Пожалуйста, прости. Я так счастлива и так горжусь тобой.

— Тебе понравилось? — спросил Дэвид.— Ты почувствовала аромат шамба, и как пахнет чистотой в хижине, и как стерты до блеска стулья старейшин? В хижине и вправду чисто, земляной пол постоянно подметают.

— Конечно. Ты писал об этом в другом рассказе. Я даже вижу, как держал голову Кибо, твой героический пес. Ты мне тоже понравился. Скажи, у тебя в кармане остались следы крови?

— Да, комочки размякли, когда я вспотел.

— Пойдем в город и отметим этот день,— сказала Марита.— Сегодня нам все позволено.

Дэвид зашел в бар, налил виски с минеральной и взял стакан к себе в комнату. Потом он надел брюки, рубашку и alpargatas [1], чтобы ехать в город. Рассказ ему нравился, но еще больше нравилась Марита. И хотя теперь его восприятие снова обострилось, ни рассказ, ни Марита не казались от этого хуже, ясность мысли вернулась без обычной печали.

Кэтрин делает, что хочет, и ладно. Он давно не ощущал себя счастливым и беззаботным. В такой день приятно летать. Жаль, здесь нет аэродрома, он бы взял напрокат самолет, поднял Мариту в небо и показал ей, как можно радоваться такому дню. Ей бы понравилось. Но аэродрома здесь нет. Так что забудь об этом. А было бы здорово. Еще хорошо бы прокатиться на лыжах. Впрочем, это можно осуществить через пару месяцев, если захочется. Как хорошо, что рассказ закончен сегодня и что она рядом. Марита со мной, и нет проклятой ревности к работе, и она понимает, что ты хочешь сказать и что тебе удалось. Она действительно понимает, а не притворяется.

* * *

Когда они вернулись, машина Кэтрин стояла на подъездной аллее с правой стороны посыпанной гравием дороги. Дэвид поставил «изотту» рядом. Они вышли и молча проследовали мимо маленького голубого авто, а потом по выложенной каменными плитами дорожке добрались до гостиницы.

[1] Сандалии из пеньки *(фр.)*.

Они прошли мимо комнаты Дэвида. Дверь была заперта, а окна открыты. Около своей двери Марита остановилась и сказала:

— До свидания.

— Что будешь делать после обеда? — спросил он.

— Не знаю,— сказала она.— Буду у себя.

Дэвид вернулся назад через внутренний дворик гостиницы и прошел в дом через главный вход. Кэтрин сидела в баре и читала «Геральд». Перед нею на стойке стоял стакан и наполовину пустая бутылка вина. Она подняла на него глаза.

— Изволили вернуться? — спросила она.

— Мы пообедали в городе,— сказал Дэвид.

— Как поживает твоя шлюха?

— Еще не обзавелся.

— Ну как же, а эта, для кого ты пишешь свои рассказики?

— Ах, рассказы!

— Да, рассказики. Жалобные рассказики о твоей юности и папаше, пьянице и мошеннике.

— Ну, уж мошенником-то он не был.

— А разве он не надул жену и друзей?

— Нет. Только себя самого.

— Какой-то он жалкий в этих твоих зарисовках, набросках или, лучше сказать, бессмысленных анекдотах!

— Ты хочешь сказать, в рассказах.

— Ты называешь это рассказами? — спросила Кэтрин.

— Да, — сказал Дэвид и налил себе стакан дивного, холодного вина, а день стоял ясный и солнечный, в симпатичной гостинице было чисто, уютно и светло, но все равно вино не смогло отогреть его сердце...

Слава богу, теперь рассказы у него получались. Книга получилась, потому что ему хорошо удались люди, о которых он писал, и еще детали, делавшие книгу правдоподобной. На самом деле ему нужно было только постараться вспомнить все точно, как было, и решить, что следует опустить, и тогда оставшееся обретало форму. Потом он мог, регулируя яркость световых лучей, как в фотокамере, высветить и усилить детали так, чтобы чувствовался зной и было видно, как поднимается над землею марево. Он знал, что теперь это у него получается.

Слова, сказанные Кэтрин о его рассказах для того, чтобы причинить ему боль, вернули его к воспоминаниям об отце и обо всем, что было связано с ним. Теперь, сказал он себе, постарайся снова стать взрослым и относись к происходящему, не раздражаясь и не переживая из-за того, что кто-то не понимает и не ценит написанного тобой. Она все меньше и меньше понимает твою работу. Но ты работал на совесть, и, пока можешь писать, ничего тебе не страшно.

Дэвид старался не думать о рассказе. Писать он любил больше всего на свете, а ведь он многое любил. Он понимал, что, работая над произведением, важно не переусердствовать, надо осторожнее, словно приоткрываешь дверь темной комнаты ровно настолько, чтобы взглянуть, как проявляется негатив. Дай рассказу отлежаться, говорил он себе. В жизни ты совершеннейший дурак, но в этом деле ты кое-чему научился...

Он прошел по каменным плитам террасы до угла гостиницы и стал смотреть на море. Дул легкий бриз. Три французских эсминца и крейсер, черные четкие силуэты которых были точно выгравированы на голубой поверхности, двигались боевым порядком, отрабатывая какой-то маневр. Корабли были далеко в море, и опознать их можно было только по размерам силуэтов. Потом они прибавили скорость, меняя порядок, и на носовой части обозначились различительные белые полосы. Пока девушки не вышли к нему, Дэвид наблюдал за кораблями...

— Пожалуйста, не дуйся,— сказала Кэтрин.

Они были в пляжных костюмах, и Кэтрин поставила на железный стул сумку с полотенцами и халатами.

— Ты тоже идешь купаться? — спросил Дэвид.

— Если ты не сердишься на меня.

Дэвид промолчал и продолжал смотреть на меняющие курс корабли. Еще один эсминец резко повернул, показав белую полосу на носовой части. Он задымил, и черный, постепенно расползающийся дымовой плюмаж потянулся за шедшим по флангу кораблем.

— Я пошутила,— сказала Кэтрин.— Мы ведь с тобой и не такое придумывали. Ты и я.

— Что они делают, Дэвид? — спросила Марита.

— Это противолодочный маневр,— сказал он.— Возможно, они работают вместе с подлодками. Наверное, пришли сюда из Тулона.

— Я видела их в Сен-Максиме или Сен-Рафаэле,— сказала Кэтрин.— Только вчера.

— Из-за дымовой завесы непонятно, что они делают,— сказал Дэвид.— Должны быть еще корабли, но нам их не видно.

— А вот и самолеты,— сказала Марита.— Какие красивые!

Три крошечных изящных гидроплана вынырнули из-за мыса и пошли низко над морем.

— Помнишь, в начале лета у них были учебные стрельбы, вот был грохот,— сказала Кэтрин.— Стекла дрожали. Как ты думаешь, Дэвид, они будут бросать глубинные бомбы?

— Не знаю. Думаю, нет, потому что в маневрах участвуют настоящие подлодки.

— Я тоже поплаваю, можно, Дэвид, ну пожалуйста? — сказала Кэтрин.— Я сразу же уйду, и вы останетесь на море совсем одни.

— Я же позвал тебя купаться,— сказал Дэвид.

— И то правда,— сказала Кэтрин.— Позвал. Тогда пошли вместе и будем друзьями, и пусть всем будет хорошо. Если самолеты пролетят низко, летчики непременно увидят нас в бухте, и это поднимет им настроение.

Самолеты действительно пролетели низко над бухтой, пока Дэвид и Марита плавали далеко от берега, а Кэтрин загорала на песке. Самолеты пронеслись над пляжем — три звена по три машины в каждом, и рев моторов оглушил бухту, а потом стих, и гидропланы ушли в направлении Сен-Максима.

— Даже не взглянули на меня,— сказала Кэтрин.— Какие деловые ребята.

— А чего ты ждала? Аэрофотосъемки? — спросил Дэвид.

После того, как они вышли из гостиницы, Марита вообще мало говорила, и на сей раз она тоже промолчала.

— А забавно было, когда Дэвид еще жил со мной,— сказала, обращаясь к Марите, Кэтрин.— Помню даже, я любила все, что любил он. И ты должна попробовать полюбить все это. Слышишь, Наследница? Правда, если он еще сам не все разлюбил.

— Ты ведь не все разлюбил, Дэвид? — спросила Марита.

— Он все променял на свои рассказы,— сказала Кэтрин.— А раньше он столько всего любил. Надеюсь, тебе нравятся его рассказы, Наследница?

— Нравятся,— сказала Марита. Она смотрела мимо Дэвида, куда-то в море, но он видел ее безмятежное лицо, мокрые волосы, шелковистую кожу и красивое тело.

— Это хорошо,— лениво произнесла Кэтрин, так же лениво и глубоко вздохнула и откинулась на халат, расстеленный на еще теплом от полуденного солнца песке.— Потому что это все, на что ты можешь рассчитывать. Раньше он многим увлекался, и у него все великолепно получалось. Замечательная была жизнь, а теперь он думает только об Африке, папашепьянице и газетных вырезках. Ох уж эти вырезки! Он тебе их еще не показывал, Наследница?

— Нет, Кэтрин,— сказала Марита.

— Значит, покажет,— сказала Кэтрин.— Он как-то пытался подсунуть их мне в Ле-Гро-дю-Руа, но я не поддалась. Там были сотни газетных вырезок и почти все с его фотографией, везде одинаковой. Уж лучше таскать с собой неприличные открытки. По-моему, он перечитывает их, оставшись наедине, и даже изменяет мне с ними. Должно быть, для этого у него и стоит мусорная корзина. Он с ней не расстается. Он сам говорил, что для писателя нет ничего важнее...

— Пойдем плавать, Кэтрин,— сказала Марита.— Я что-то замерзла.

— Я хочу сказать, для писателя корзина важнее всего,-- сказала Кэтрин.— Я даже думала, не приобрести ли для него что-нибудь этакое, достойное его таланта. Но он никогда не выбрасывает свои произведения в корзину. Он пишет в смехотворных детских тетрадочках и ничего не выбрасывает. Он только зачеркивает написанное и пишет на полях. Сплошное надувательство. И еще делает орфографические ошибки, и грамматические тоже. Ты разве не знала, Марита, что он с грамматикой не в ладах?

— Бедный Дэвид,— сказала Марита.

— Французский, конечно, он знает еще хуже,— сказала Кэтрин.— Ты бы видела, как он пишет по-французски. Диалог еще туда-сюда, нахватался немного. Но, по правде говоря, он абсолютно безграмотный.

— Совсем плохо,— сказал Дэвид.

— И я им восторгалась,— сказала Кэтрин,— пока не обнаружила, что он не в состоянии написать без ошибок даже простой записки. Правда, ты сможешь писать за него по-французски.

— Та queule [1],— весело сказал Дэвид.

— Вот это у него получается,— сказала Кэтрин.— Схватит несколько ходовых жаргонных словечек, которые устаревают еще до того, как он их выучит. Он и вправду неграмотный, Марита, и ты это еще почувствуешь. Почерк у него тоже отвратительный. Не может ни писать, ни говорить, как порядочный человек, ни на одном языке. Особенно на родном.

— Бедный Дэвид,— повторила Марита.

— Не могу сказать, чтобы я отдала ему лучшие годы,— сказала Кэтрин.— Поскольку живу с ним только с марта, но лучшие месяцы — наверняка. Самые интересные месяцы хочешь — не хочешь, и в этом есть и его заслуга. Жаль, все кончилось полным разочарованием...

— Возьми вырезки и сожги,— сказал Дэвид.— Это будет самое разумное. А теперь, дьяволенок, не хочешь ли поплавать?

Кэтрин лукаво посмотрела на него.

— Как ты догадался, что я это сделала? — спросила она.

— Что сделала?

— Сожгла вырезки.

— Правда, Кэтрин? — спросила Марита.

— Конечно,— сказала Кэтрин.

Дэвид встал и молча посмотрел на нее.

* * *

Они оделись на пляже. Дэвид взял сумку с купальными принадлежностями, и они вскарабкались по крутой тропинке вверх, к сосновому лесу, туда, где оставили старенький автомобиль. Дэвид сел за руль, и к наступлению ранних вечерних сумерек они вернулись в гостиницу. В машине Кэтрин сидела спокойно,

[1] Заткнись *(фр.)*.

и прохожим могло показаться, что они просто возвращаются с послеполуденного купания с одного из диких пляжей. Когда они оставили машину на подъездной аллее, боевые корабли уже скрылись из вида, и море за кронами сосен было синее и тихое. Вечер был хороший и свежий, как утро.

Войдя в свою комнату, он открыл чемодан. Стопка тетрадей с рассказами исчезла. Вместе с ними исчезли четыре пухлых конверта с газетными вырезками, присланные из банка. Тетради с зарисовками об их путешествии были в целости и сохранности. Он закрыл и запер чемодан, перерыл все ящики в шкафу, перетряхнул все в комнате. Он не мог поверить, что она способна уничтожить их. На пляже он вдруг подумал, что она могла бы это сделать, но мысль показалась невероятной, и он сам себе не поверил. Все они вели себя спокойно, осмотрительно и сдержанно, так, как их учили вести себя в случае опасности, чрезвычайных обстоятельств или катастрофы, и трудно было предположить, что такое могло произойти.

Он все еще надеялся, что это просто страшная шутка. С замершим, похолодевшим сердцем он снова открыл чемодан, перерыл его, запер и снова обыскал комнату.

Не было ни опасности, ни чрезвычайных обстоятельств. Произошла катастрофа. Нет, не может быть. Она, наверное, спрятала тетради где-нибудь — в кладовой, в спальне или у Мариты в комнате. Он все еще не верил в случившееся, но болезненное ощущение тошноты не оставляло его.

Девушки сидели в баре. Марита едва взглянула на него и сразу все поняла. Кэтрин, не поворачиваясь, смотрела за ним в зеркало.

— Где ты их спрятала, дьявол? — спросил Дэвид.

Она отвернулась от зеркала и посмотрела на него.

— Не скажу,— ответила она.— Я о них позаботилась.

— Лучше скажи,— сказал Дэвид.— Они очень нужны мне.

— Нет, не нужны,— сказала она.— Никчемные были рассказики. Я их терпеть не могла.

— Ну, а тот, про Кибо? — спросил Дэвид.— Ты ведь полюбила Кибо. Неужели не помнишь?

— Он тоже должен был погибнуть. Я хотела вырвать рассказ про Кибо, но не нашла его. Впрочем, какая разница, ты же сказал, что он умер.

Дэвид видел, как Марита посмотрела на Кэтрин, отвернулась и снова посмотрела на нее:

— Где ты их сожгла?

— И тебе я ничего не скажу,— сказала Кэтрин.— Ты с ним заодно.

— Ты сожгла их вместе с вырезками? — спросил Дэвид.

— Не скажу. Ты говоришь со мной, точно полицейский или учитель в школе.

— Скажи, дьяволенок. Я только хочу знать.

— Я за них заплатила,— сказала Кэтрин.— Благодаря моим деньгам ты мог писать.

— Знаю,— сказал Дэвид.— Это было очень великодушно с твоей стороны. Где ты сожгла их, дьявол?

— В железной бочке с дырочками, в которой мадам сжигает мусор,— сказала Кэтрин.

— Все сгорело?

Она сожгла их в бочке для мусора, сделанной из старой цилиндрической канистры для бензина, продырявленной в нескольких местах. Золу она перемешала ручкой от метлы, которой и раньше пользовались для этой цели, и на конце палки сохранился свежий черный налет. В ящике Дэвид нашел несколько обугливших кусочков знакомой зеленой обложки от тетрадей, клочки обгоревших газетных вырезок и два почерневших куска розовой бумаги, оставшихся от бланка службы по рассылке вырезок «Ромейке». На одном из них он мог разобрать строчку «Провиденс, Род-Айленд». Золу тщательно перемешали. Он разорвал на мелкие кусочки розовую бумажку с надписью «Провиденс, Род-Айленд» и бросил их назад в железную бочку. Дэвид подумал, что никогда не был в Провиденс на Род-Айленд. Он поставил палку на место в каменный сарай, где стоял и его гоночный велосипед, которому надо было бы подкачать шины, прошел через пустую гостиную, кухню и вернулся в бар.

— Зачем ты это сделала?

— Чтобы помочь тебе. Ты поедешь в Африку и напишешь все заново. Теперь ты взрослый и сумеешь во всем разобраться. Природа не могла сильно измениться. Впрочем, лучше бы ты написал что-нибудь об Испании. Ты говорил, что природа там напоминает Африку, но зато в Испании говорят на нормальном языке.

Дэвид налил себе виски, отыскал бутылку минеральной воды и долил немного в стакан. Он вспомнил тот день и то место в долине по дороге в Ле-Гро-дю-Руа, когда они набрали в бутылки такой же минеральной воды и как...

— Давай не будем говорить о писательстве,— сказал он Кэтрин.

— Но я хочу,— сказала Кэтрин.— Только о настоящей, нужной работе. У тебя так хорошо получалось, пока ты не начал писать эти рассказы. Отвратительнее всего было читать о грязи, о мухах, о жестокости и зверствах. Ты, похоже, просто погряз в них. А эта ужасающая сцена бойни в кратере и бессердечность твоего отца?

— Можно сейчас не говорить об этом? — спросил Дэвид.

— Нет, я буду говорить,— сказала Кэтрин.— Я хочу, чтобы ты понял, почему я должна была их сжечь!

— Напиши все, что хочешь сказать,— сказал Дэвид.— Я бы предпочел тебя не слышать.

— Нет. Но я могу пересказать их кому-нибудь, кто может написать,— сказала Кэтрин.— Если бы ты относился ко мне получше, ты бы сам записал. Если бы ты любил меня, то был бы рад помочь.

— У меня только одно желание — убить тебя,— сказал Дэвид. — И я не делаю этого только потому, что ты сумасшедшая.

— Ты не смеешь так говорить со мной, Дэвид.

— Неужели?

— Нет. Не смеешь. Не смеешь. Слышишь? Я не потерплю. Я разведусь с тобой.

— Милости просим.

— Тогда я останусь и не дам тебе развода.

— Тоже неплохо.

— Я сделаю с тобой все, что захочу.

— Уже сделала.

— Я убью тебя.

— Наплевать,— сказал Дэвид.

— Даже в такую минуту ты не способен выражаться как джентльмен.

— Интересно, что сказал бы джентльмен в такую минуту?

— Что он сожалеет.

— Ладно,— сказал Дэвид.— Я сожалею. Я сожалею, что встретил тебя. Я сожалею, что женился на тебе.

— Я тоже.

— Заткнись, будь добра. Расскажи это кому-нибудь другому. Я сожалею, что твоя мать встретила твоего отца и они зачали тебя. Я сожалею, что ты родилась и выросла. Я сожалею обо всем, что мы делали вместе, и о плохом, и о хорошем.

* * *

Дэвид сел в машину, и Марита устроилась рядом на переднем сиденье. Он вырулил на дорогу, слегка припорошенную прибрежным песком, и поехал, посматривая то на черное шоссе, то на заросли папируса, начинавшиеся поодаль слева, то направо, на пустынный берег и море. Он ехал прямо по шоссе, пока не показался быстро приближавшийся, окрашенный белой краской мост, и тогда он, рассчитав расстояние, стал сбрасывать скорость — убрал ногу с педали газа и слегка нажал на тормоз. Машина хорошо держала дорогу и при каждом нажатии на педаль равномерно замедляла ход, но при этом ее не заносило и не вело в сторону. Перед мостом он остановился, переключил скорость, а затем под нарастающий мерный рев двигателя снова помчался по шоссе в сторону Канн.

— Она все сожгла,— сказал он.

— О, Дэвид,— произнесла Марита.

Когда они въехали в Канны, в городе уже зажглись огни. Дэвид остановил машину под деревьями у входа в то самое кафе, где они впервые встретились.

— Может быть, хочешь зайти? — спросила Марита.

— Все равно,— сказал Дэвид.— Какая, к черту, разница!

— Можем просто покататься,— предложила Марита.

— Нет. Мне нужно немножко остыть,— сказал Дэвид.— Я только хотел проверить машину перед тем, как она уедет.

— Она уезжает?

— Говорит, что да.

Они сидели на террасе в рассеянной тени деревьев. Официант принес Марите коктейль «Дядюшка Пепе», а Дэвиду виски с минеральной.

— Хочешь, я поеду с ней? — спросила Марита.

— Думаешь, может что-нибудь случиться?

— Нет, Дэвид. Она и так достаточно навредила.

— Да уж,— сказал Дэвид.— Сожгла все, кроме записей о нашем путешествии. Тех, где я пишу о ней.

— Это прекрасный дневник,— сказала Марита.

— Не надо утешать,— сказал Дэвид.— Я написал и это, и то, что она сожгла. Так что не успокаивай.

— Ты можешь все восстановить.

— Нет,— сказал Дэвид.— Если вещь по-настоящему удалась, то по памяти ничего не восстановить. Читаешь и не перестаешь удивляться. Не верится, что ты мог так написать. Уж если что получилось, то повторить это нельзя. Настоящее удается только однажды. А в жизни каждому отпущено не так уж много настоящих удач.

— Но ты же можешь вспомнить! Ты должен!

— Нет. Это никому не дано. Их нет. Когда рассказ закончен, то дальше он живет сам по себе.

— Как зло она с тобой обошлась.

— Нет,— сказал Дэвид.

— Что же это тогда?

— Спешка,— сказал Дэвид.— Все произошло потому, что ей не хватило терпения.

— Надеюсь, ты будешь так же добр и ко мне.

— Ты, главное, будь рядом, чтобы я не убил ее. Знаешь, что она затеяла? Она хочет расплатиться со мной за рассказы, возместить ущерб.

— Нет!

— Именно так. Ее поверенные должны каким-то невероятным образом оценить их, точно ростовщики, а потом она возместит мне убытки в двойном размере.

— Не может быть, Дэвид, она не могла этого сказать.

— Именно так она и сказала. Осталось только уточнить детали. Больше того, возможность удвоить компенсацию, расплатиться щедро доставляет ей удовольствие.

— Что будешь делать?

— Не знаю. Но давай посидим здесь немного,— сказал Дэвид.— Спешить некуда. Она, должно быть, устала и легла спать. Я бы тоже поспал — чтобы проснуться, а рукописи на месте, и можно продолжать работать.

— Я буду с тобой, и однажды ты проснешься и сможешь работать так же чудесно, как сегодня утром.

— Ты очень славная,— сказал Дэвид.— Но в тот вечер, оказавшись с нами в кафе, ты нажила себе кучу неприятностей, правда?

— Ты меня недооцениваешь,— сказала Марита.— Я прекрасно понимала, что меня ждет.

— Конечно,— сказал Дэвид.— Мы оба понимали.

Уже почти ночью он подозвал официанта, расплатился, оставив солидные чаевые, запустил двигатель, включил фары и, отпуская сцепление, вдруг ясно осознал происшедшее. Он вспомнил все так отчетливо и живо, как в тот момент, когда впервые заглянул в бочку для мусора и увидел там пепел. Он осторожно нащупывал фарами путь из опустевшего, притихшего ночного городка и, миновав порт, выехал на шоссе. Марита сидела, прижавшись к его плечу, и он услышал, как она сказала:

— Я понимаю, Дэвид. Мне тоже было больно.

— Напрасно.

— Нет, не напрасно. Ничего не поделаешь, но мы что-нибудь придумаем.

— Хорошо.

— Правда, придумаем. Toi et moi [1].

* * *

В гостинице, когда Дэвид и Марита появились в зале, навстречу им из кухни вышла хозяйка. В руках она держала письмо.

— Мадам уехала поездом в Биарриц,— сказала она.— Вот, оставила письмо для месье.

— Когда она уехала? — спросил Дэвид.

— Тотчас после вашего отъезда,— сказала мадам Ороль.— Она послала прислугу на станцию за билетом в wagon-lit [2].

Дэвид распечатал письмо.

Пока мадам Ороль и Марита разговаривали, Дэвид прочел письмо и, спрятав его в карман, повернулся к мадам Ороль.

— Как, по-вашему, она держалась спокойно, когда уезжала?

— Возможно, не совсем, месье.

— Нужно ей помочь.

— Да, месье,— всхлипнула хозяйка, выкладывая на тарелку омлет, и Дэвид обнял ее.— Идите, поговорите с мадам,— сказала она,— а я накрою на стол. Ороль и племянник в городе, у них там дела — флирт пополам с политикой.

— Я накрою на стол,— сказала Марита.— Пожалуйста, Дэвид, открой вино. Может быть, выпьем лансонского?

Они выпили, мадам подала омлет, и они выпили еще, но уже молча.

Через несколько минут хозяйка извинилась и вышла, а когда вернулась, они выпили еще по бокалу, и потом пожелали спокойной ночи ставшей вдруг очень сдержанной мадам и отправились в комнату Мариты.

Кровать была постелена на двоих, и Дэвид спросил:

— Мадам?

— Да,— сказала Марита.— Кто же еще.

[1] Ты и я *(фр.)*.

[2] Спальный вагон *(фр.)*.

Они лежали рядом. Ночь была ясная и прохладная, и с моря дул легкий ветерок.

— Я люблю тебя, Дэвид,— сказала Марита.— Теперь я в этом уверена.

«Уверена? — подумал Дэвид.— Уверена. Ни в чем нельзя быть уверенным».

— Раньше,— сказала Марита,— когда я не могла оставаться с тобой до утра, я все думала, что тебе не понравится жена, которой не спится одной.

— А какой женой будешь ты?

— Увидишь. Счастливой.

Потом ему показалось, что он еще долго не мог заснуть, но впечатление было ошибочным, заснул он быстро, а проснувшись в предрассветном полумраке и увидев спящую рядом Мариту, почувствовал себя счастливым, пока не вспомнил о том, что произошло. Он не хотел будить ее, но когда она пошевелилась, он поцеловал ее перед тем, как подняться с постели. Марита улыбнулась и сказала: «Доброе утро, Дэвид»,— а он ответил: «Спи, моя единственная любовь».

— Хорошо,— сказала она и, быстро повернувшись на бок, точно маленький темноволосый зверек, свернулась калачиком и закрыла глаза. Ее длинные темные блестящие ресницы выделялись на фоне розовато-коричневой, по-утреннему свежей кожи. Даже во сне она оставалась сама собой. «Она очень красивая,— подумал Дэвид.— И кожа у нее необыкновенно гладкая, как у яванки». За окном быстро светлело, и краски на лице Мариты становились ярче. Дэвид стряхнул сон и, перекинув одежду через левую руку, прикрыл за собой дверь и пошел босиком по мокрым от росы каменным плитам.

В номере, где он жил с Кэтрин, Дэвид принял душ, побрился, нашел свежую рубашку и шорты, оделся, окинул взглядом пустую спальню, где впервые рядом с ним не было Кэтрин, а потом прошел на кухню, достал банку макрели в белом вине, открыл и, стараясь не облиться соусом, перенес ее с бутылкой холодного туборгского пива в бар, достал из заднего кармана конверт, раскрыл его и стал перечитывать письмо Кэтрин.

«Дэвид, ты поймешь меня, но я вдруг почувствовала, как это ужасно. Страшнее, чем сбить кого-то, скажем, ребенка машиной. Что может быть хуже? Глухой тяжелый удар о крыло или всего лишь легкий толчок, и вот уже остальное происходит само собой, и собирается, ужасаясь, толпа. И француженка пронзительно кричит ecrasseuse [1], даже если виноват был ребенок. Я виновата, я поняла, что виновата, и ничего не поправить. Сознавать это ужасно. Но что сделано, то сделано.

Постараюсь быть краткой. Я вернусь, и мы все уладим наилучшим образом. Не беспокойся. Я сообщу о себе телеграммой, напишу письмо и сделаю все, что нужно для твоей книги, только бы ты ее закончил. Рассказы мне пришлось сжечь. Хуже всего оправдываться, но, надеюсь, ты меня понимаешь. Я не прошу простить меня, но, пожалуйста, будь счастлив, а я сделаю все, что от меня зависит.

Наследница не причинила зла ни мне, ни тебе, и мне не за что ее ненавидеть.

На прощание я хотела бы сказать совсем другие слова, но не стану, потому что это покажется совершенно нелепым. И все же я скажу, поскольку я всегда поступала грубо и бесцеремонно, а последнее время, как мы оба знаем, еще и вопреки здравому смыслу. Я люблю тебя и буду любить всегда. Прости меня. Какое бессмысленное слово.

Кэтрин»

[1] Задавили *(фр.)*.

Дочитав письмо до конца, он прочел его еще раз. Ему не доводилось раньше читать писем Кэтрин. С того дня, как они познакомились в Париже в баре «Crillon», и до самой свадьбы в американской церкви на авеню Хош они виделись ежедневно, и сейчас, в третий раз читая ее первое письмо, он понял, что она волновала и по-прежнему волнует его.

Сегодня он попытается работать, но наверняка из этого ничего не выйдет. Слишком много переживаний, слишком много потерь, вообще слишком много всего, и даже новая его привязанность, какой бы логичной она ни казалась, как бы все ни упрощала, давалась ему мучительно тяжело, и письмо Кэтрин лишь обострило это ощущение.

Будет тебе, Бёрн, думал он, начав вторую бутылку пива, хватит изводить себя размышлениями о том, как все плохо. Выбирай одно из трех: либо попытайся восстановить уничтоженное, либо начни писать новую вещь, либо закончи проклятую повесть о путешествии. Подумай как следует и реши, что лучше. Ты же всегда рисковал, когда нужно было ставить на самого себя. Никогда не полагайся на людей, сказал как-то твой отец, а ты добавил: кроме тебя. «Нет, Дэвид, на себя бы я тоже не положился,— сказал отец,— но ты, маленький, хладнокровный шельмец, пожалуй, можешь рискнуть». Отец хотел сказать «бесчувственный», но пожалел его. А может быть, он именно это и имел в виду. Не обольщайся, накачавшись туборгским.

Итак, выбирай самый верный путь. Пиши новую вещь и как можно лучше. И помни, Марита намучилась не меньше тебя. Может, даже больше. Рискуй. Она так же, как ты, переживает утрату.

* * *

Только в полдень он наконец отказался от попыток работать. Первое предложение он написал сразу же, как только вошел в комнату, но дальше ничего не получалось. Он зачеркнул фразу и попробовал начать сначала, и снова полная пустота. Следующая фраза не шла, хотя он отчетливо слышал ее. Дэвид попытался написать еще одно простое предложение, но так и не смог. И через два часа ничего не изменилось. Дальше первой фразы он не двинулся, а все последующие получались чрезвычайно пустыми и бесцветными. Дэвид не сдавался целых четыре часа, пока не понял, что его настойчивость бессильна перед случившимся. Он признал это, но не смирился, закрыл и спрятал тетрадь с зачеркнутыми рядами строчек и отправился на поиски Мариты.

Она читала на террасе, греясь на солнышке, и, увидев выражение лица Дэвида, спросила:

— Ничего?

— Хуже, чем ничего.

— Совсем-совсем?

— Ни строчки.

— Давай выпьем,— сказала Марита.

— Давай,— сказал Дэвид.

Они вошли в бар, и вслед за ними в открытую дверь проник теплый день. День был хороший, как и вчера, или даже лучше, потому что лето уже уходило и каждый погожий день воспринимался, будто подарок. «Нельзя терять такой день,— подумал Дэвид.— Попробуем провести его хорошо и в свое удовольствие».

— Ты правильно сделал, что начал писать сегодня утром,— сказала Марита.— Но давай пока забудем об этом.

— Чудесный день,— сказал он.— Что будем делать?

— Пойдем купаться,— сказала Марита.— Жаль терять такой день.

— Хорошо,— сказал Дэвид.— Предупредить мадам, что мы опоздаем к обеду?

— Она уже приготовила для нас холодные закуски,— сказала Марита.— Я подумала, ты захочешь поплавать в любом случае, как бы тебе ни работалось.

— Очень предусмотрительно,— сказал Дэвид.— А как мадам?

— С синяком под глазом,— ответила Марита.

— Не может быть.

Марита засмеялась.

Они обогнули мыс по лесной дороге, оставили машину в одном из тенистых островков хвойного леса и перенесли корзину с едой и пляжные принадлежности в спрятавшуюся в прибрежных скалах бухту. Дул слабый восточный ветер, и когда они вышли из зарослей пиний к морю, оно было темно-синего цвета. Прибрежные скалы были красными, песок в бухте лежал желтыми складками, а вода над песчаным дном оказалась янтарно-прозрачной. Они спрятали корзину и рюкзак в тени самого большого из камней, разделись, и Дэвид, собираясь нырять, забрался на камень. Он стоял на камне под солнцем, голый и загорелый, и смотрел на море.

— Хочешь нырнуть? — крикнул он Марите.

Она покачала головой.

— Я подожду тебя.

— Нет,— крикнула она и вошла в воду по бедра.

— Ну и как? — спросил Дэвид сверху.

— Прохладнее, чем обычно. Почти холодная.

— Хорошо,— сказал он, и пока она, глядя вверх на Дэвида, медленно входила в воду, сначала по живот, потом по грудь, он выпрямился, привстал на мысках, на какое-то время застыл в воздухе, а потом метнулся вперед и вниз, легко разрезав воду, точно дельфин. Она поплыла к бурлящему кругу, но Дэвид уже вынырнул рядом, подхватил ее, обнял и прижался солеными губами к ее губам.

— Elle est bonne, la mer,— сказал он.— Toi aussi [1].

Они заплыли далеко, так далеко, что показался берег за соседним мысом, а потом и багряные вершины поднимавшихся над лесом гор. Они полежали на спине, глядя на берег, и не спеша поплыли назад, останавливаясь перевести дух, сначала когда скрылись из вида вершины гор, потом когда спрятался соседний мыс, а затем уверенно, в один прием миновали вход в бухту и выбрались на берег.

— Устала? — спросил Дэвид.

— Очень,— сказала Марита. Она никогда не заплывала так далеко.

— Сердце выскакивает?

— О, нет, все хорошо.

— Мы очень много проплыли, малышка. Я ни разу не видел с моря гор на заднем плане.

— Ты еще любишь меня?

— Да. Очень.

— Может быть, я совершила большую ошибку, и ты стараешься меня не обидеть?

— Никакой ошибки, и я нисколечко не стараюсь.

Марита взяла горсть яркой редиски и съела, не торопясь, запивая вином. Редиска была молодая, хрустящая и терпкая.

— Не расстраивайся из-за работы,— сказала она.— Все будет хорошо. Я уверена.

— Конечно,— сказал Дэвид.

Он вынул вилкой сердцевину артишока и съел, обмакнув свернутый комочек в приготовленный мадам горчичный соус.

— Хороший обед приготовила нам мадам, правда, Дэвид?

— Превосходный. Неужели Ороль ее поколотил?

— Не сильно.

— Она часто ссорится с ним.

— Он старше и был прав, поколотив ее, когда она разбушевалась. Она сама мне призналась под конец. И просила передать тебе...

— Что еще?

— Признание в любви.

— Она и тебя любит,— сказал Дэвид.

— Нет же. Глупый. Просто она на моей стороне.

— Давай договоримся: больше ничьих сторон нет.

— Нет,— сказала Марита.— Я и не хотела. Так получилось.

— Что получилось, то получилось. Нас просто издергали,— сказал он.— Сумасшедшая женщина издергала Бёрнов вконец.

— Бёрнов?

— Конечно. Бёрны — это мы. Потребуется немного времени, чтобы оформить бумаги. Но кто же мы еще? Хочешь, я дам письменное заверение? Надеюсь, с этим я справлюсь.

— Я тебе и так верю.

— Я напишу это на песке,— сказал Дэвид.

Они заснули крепким сном и, конечно, проспали чуть ли не до вечера, а когда Марита открыла глаза и посмотрела на спящего рядом Дэвида, солнце уже садилось. Дэвид спал, плотно сжав губы, вытянув руки вдоль тела, и ровно дышал, а женщина смотрела на его лицо, грудь, думая о том, что до сих пор видела его спящим только два раза. Она подошла к двери в ванную, взглянула на себя в высокое зеркало и улыбнулась. Одевшись, она пошла на кухню поболтать с мадам.

Позже, пока Дэвид все еще спал, она присела рядом с ним на кровать. В сумерках на фоне загорелого лица волосы его казались совсем светлыми. Она ждала, когда он проснется.

Они сидели в баре за виски с минеральной. Марита старалась пить поменьше.

— Ты бы мог ездить в город каждый день,— сказала она,— брать газеты, заходить в бар и читать их в одиночестве. Жаль, здесь нет клуба или кафе, чтобы ты обзавелся приятелями.

— Чего нет, того нет.

— Ну и что? Все равно тебе надо бывать одному, без меня, даже когда ты не работаешь. А то кругом одни женщины. Я хочу, чтобы у тебя были друзья. В этом Кэтрин была очень не права.

— Она не нарочно. Я сам виноват.

— Может быть, и так. А у нас будут друзья? Настоящие друзья?

— У нас уже есть по одному.

— А другие будут?

— Возможно.

— И с ними ты забудешь меня, потому что они окажутся интереснее?

— Интереснее не бывает.

— А вдруг появятся молодые, современные, знающие много нового, и я тебе наскучу?

— Не появятся, и ты не наскучишь.

— Я их убью. Я не Кэтрин, я тебя никому не уступлю.

— Вот и хорошо.

— Хочу, чтобы у тебя были друзья и фронтовые товарищи, с которыми можно было бы охотиться и играть в карты в клубе. Ну а женщины-подруги тебе ни к чему, правда? Молодые, современные, влюбчивые, по-настоящему понимающие тебя и тому подобное?

— Ты же знаешь, я не повеса.

— Они постоянно меняются,— сказала Марита.—

[1] Море прекрасно. И ты тоже *(фр.)*.

Каждый день новые. Никто не застрахован, а уж тем более ты.

— Я люблю тебя,— сказал Дэвид,— и ты моя жена. Главное, не принимай близко к сердцу. Просто будь рядом со мной.

В темноте Марита лежала, прижавшись к нему, и он ощутил прикосновение ее губ, груди, рук.

— Я твоя женщина,— шептала она в темноте.— Твоя. Что бы ни случилось, я всегда буду твоей. Ласковой и любящей.

— Да, моя любовь. Спи крепко. Спи сладко.

— Раньше засни ты,— сказала Марита,— а я выйду на минутку.

Когда она вернулась, Дэвид уже спал, и она забралась под простыню и легла рядом. Он спал на правом боку, и дыхание его было тихим и ровным.

* * *

Проснулся Дэвид рано, с первым проникшим в комнату утренним светом. За окном еще стоял серый полумрак, сосны были не похожи на те, что он привык видеть из своего окна, и казалось, море за ними начиналось гораздо дальше. Он отлежал правую руку, и она плохо слушалась. Стряхнув сон, Дэвид увидел чужую постель, а потом спавшую рядом Мариту. Он все вспомнил и, с нежностью посмотрев на нее, прикрыл ее молодое загорелое тело простыней, еще раз осторожно поцеловал и, надев халат, выбрался во влажное от росы утро, унося с собой ее образ. У себя в комнате он принял холодный душ, побрился, надел рубашку и шорты и пошел в рабочую комнату. Возле комнаты Мариты он остановился и тихонько приоткрыл дверь, постоял, глядя на спящую девушку, потом осторожно закрыл дверь и отправился к себе. Он приготовил карандаши и новую тетрадь, пять карандашей заточил и начал писать рассказ об отце и о том рейде в год восстания Маджи-Маджи, который начался с перехода через злополучное озеро. Он еще был в пути, преодолев только часть кошмарного перехода, когда восход солнца застал их на полдороге в таком месте, где идти надо было только в темноте. С наступлением невыносимой жары стали появляться миражи. К тому времени, когда утро за окном было в самом разгаре и с моря через сосны подул сильный свежий восточный бриз, он как раз проснулся в лагере под фиговыми деревьями, там, где по обнаженной породе обрыва стекала вода. На рассвете, сняв лагерь, они отправились в путь по лощине, переходящей в узкий, глубокий овраг.

Он понял, что знал об отце гораздо больше, чем когда писал этот рассказ в первый раз, и это было видно хотя бы по тем незначительным деталям, благодаря которым образ отца получался более осязаемым, и теперь в рассказе было уже не одно, а несколько измерений. Теперь он был счастлив, что отец оказался не так прост.

Дэвид писал уверенно и легко, и уже созданные раньше фразы ложились на бумагу четкими и завершенными, а он исправлял и кроил их так, точно работал над корректурой. Он не потерял ни единого предложения, и многие фразы остались без изменения, такими, как он их запомнил. К двум часам дня Дэвид восстановил, исправил и доработал столько, сколько раньше мог написать лишь за целых пять дней. Он попробовал работать дальше и теперь перестал сомневаться, что все утраченное полностью возвратится к нему.

Перевод с английского
и вступительная заметка
Виктора ПОГОСТИНА

Поэзия

Белла ВЕРНИКОВА

☆☆☆

Подрастали у мамы две дочки,
ясные глазки, в ямочках щечки,
маленькие дети спать не дают,
большие дети жить не дают.
Младшую дочку машина сбила,
что это было, где это было...
Живые дети спать не дают,
мертвые дети жить не дают.
Старше становится старшая дочка,
младшей всегда восемнадцать годочков,
мамина мука, дума одна,
дни без досуга, ночи без сна.
Старшей на свадьбу сшила наряды,
белой эмалью красит ограду,
моет, склонившись в пояс и плача,
каменный пол в изголовье у младшей.
В заботах длинный проходит день,
и обе дочки приходят ночью.
В дому у старшей растет сыночек,
в ограде младшей цветет сирень.

☆☆☆

Вот человек, тебе малознакомый,
но нравится тебе его лицо,
его невозмутимость, жест весомый
и редкое, но меткое словцо.
И, видимо, ему не безразлично,
как ты рукою прядку отвела,
в ответ на «как живешь» твое «отлично»
и то, как ты действительно жила.
Еще до слов и до прикосновенья
вы близки так, как будете ли впредь,
вам любо глубину за отраженье
принять и в это зеркало смотреть.
И, может быть, любовь, терпенье, время
соединят реальные черты
с придуманными, памятными, теми,
спасающими нас от пустоты.

☆☆☆

В мягком изгибе усмешливой нижней губы,
в серых мятежных глазах, в подбородке тяжелом,
в жизни, развеянной по городам и женам,
в чем углядела ты знаки совместной судьбы?
Он смалодушничал, ты подставляешь плечо,
выказал силу, ты рада к нему прислониться,
тихая женщина, наша подружка, сестрица,
тяжко тебе, но и весело, и горячо.
Ты и ребенка без спроса ему родила,
втайне надеялась, что не уйдет, обживется,
а не сумеет, веревочкой горе завьется,
вырастет дочка, обычные нынче дела.

Он позвонит, и все оборвется внутри,
кто рассудил, что быльем поросло, отболело,
он позвонит тебе просто по делу,
ладно, по делу, родной, говори! говори!

☆☆☆

Желтый цвет на синем — зелень,
а на красном — апельсин.

Звон капели мил в апреле,
в декабре невыносим.

Откровеннее в весеннем
освещении музей.

Жизнь зависит от везенья
в обретении друзей.

г. Одесса.

Александр ЩУПЛОВ

Баллада о ненаписанной балладе

Вертолет в небесах повисал, как хорал,
разбросав винты во всю ширь.
Ну, а справа готовился быть Урал,
ну, а слева была Сибирь.

И тайга была редкой в такую рань
(контур сосен был хрупко-хмур,
как почти рассыпающаяся ткань
из Музея восточных культур).

Все дышало балладой — тайга, весна,
стрелы просек, и волчий бег,
и петлистая снежная белизна,
выдававшая русла рек.

Все дышало балладой — и день, и наст,
и стеклянность небесных сфер.
Бултыхал в вертолете балладный балласт,
а в стихах — балладный размер.

В той балладе, несложенной, но живой,
для височных костей и уст,
оттолосок песни дрожал ножевой
и стоял позвоночный хруст.

В небе солнце зияло, будто дыра
иль сосновый распил в обхват.
В той балладе сшибалась с горой гора
и на брата бросался брат.

В той балладе предательство знало брод,
ну, а молодость знала страсть.
В той балладе облизывали не рот,
а трусливую лисью пасть.

По-щенячьи в ладони бросался смех,
детских страхов плелись кружева.
И бежал, как по нитке, на землю снег,
и баллада была жива.

...Я балладу эту потом напишу,
откуплю, отживу, отдышу.

А пока про нее позабыть прошу,
позабыть про нее прошу.

Потому что у сердца особый склад
на баллады — без дешевизн.
И одна из не сложенных нами баллад
называется просто — «Жизнь».

☆☆☆

Пуля — в пулю. Стрела — в стрелу.
Словно улей пришит к крылу.

Пчел и четок невпроворот.
Контур четок, коль молод рот.

Не прополот пар чугунка.
Вечный голод у стригунка.

Вечность ржанья означит: сыт.
Содержанье без формы — стыд.

А ведь можно поддать овсу,
кистью ложной порхать вовсю.

Гривну выручить за лубок.
Грина выучить назубок.

☆☆☆

Давай с тобой поедем в зоопарк,
где глухари сверкают, точно смальта,
и обезьяны радостно, за так
по цирковой программе крутят сальто.

Вздыхают черепахи, как блины,
и отражен весь мир в совиных глазках.
И ходят небывалые слоны,
большие, как слова в индийских сказках.

Наверно, счастье в том, чтоб гнать взашей
верблюда, что канючит булку с брынзой,
и вздрогнуть на виду у всех моржей,
поцеловавшись — медленно и быстро.

☆☆☆

Двадцатилетние догматики,
опережающие рост!
О, как вам хочется догнать-таки
свой голос — как котенку хвост.

Кукареку, мои духарики!
Небось устали сквозь озноб
катать в башке бесцельно шарики:
не в лузу — так соседу в лоб!

И скорбные стихотворения,
смешавшие и даль, и высь,
курганами скифотворения
в степях бесплодно вознеслись.

Пыхтишь, снуешь, с лопатой крутишься —
и отрываешь наугад
лишь оттиск воровского кукиша,
что побывал здесь век назад.

☆☆☆

Зачем ты уличаешь нашу юность?
Невыполнимость клятв всегда за ней!
Особая нацеленность и юркость
у мартовских снежков (левей, левей!).

Особая причаленность и тяга
у летних лодок (к тени на воде!).
Зачем нам эта тщетная отвага?
В сгоревшем доме не бывать беде!

...Так говорил я голосом мякинным,
пока черничным соком ночь цвела,
и понимал умом широкоспинным
лихую прорисованность крыла.

Мы пили чай, на сумерки косились,
включили телевизор, на беду.
И хоккеисты с клюшками носились,
как будто смерти с косами по льду.

„Юность" — СПТУ

«НЕВСПАХАННАЯ НИВА»

Взгляд читателя

Здравствуйте, уважаемая редакция журнала «Юность»!

С большим интересом и пониманием восприняли мы ваш призыв взять шефство над ПТУ. Мы — это члены областного литературного объединения имени В. Сосюры из Донецка, которым руководят поэты Борис Белаш и Елена Лаврентьева. Нашли мы в вашей статье-призыве много нового для себя, но у нас накопился небольшой опыт, которым хотим поделиться. На одном из наших заседаний мы посетовали на слабый приток молодых сил. Долго думали и рядили, как привлечь молодежь к творчеству. Ведь ПТУ — это невспаханная нива, которая при добром и умном с ней обращении может дать добрые плоды. Ребят можно и нужно вовлечь если не в творческий процесс, то, во всяком случае, привить любовь к литературе, хороший вкус и многое другое, что делает из юноши и девушки настоящего гражданина.

Вот тогда мы и решили, что нужно самим идти в ПТУ. Разъехались по своим городам и уже через месяц рассказали друг другу о первых знакомствах, встречах. Не сразу наладился контакт. Бывали случаи, когда аудитория в зале оставалась чужой и далекой. И начался поиск форм общения...

Конечно, мы будем привлекать композиторов, художников, театральные коллективы. Так, недавно решили создать свой поэтический театр, и первыми его зрителями стали учащиеся ПТУ нашего города.

Сейчас вместе с Домом работников культуры, который всегда поддерживает нас, заключаем договор с областным управлением профтехобразования о шефстве над училищами области. Это даст нам возможность не упустить из виду самые отдаленные ПТУ нашего края.

Благодарны вам за внимание к этой проблеме и поддержку.

Члены областного литературного объединения имени В. Сосюры
Г. Ходосенко, М. Орлова, И. Селезнева и другие

* * *

Дорогая редакция!

Мы, учащиеся СПТУ-73 города Солнечногорска, в девятом номере журнала «Юность» прочитали ваше предложение о шефстве над всеми училищами профтехобразования.

Убедительно просим вас найти организацию, которая согласилась бы установить с нашим училищем шефские связи.

Учащиеся группы № 101 и преподаватель эстетики Н. Потапова

От редакции: «Юность» обращается ко всем расположенным в Солнечногорске и ближайших районах учреждениям культуры и творческим учебным заведениям: «Друзья! Откликнитесь на просьбу ребят из СПТУ-73. Возьмите шефство над ними. Примите эстафету начинания журнала и сообщите нам об этом. И в дальнейшем мы расскажем о вашем участии в шефсте «Юности» в своих публикациях».

* * *

Прочитав первый номер «Юности», я зримо представила себе, сколько бездушия, чинодральства и снобизма встало на вашем благородном пути духовного шефства над учащимися СПТУ. Самого ценного, на мой взгляд, общественного начинания последнего времени. Почему самого ценного? Да потому, что в наступающую эпоху потребления нам стало легче отдавать рубли на благоденствие детей, нежели протягивать им свои собственные руки и сердца. А вы занялись настоящим подвижничеством души, полностью исключающим всякие денежные счеты.

Вы поняли, что наши девочки и мальчики больше всего на свете нуждаются именно в духовности. И первыми решили не призывать других, как это обычно делают журналы и газеты, а самим начать действовать в этом направлении. Надеюсь, ваш пример вдохновит художественную интеллигенцию нашей страны повернуться, наконец, лицом, а точнее, душой к миллионам тех ребят, от которых завтра во многом будет зависеть качество жизни всех нас. Пусть не забывают об этом те, кто с пренебрежением относится к ним сегодня. Приобщая рабочих подростков и юношество к духовным ценностям, как это делаете вы, общество в целом избавится от многих негативных проявлений и ускорит свой путь к желаемым преобразованиям.

Все мы — мамы и папы ребят, над которыми вы взяли свое замечательное шефство,— внимательно следим за вашими публикациями о нем.

Пожалуйста, пишите почаще и поподробнее о том, как оно проходит. И убедительно просим вас: настойчиво продолжайте, ни в коем случае не бросайте свое начинание. Оно необходимо нашим дерочкам и мальчикам, а значит, и всем нам.

С благодарностью от имени родителей С. А. Корсакова — мама учащейся СПТУ г. Ленинграда.

* * *

С возмущением прочитали в «Люберецкой правде» заметки Н. Самодоевой. По ее словам, получается, что не в «Юности» родилась эта идея, а в Люберецком горкоме партии. И не на плечах «Юности» движется до сих пор это благородное начинание, а всего лишь «при участии», среди других организаций, не имеющих к нему, как мы знаем, никакого отношения. Кроме фактических ошибок, в публикации искажена и сама идея шефства. «Занятия проводят ведущие научные и культурные учреждения». По-видимому, автор и до сих пор не ведает, что не «занятия», а общения с искусством происходят в «Гагаринце». И ведутся они студентами пяти творческих вузов столицы. И в этом главное отличие шефства...

Так не отголосок ли «старого мышления» перед нами? Когда на девятом месяце сопряженного со многими трудностями движения энтузиастов появляются желающие, как говорится, «прибрать его к рукам», оттеснив в сторону истинных подвижников.

Сергей Морозов, Галина Емельянова и другие студенты МГУ

«Личность»

Вестник № 3 культурного центра учащихся СПТУ

...И наяву

— Группа культуртрегеров из «Юности» проникла в систему профтехобразования и пытается провести там подрывную диверсионную работу. Необходимо срочно мобилизовать всех на борьбу с ними,— призывал суровый, металлический радиоголос.

— Боже, что мы вам такого сделали! — услышал я свой собственный вопль и проснулся в холодном поту. Сначала днем, а теперь уже и по ночам начинает казаться, что все вокруг ополчилось против нашего шефства над учащимися СПТУ. Начиная с водителя Софиуллина, высадившего на окраине города немолодую уже балерину, со всем ее рекви-

зитом, с «напутствием»: «А далее — пешком», — и кончая самим самым-самым профтехобразования, автоотвечающим на все наши «SOS!»:

— Мы... бед-ны-е... Ни-че-го... не мо-жем... ни-че-го... не мо-жем... ни-че-го... не...

Правда, однажды в ответ на нашу просьбу помочь с транспортом для поездок в Лыткарино, уже вполне живым голосом он нам ответил:

— Могу только «Чайку» вам свою прислать.

Но не прислал почему-то.

Как же мы с вами оплошали, ребята! Ведь могли, опыт у нас накоплен богатейший, провести парад, триумфальное шествие, грандиозное мероприятие, акцию, кампанию... И все бы у нас с вами тогда было. И счет в банке, и фанфарные извещения в эфире, и... не исключено, быть может, и та самая «Чайка», которую не прислал нам начальник. Который руководит профтехобразованием. И которому однажды так и показалось... Он, зажмурив глаза, сладко потянулся в своем почему-то совсем не бедном кресле и мечтательно изрек: «Вот если бы все уже оказалось позади... Шефство ваше триумфально закончилось, принесло большие результаты, и нас...»

Его широкая грудь подалась вперед, и ему, как видно, показалось вдруг, что на нее повесили большой о... Но на самом деле не повесили ничего. И потому груди пришлось вернуться на место. А нам — уйти на свои места. Тоже ни с чем. Почему? Да потому, наверно, что занялись не тем. Делом занялись. Слишком большим, трудным и серьезным. А за это, как известно, на грудь о... не вешают. Скорее, хлопот не оберешься. Вдобавок наказать могут. И это, конечно, знают, понимают лучше всех именно начальники...

Руководители одного творческого вуза (не будем пока его называть) в ответ на наш призыв подключиться к шефству изъявили желание немедленно выехать на место — «посмотреть площадку своих будущих выступлений». Выехали. И под маркой духовного шефства «Юности» заключили с СПТУ трудовое соглашение на... ремонт подростками вузовской «площадки». А с искусством как? Тут у них возникли большие сомнения. Не скучно ли будет ребятам ежедневно познавать культуру Отечества? Ремонтировать, конечно, веселее. А главное — полезнее для здоровья.

Утешает нас лишь то, что единственное, в чем мы не ошиблись,— это в самих ребятах. В том, что нужно им наше не фанфарное шефство. Завершая его первый этап и проведя в Лыткаринском СПТУ около ста общений учащихся с поэзией, театром, музыкой, балетом (примерно столько, сколько намеревались), мы решили провести среди них экспромт-анкету. И вот что выяснили. Ребятам понравилось... все. Быть такого не может! Не польстили ли они нам? При кажущемся порой всеобщем сопротивлении шефству — вдруг такая щедрость приятия его самими нашими главными героями. Правда, и тут не обошлось без ложки дегтя. Точнее, двух. Среди одобрительных ребячьих листков-ответов — два особых. Инициативу проявили мастер производственного обучения В. В. Деркачев и комсомольский секретарь училища И. Некрасов. Мастер пишет: «Понимая, что студенты ГИТИСа не являются великими артистами, все же хотелось бы искусства почище и побогаче». Примерно в таком же духе высказался и вожак местного комсомола. Явно видна позиция постороннего наблюдателя. Взгляд скорее судейский, нежели активно соучаствующего в начинании, увлекшем ребят. Иначе не разошлось бы столь контрастно их мнение с его — секретарским. Что касается суждения уважаемого Василия Васильевича Деркачева, можно было бы оборотить его на мрачный, унылый и пустой вестибюль, который так неуютно встречает шефов, на обвалившийся потолок в зале, который по-прежнему остается для них неприступным, и приходится общаться с ребятами то в читальне, то в спортзале... На многое такое можно было бы еще обратить его внимание. Но главное, суть не в том, конечно, а в несправедливости самой претензии к талантливым питомцам ГИТИСа — «не являются великими артистами» и «хотелось бы искусства почище и побогаче». Не таится ли в ней склонность к той самой пресловутой показухе и фанфарам, отсутствие которых в нашем повседневном шефстве сделало его столь притягательным для ребят и обременительным для их наставников? В училище, которое, скажем прямо, примерным никогда не числилось, за время нашего шефства не произошло ни одного правонарушения. И о том, что это вовсе не случайность, свидетельствует статистика: даже в образцовых СПТУ случаются по крайней мере 2—3 правонарушения за полугодие. Но не получается ли так, что в результате непродуманных действий Госкомитета РСФСР явились мы в СПТУ № 43 незваными гостями, а вследствие примененного им же по старинке «нажима» на педагогический коллектив училища стали там неудобными?

Как же быть дальше? Ведь, несмотря на все препятствия и сложности, продолжая шефство в Лыткарине, мы ни на минуту не прерывали свою работу по формированию намеченной нами вначале, но сорванной комитетами комсомола вузов комплексной программы с участием пяти творческих учебных заведений столицы. Практически она уже составлена, и с нового года мы намереваемся приступить к ее реализации. Так стоит ли делать это в том же СПТУ, когда речь идет не о каком-то одном, локальном, шефстве, а об отработке целостной системы, которую «Юность» собирается распространить затем по всей стране? Не проводятся же экономические эксперименты на отстающих предприятиях, в коллективах, не отличающихся прогрессивной направленностью, если эти эксперименты собираются затем превратить в повсеместную практику. А разве формирование духовности у учащихся СПТУ — дело менее тонкое, менее сложное, нежели хозяйственные реформы, и не требует обстановки и атмосферы наибольшего благоприятствования?

После долгих раздумий и колебаний мы решили: следующий этап шефства перенести в училище, где существует именно такая обстановка и атмосфера. Где руководство и педагогический коллектив давно уже ждут нас, настойчиво приглашают к себе. Но тут могут нас упрекнуть: «А ребята при чем? Почему вы бросаете лыткаринцев?» И в чем-то справедлив будет этот упрек. Учащиеся СПТУ № 43 действительно ни в чем не виноваты перед шефами. Но по причинам, от нас не зависящим, мы вынуждены уйти оттуда, твердо рассчитывая, однако, что не расстанемся с ними. Каким образом? Гагаринское СПТУ располагается неподалеку от них, в одном — Люберецком — районе Подмосковья. И двери их соседей будут открыты перед ними. Настоятельно просим руководство профтехобразования помочь лыткаринцам, желающим продолжать наше общение, присоединяться к нам после занятий. До встречи, ребята!

Всеволод МАРЬЯН,
редактор отдела науки

От редакции: Пока этот номер журнала готовился к печати, произошли события, о которых спешим сообщить нашим читателям. К шефству «Юности» подключился Центральный музей В. И. Ленина. Но в отличие от, к сожалению, формального партнерства бывшего Госкомитета по профтехобразованию главный музей Ильича намечает существенный вклад в начинание редакции: вместе с духовными ценностями Отечества учащиеся СПТУ № 10 («Гагаринец») начнут познавать бессмертное ленинское наследие, многомерную судьбу и личность вождя революции. Каждый второй вторник сотрудники ЦМЛ будут вести с ребятами живой и непринужденный разговор, раскрывающий страницы биографии Владимира Ильича.

После предварительного этапа шефства, сопряженного подчас с непреодолимыми трудностями, начался наконец основной. Открыл его ГИТИС — наш испытанный и надежный партнер. Подключились: МГУ, ВГИК, консерватория, суриковцы...

С лыткаринцами, как и обещали, мы не расстались. Правда, главным образом благодаря душевной щедрости и энергичным действиям директора «Гагаринца» Вадима Григорьевича Мениса. Именно он, обремененный и без того многочисленными заботами, взял на себя организацию доставки учащихся СПТУ № 43 на наши встречи.

Подробнее обо всем этом мы расскажем в следующем номере.

Наталия РАПОПОРТ

ПАМЯТЬ — ЭТО ТОЖЕ МЕДИЦИНА

Наталия Рапопорт сейчас известный ученый, доктор химических наук. Я лично с ней незнаком, но почему-то мне она представляется властной, уверенной в своих решениях женщиной, и лишь где-то, в глубине ее глаз, на самом дне зрачков привыкла столько лет прятаться трагедия ее детства. В 1953 году Наташа была школьницей, когда ее отца, известного патологоанатома, арестовали по так называемому «делу врачей». Об этом Наталия Рапопорт и написала свои безыскусные, не претендующие ни на сенсационность, ни на литературную изысканность воспоминания. Надо ли возвращаться к этим тяжелым дням? Думаю, что надо, ибо сегодняшнее поколение или совсем не знает об этом «деле», или слышало в четверть уха от старших, да еще неизвестно, от каких старших. Разговоры, оправдывающие преступления того времени, к сожалению, можно услышать и от людей, убеленных сединами. А мы не сможем двигать нашу историю вперед, если не будем знать ее назубок, вплоть до самых ее позабытых или припрятанных кусочков. Иначе белые пятна истории могут превратиться в пятна на совести.

В 1952 году Берия и другие сталинские опричники затеяли новую провокацию. Им нужно было громкое «дело», чтобы нагнать побольше страху, поднять зловещий престиж тогдашних органов безопасности. Сталин любил подобные «дела». В этот момент, видимо, и подвернулось письмо кремлевского врача Лидии Тимашук о том, что якобы существует заговор врачей, лечащих Сталина и других руководителей партии и государства. Впрочем, возможно, Тимашук заставили написать такое письмо угрозами. Возможно, что она была бериевским агентом-провокатором. Ответ на это трудно найти...

«Врачи-отравители» через несколько месяцев были освобождены из-под ареста, и, к счастью для них, не посмертно. Не ясно, имел ли сам Берия отношение к оправданию обвиняемых — может быть, спешил себя обелить и сбросить вину на других, может быть, понимал, что обстоятельства уже против него. Но 13 января 1953 года сообщение о заговоре врачей сработало — ему поверило большинство населения, и я, двадцатилетний студент Литинститута, в том числе. Среди названных имен врачей-«отравителей», правда, было несколько и русских фамилий (Виноградов, Егоров и Майоров). Мастерским прологом к этому аресту были искусно распространяемые слухи о том, что лекарства в наших аптеках отравлены. Аптеку на улице 25-го Октября закрыли на несколько месяцев. В газетах печатались черносотенные фельетоны. Москва была придавлена суеверным ужасом. Помню, как я трясся в тот страшный день в трамвае, и люди подавленно молчали с раскрытыми газетами в руках. Подумать только, нашего дорогого Сталина хотели отравить. Двое стояли в «курилке» Литинститута, окруженные вакуумным квадратом,— они были единственными студентами еврейской национальности. Ненависти к ним никто не выражал, но на них ***смотрели.*** *На собраниях, призывающих к бдительности, люди выступали с искренними слезами боли и гражданского негодования, клеймя «убийц в белых халатах». Вот какое было время, когда объективные подлости делали субъективно честно, а доносительство считалось патриотизмом. Цинизм и убежденные заблуждения перепутывались, а иногда и сливались. Вот это-то и было нравственным отравительством. Тем не менее нельзя считать, что в то время все люди потеряли совесть, мужество, опричнились. Наталия Рапопорт показывает и тех, кто был трусами, и тех, кто проявлял мужество милосердия, не отвернувшись от ее семьи.*

Эти воспоминания взывают о том, чтобы ничто подобное не повторилось. Забвение ведет к загноению исторических ран. Чтобы залечить исторические раны, память — это тоже медицина.

Евг. ЕВТУШЕНКО

Наташа Рапопорт. Снимок 1952 года.

Эти события моего детства много лет пролежали на дне души, я никогда не переставала ощущать их опаляющее дыхание. В свои 14 лет я была невероятно инфантильным, жизнерадостным, розовым ребенком и даже после правительственного сообщения от 13 января 1953 года не ждала личной беды (отец был арестован двумя неделями позже, как бы «вдогонку»). Катастрофа налетела на меня, как смерч. С тех пор минуло 35 лет, жизнь подарила много иных событий и встреч, но и сегодня всех своих новых знакомых я неизменно примеряю к тем годам: как бы они вели себя тогда?..

Я описываю события так, как сохранила их воспаленная и взорванная детская память. Здесь нет ни одного придуманного слова: это просто крохотный кусочек истории моего поколения.

1. Ночной визит

Счастливые люди плавно переходят из детства во взрослую жизнь, успевая по дороге насладиться всеми радостями промежуточных стадий. Меня из детства выбросило катапультой. На кнопку катапульты нажала дворничиха Люся, и поздним вечером в квартире взорвался дверной звонок. Как часто случалось в те вечера, родителей не было дома. Внезапный звонок напугал меня.

— Кто там?

— Наташа, открой, у вас течет батарея,— ответила дверь голосом дворничихи Люси.

Я удивилась. У нас ничего не текло.

— Течет, течет, открой немедленно, соседи снизу жалуются,— настаивала нетерпеливая Люся, и я открыла. За дверью стояли грабители. Их было так много, что они едва умещались на лестничной клетке. Один или два, для отвода глаз, были в добытой где-то военной форме, остальные — штатские, удивительно похожие друг на друга. Квартира мигом всосала их. Оттеснив меня к стене, они влились стремительным потоком, который в конце коридора распадался на отдельные ручейки, и каждый струился по своему руслу — в папин кабинет, в столовую, спальню, ванную, даже в уборную. «Военный» по-хозяйски уселся за стол в столовой, к нему со всех концов стали поступать сведения: книжных шкафов — шесть, платяных — три, стенных — пять... письменных столов... кроватей...

«Будут выносить мебель»,— догадалась я и немного успокоилась: похоже, убивать меня не собирались. Мебели мне было ничуть не жалко: честно говоря, бывало даже немного неприятно за папу, который устраивал неуместные скандалы из-за разлитого на клавиши клея, испачканного краской дивана или исцарапанного стола. «Может, все еще обойдется»,— надеялась я, забившись в угол за диваном у себя в комнате. Не хотелось только, чтобы забирали пианино: это была семейная реликвия, единственное, что сохранилось, когда в одну из первых бомбежек Москвы в наш дом на Староконюшенном попала бомба. Мне было тогда три года, и я ничего не помню, знаю только, что, вернувшись с дачи, родители на месте дома нашли оцепленную груду развалин, среди которых на чудом уцелевшей голой балке висело наше пианино. Оно потом никогда не держало строя, но его любили и берегли. Пианино было жалко.

...Грабители почему-то не спешили. С нетерпеливой обстоятельностью обследовали они квартиру — каждую пядь, каждый уголок, стены, антресоли, и меня вновь охватил ужас. С минуты на минуту могут вернуться родители, и тогда... Что будет тогда, я боялась себе представлять, но громко, унизительно и неудержимо стучала зубами в своем углу.

...От внезапного телефонного звонка сердце у меня подпрыгнуло, оборвалось и совсем как будто перестало биться, когда за мной в страшной спешке прибежал один из грабителей:

— Скорей, скорей, подойди к телефону, о том, что мы здесь, ни звука — смотри!

Ноги меня не слушались. Бандит волочил меня по полу, под конец почти нес на руках. Схватил трубку, сунул к уху, прошипел:

— Говори!

Был первый час ночи, звонить могли только родители. Горло у меня перехватило спазмом, вместо дыхания из легких вырывался какой-то сдавленный хрип.

— Наталочка,— услышала я мамин встревоженный голос,— ты не спишь? Мы скоро будем...

...Это было самое страшное, и это оказалось слишком. Я потеряла сознание.

2. Детство

Мои родители оба были ученые-медики. Папа — патологоанатом, очень известный, с мировым именем, славился не только высоким профессиональным искусством, но и исключительным остроумием: наверное, шутками он пытался скомпенсировать мрачность своей профессии. Папины шутки ходили по Москве, и я запоминала некоторые из них, чтобы осмыслить, когда подрасту. Помню, например, как папа рассказывал друзьям о мучениях чиновников от медицины, которым зачем-то срочно понадобилось уволить ректора 2-го Медицинского института, папиного друга Абрама Борисовича Топчана. Топчана любили все — и педагоги, и студенты, и, не находя подходящей причины, чиновники долго мучились над формулировкой приказа об увольнении. Наконец, так и не придумав ничего выразительного, написали скромно и просто: «Топчана Абрама Борисовича освободить от занимаемой должности».

— Дурачьс,— комментировал папа.— Чего уж тут было проще: Топчана, как Абрама Борисовича, освободить...

Друзья смеялись, но я ясно чувствовала, что на самом деле им вовсе не весело. Шел 1948 год...

Цветущую советскую биологию и медицину в это время сотрясали и «подрывали изнутри» два «лженаучных и буржуазно-космополитических» направления: вейсманизм-морганизм в генетике и вирховьянство в патологии. Моему папе часто звонили по ошибке, путая его с известным генетиком Иосифом Абрамовичем Рапопортом.

— Вы хотите поговорить с Рапопортом — вейсманистом-морганистом,— вежливо разъяснял ошибку папа,— а попали к вирховьянцу!

...Биологическая Москва очень потешалась, когда папа «сделал предложение» старухе Лепешинской. За «выдающееся открытие в биологии» (живое вещество, я проходила его в школе) Лепешинская получила Сталинскую премию.

— Ольга Борисовна, вы теперь самая богатая невеста в Москве,— сказал папа, встретившись с Лепешинской на каком-то заседании.— Выходите за меня замуж, а детей будем делать из живого вещества!

Злые языки потом острили, что первая часть папиного предложения Ольге Борисовне понравилась, а вторая — не очень.

Так шутил мой папа, когда, честно говоря, биологам и врачам было уже не до шуток...

Мама была физиологом. Всю жизнь работала с Линой Штерн — первой в Советском Союзе женщиной-академиком. Лина бросила в буржуазной Европе красавицу сестру и богатых родителей и, увлеченная идеями социализма, в середине двадцатых годов приехала в СССР, чтобы участвовать в строительстве самого справедливого в мире общества.

Я как-то слышала Линин рассказ о первом бале, который их отец дал в честь шестнадцатилетия дочерей (они были близнецами). Линина сестра пользовалась на балу бешеным успехом, элегантные, блестящие, богатые, светские молодые люди наперебой приглашали ее танцевать. О существовании второй именинницы, скромно сидевшей где-то в углу, все забыли...

— Вот в этот момент,— рассказывала Лина,— я поняла, что мой удел — это наука!

Она твердо следовала по избранному пути все девяносто лет своей необыкновенной жизни и умерла девственницей...

Лина была талантливая, умная, властная, с острым и ядовитым языком. Я в те годы ее недолюбливала и очень боялась. Лина требовала от своих сотрудников полного подчинения и самоотдачи, равной ее собственной. А у тех-то были мужья, жены, дети...

...Вернувшись из сибирской эвакуации, мама не сразу смогла устроить меня в детский сад и некоторое время таскала с собой на работу, смертельно опасаясь, как бы Лина об этом не узнала. Часть моего детства прошла в специально освобожденном для этой цели лабораторном шкафу (не тогда ли зародился мой интерес к естественным наукам?). Сидя там тихо, как подопытная мышь, я слушала звуки лаборатории: вот жужжат самописцы, регистрирующие ритмы сердца и мышечных сокращений у лягушек, вот гудят термостаты, а вот и Лина, ядовито и колко, как всегда, распекает своих сотрудников.

Мама однажды не выдержала:

— Лина Соломоновна, пожалуйста, не ругайте старших сотрудников в присутствии младших — это же роняет наш авторитет! Уведите к себе в кабинет и ругайте там всласть наедине!

— Пока я дойду до кабинета, у меня вся злость пройдет,— оправдывалась смущенная Лина. А до кабинета — я-то знала — было рукой подать!

Такой была Лина, и мама буквально разрывалась на части между нею и семьей, которую любила до полного самоотречения. Я, как на грех, часто болела — отзывалось холодное и голодное военное детство в Сибири.

— София Яковлевна, почему Наташенька так часто болеет? — недовольно спрашивала Лина.— Вы, наверное, уделяете ей мало внимания? (!)

Мне было лет десять, когда Лина внезапно совершенно исчезла из нашей жизни. Исчезла в никуда. Испарилась. Родители как-то невнятно отвечали на мои расспросы, а я и не настаивала: без Лины жизнь пошла куда лучше. Нет — и ладно! Мама теперь целиком принадлежала мне и какое-то время даже не ходила на работу. Конечно, я видела, что родители страшно удручены, но в глубине души, тайно и позорно, радовалась Лининому исчезновению. Шипящие, как змеи, слова — сокращ-щ-ще-ние ш-ш-ш-штатов,— бывшие ужасом родительской взрослой жизни, меня и вовсе не волновали.

Теперь, когда я заболевала, мама сидела рядом, читала вслух книжки или — не поверите — играла в «С утра до вечера!». Болеть стало счастьем!

Когда это счастье затягивалось, вызывали Мирона Семеновича Вовси. Он ласкал меня добрыми лучистыми глазами, выслушивал, выстукивал, щупал опухшие суставы, говорил с упреком:

— По глазам вижу, что ты опять носилась по лужам, нараспашку и без шарфа! Что, нет? Я же знаю, что да! Потерпи немного, всего несколько лет, подрастешь — все пройдет, тогда все лужи — твои!

Хорошенькое дело — несколько лет! Несколько лет тогда составляли солидную часть моей жизни, из которой Мирон Семенович Вовси норовил изъять лучшее ее содержание: он, к примеру, отлучил меня от школьной физкультуры, и когда весь класс, заходясь от азарта, гонял по залу мяч, я одна в полном унижении сидела на скамейке у окна.

И все же, несмотря на частые болезни, мне замечательно хорошо жилось в эти годы. С наслаждением, жадно поглощала я премудрости естественных и точных наук, сгорая от нетерпения, подгоняя учебники: скорей, скорей, что там дальше? С наслаждением решала трудные задачи — в общем, жила как за розовой ширмой, купаясь в теплых лучах всеобщей доброжелательности. А снаружи той порой творилась какая-то фантасмагория. Один за другим исчезали друзья моих родителей, их имена даже в собственном доме родители произносили шепотом. Непостижимым образом какое-то время я оставалась к этому абсолютно глуха: меня носили иные ветры, обдавая порой колючими ледяными брызгами.

Однажды дело было так.

В детстве я писала стихи. Это были, видимо, очень хорошие стихи — их даже читали на школьных утренниках. Иногда они звучали в исполнении автора, иногда — если длинные — разучивали по строфе несколько одноклассниц, а случалось — скандировал хором весь класс:

Среди полей, среди болот,
Среди лесных проталин
Переливается, поет
Родное имя — Сталин!

Я училась в образцово-показательной 29-й школе. На переменках директриса — страшная старуха Мартьянова, вся в черном,— стояла в середине рекреационного зала, а школьницы чинными парами ходили вдоль квадрата стен. Я, хоть и училась хорошо и вела себя примерно, Мартьянову страшно боялась. Старуха имела массу титулов. В школу часто приезжали делегации: посмотреть, как счастливо живут, как прилежно учатся московские школьницы.

Вот из этой-то школы и набрали пионеров, которые должны были открывать первомайскую демонстрацию: с цветами, впереди колонны демонстрантов, бежать на Мавзолей, чтобы вручить эти цветы членам правительства и лично товарищу Сталину! Событие это всколыхнуло мою поэтическую душу, в результате чего родились следующие чеканные строки:

И в этот день — все на Парад,
В одну организацию,
И юных ленинцев отряд
Откроет демонстрацию!

За этот ли шедевр, за прошлые ли заслуги, за отличные ли успехи и примерное поведение, но меня включили в колонну пионеров! Даже в самых фантастических снах не могло мне присниться такое счастье — стоять на Мавзолее рядом с товарищем Сталиным! Торжеству моему не было предела! Хвасталась я безудержно: дворовым приятелям, родственникам, еще не арестованным родительским друзьям: все, все должны были стать свидетелями моего триумфа!

Но случилось непостижимое. Накануне праздника, за один только шаг до немыслимого счастья и славы, зорким взглядом патологоанатома папа углядел у меня в горле «набухшие миндалины» (у меня в горле всегда были набухшие миндалины!..), объявил больной, уложил в постель и никуда не пустил! Это было неслыханно!!! Не папа ли гонял меня в школу, когда с появлением в доме новой интересной книги у меня немедленно «заболевало горло»?! Я чуть не утопила родителей в слезах, но папа, с которым, в общем, всегда можно было договориться, тут оказался неумолим. Так и сгорела великая моя мечта, оставив уродливый шрам обиды на родителей в доверчивой детской душе...

Минули годы. И вот уже меня — даром что самая младшая — первую во всем классе принимают в комсомол. И, ликуя, я требую от родителей большого праздничного гулянья, достойного моего грандиозного успеха. А за окном катится ноябрь 1952 года. И с головокружительной быстротой пустеют стулья за гостеприимным столом моих родителей... Оставшиеся друзья приходят неузнаваемые: тревожные, тоскливые, утратившие способность улыбаться... Сами родители надолго исчезают куда-то по вечерам (узнала уже потом: ждали ареста со дня на день и развозили по редким уцелевшим еще друзьям небольшие деньги и комплекты моей теплой — для Севера — одежды, чтобы при случае кто-нибудь отправил меня к маме в лагерь).

...13 января 1953 года. Совершенно оглушенная, я в пятый раз слушаю радио. Я приучена свято ему верить, но мозг отказывается понимать. Этого не может быть! Этого просто не может быть! Вовси, Мирон Семенович Вовси, добрые руки и лучистые глаза которого прошли через все мое богатое разнообразными хворями детство. И другие! Я ведь никого не обижала, исправно болея каждому по его специальности! И вот они, еще так недавно шутившие, смеявшиеся, ласкавшие меня в нашем веселом, вечно полном гостей доме, оказались «матерыми убийцами, выродками рода человеческого, злодеями, надевшими белые халаты с единственной целью — зверски умерщвлять преданных деятелей Коммунистической партии и государства...»

— Не может быть! — ору я, потрясенно глядя на окаменевших родителей.— Не может быть! Скажите им, что это неправда! Что вы стоите? Бегите! Скажите им, что это неправда!

— Да, это ошибка,— чужим, сдавленным голосом, очень осторожно подбирая слова, говорит неподвижная мама,— это ужасная ошибка, и она, конечно, скоро разъяснится. Но ты никому, поняла меня, никому не должна говорить, что ты этому не веришь. Ты можешь очень подвести папу и меня, а тебя (и тут следует страшная угроза) исключат из комсомола. Ни с кем на эту тему не разговаривай!

Легко сказать — не разговаривай, когда всюду — в школе, во дворе, в транспорте, в магазинах — только и разговоров, что о кровавых преступлениях разоблаченных вредителей. Я терплю, молчу, но потихоньку схожу с ума. Где правда? Где ложь? Где север? Где юг? Почва уходит у меня из-под ног, я совершенно теряю ориентацию.

...Как проклинал народ кровавых убийц и всю их нацию! Как жаждал возмездия! Как подогревали эти чувства все доступные в то время средства массовой информации! У врачей-евреев отказывались лечиться. Пахло погромом.

Широко обсуждался вопрос, как будут казнить преступников. Информированные круги в моем классе утверждали, что их повесят на Красной площади. Волновались: будет туда открытый доступ или только по пропускам. Сходились на том, что по пропускам: иначе любопытствующие подавят друг друга и могут снести Мавзолей. Кто-то утешал: ничего, наверняка будут снимать кино... А я видела во сне повешенного Вовси и просыпалась с криком...

И при всем этом ни на секунду, ни на самое короткое мгновение ни тени мысли, что это может случиться с моим отцом...

3. Урок истории

— Рапопорт, к доске!

...Глупую, коротконогую, злобную историчку мы терпеть не могли. Со скрипом и скрежетом тащила она нашу ладью

по высохшему руслу кастрированного ею исторического материализма. Ее послушать, так вся история человечества сводилась к смене одних общественно-экономических формаций другими общественно-экономическими формациями, происходившей из-за несоответствия между производительными силами и производственными отношениями. С безжалостностью вивисектора препарировала она живую, пульсирующую плоть истории, заставляя нас исследовать труп.

Но сегодня я была довольна, что меня вызвали. Мне нравилась тема — американская конституция. Я кое-что почитала о ней, сбегала к тете Юле, расспросила. Тетя Юля и Шабсай Мошковские были очень близкие друзья моей семьи. Они жили в нашем доме, построенном кооперативом «Медик». Мы въехали в него в 1951 году. Весь дом был заселен медицинской профессурой. Шабсай был членом-корреспондентом Академии медицинских наук, тетя Юля — историком, специалистом по средневековой Германии. В Германии, во Фрейбургском университете, она и училась. Об исторических личностях и фактах тетя Юля умела рассказывать так, будто была со всеми лично знакома и все происходило у нее на глазах. Я обожала ее рассказы. Мы вообще очень дружили, я делилась с ней многим, во что не посвящала родителей. Вот и на этот раз тетя Юля очень интересно рассказала мне историю молодой Америки, и я с удовольствием передавала ее рассказ одноклассницам. Класс слушал развесив уши.

Историчка поставила мне тройку! Это была сенсация! Для меня и четверка — событие. Я обалдела, класс возмутился.

— Она что, неправильно отвечала? Что она неправильно сказала?

— Нет, отвечала она правильно,— защищалась историчка,— но каким тоном? С какой интонацией? — И неожиданно завизжала, передразнивая:

— Ах, какая замечательная страна Америка, я завтра поеду в Америку, у меня тетя в Америке!

Ну, знаете, это уж слишком! Я быстро собрала портфель и, хлопнув дверью, вылетела из класса:

— Все! К черту! Больше в школу не пойду!

Родители не на шутку обеспокоены. Уму непостижимо: каждую минуту ждут самого худшего, а беспокоятся из-за такого пустяка! Идут к директору. В этой новой для меня школе директорствует математичка Вера Лукинична Кириленко, сухая и строгая, как ее предмет. Боже мой, сколько лет прошло, пока я осознала, какой подвиг совершила эта женщина! Не поверите: она заставила историчку публично передо мной извиниться. Произошло это на следующем уроке истории. Вера Лукинична вошла в класс вместе с историчкой, села на заднюю парту.

Устремив куда-то вбок, на портрет Сталина на стене, бесцветные, ничего не выражающие глаза, историчка вяло промямлила:

— Я тут думала об ответе Рапопорт на прошлом уроке. Пожалуй, низкопоклонства перед Америкой в ее ответе не было. Но она не подчеркнула, что со времен принятия конституции в Америке многое переменилось, и сейчас там нет и следа объявленных конституцией свобод. Все же я решила исправить Рапопорт оценку на четверку. Дай дневник.

Опешив от неожиданного поворота событий, я подала дневник. Урок этот происходил через два дня после визита ночных гостей, но историчка не знала, что извинялась она не перед комсомолкой и отличницей Наташей Рапопорт, а перед дочерью убийцы, члена антисоветской террористической организации. Такой вот парадокс истории.

4. Обыск

...Обморок был такой глубокий, что я не слышала, как вернулись родители, как увезли папу. Очнулась глубокой ночью, все еще в полном неведении. Мама стояла около меня на коленях. Чужой мужской голос спрашивал:

— Это ваша дочь?

— Да.

— Ваша и арестованного?

Арестованного?! Мощная волна подхватывает меня, вертит, молотит, ломает кости и уносит навсегда — из розового мира, из счастливого детства... Второй раз я прихожу в себя уже дочерью врача-вредителя.

...В квартире идет обыск. Для профессионалов — занятие рутинное, скучное, почти автоматическое. Каждую книжку — по листочку. Каждую подушку. Каждый ящик. Вот нашли письмо моего приятеля Яна, с которым я подружилась прошлым летом в Пярну. Просматривают, спрашивают, есть ли еще письма, все отбирают. Откуда мне знать, что отец Яна — репрессированный эстонский священник, крупный деятель эстонской церкви, а мое знакомство и дружба с Яном — одно из звеньев в преступной деятельности моего отца!

...Скучно, скучно... Вот нашли несколько книг Фрейда, листают, шуршат, приобщают к делу. Вот забрали трофейную финку. И вдруг... Сенсация!!! Найдена ампула с ядом! В ящичке с лекарствами, среди других, безобидных ампул! На этой череп и кости и надпись: «Яд!» Вот она, такая необходимая, такая недостающая, совершенно неопровержимая улика! На нашедшего смотрят с уважением и завистью.

— И сколько же человек можно одной такой ампулкой отправить «на боковую»? — осведомляется у мамы старший лейтенант — единственный на обыске в военной форме.

— Никого этой ампулой не убьешь,— пытается объяснить мама.— Это лекарство, атропин, сердечное средство. У Якова Львовича был инфаркт, и мы держим дома сердечные средства на всякий случай...

— Ну-ну, понятно, на какой случай,— язвит лейтенант,— понятно, какое сердечное — сколько уже сердец этим сердечным остановили?

Он счастлив.

Все мамины попытки объяснить, что такое атропин, разумеется, бесплодны. О найденном яде сообщают куда-то по телефону (ночь, а там не спят!), ампулу тщательно укутывают ватой и запечатывают в какой-то коробок, этот коробок помещают в другой коробок, еще одна печать... Составляют акт о том, что в квартире арестованного найден яд, требуют, чтобы мама подписала. Мама категорически отказывается. Уговаривают, грозят. Говорят, что после окончания обыска она поедет с ними. Надолго поедет? Навсегда? Я в отчаянии. Но мама не подписывает.

...От приподнятого настроения наших «гостей», связанного с находкой яда, вскоре не остается и следа. Несчастье с их коллегой — он порезался бритвой, на пальце — капля крови. Порезался в доме врача-вредителя! Дни его сочтены! Он сидит на стуле белее стены, вытянув вперед пораненную руку, товарищи окружили его и встревоженно переговариваются. Что предпринять? Можно ли помочь, спасти? Своеобразный выход предлагает моя мама — она приносит потерпевшему пузырек с йодом. Возбуждение достигает апогея: мазать или не мазать? Один доброволец с мужеством отчаяния капает каплю йода себе на ноготь, все по очереди нюхают. Решают не рисковать. Куда-то звонят, вызывают машину и увозят пострадавшего — наверное, в спецполиклинику, где царапинку смажет и перевяжет проверенный и надежный хирург.

...Обыск окончился. Квартиру опечатали, оставив нам мою комнату, коридор и места общего пользования. Маму, как и предупреждали, увезли. Ни она, ни я не знали, увидимся ли еще когда-нибудь. Мама вернулась! Через сутки. Оказалось, ее просто возили на дачу, где тоже перерыли все до последней пылинки. Мама рассказывала, что, вернувшись, застала меня на стуле в коридоре в той же позе, в какой оставила; впечатление было такое, что я не пошевелилась. Сама я ничего не помню об этих сутках, кроме надрывного воя нашей собачки Топси. Вероятнее всего, мы выли дуэтом.

С мамой вернулась моя жизнь.

5. Дочь врача-вредителя

Я была болезненно привязана к маме. В детстве, когда они с папой куда-то уезжали, я просто заболевала, переставала есть, меня рвало, и мне все казалось, что я умру, так и не дождавшись маминого возвращения. Я считала дни, часы, минуты. Для мамы я была готова на все. Мама так радовалась моим успехам — после ее смерти они надолго утратили для меня смысл.

В те дни маме было очень важно, чтобы моя жизнь не нарушилась из-за папиного ареста, чтобы я продолжала ходить в школу. И я ходила. Но с этого момента два страха стали полновластными хозяевами моей жизни, два страха, слившиеся в один непрерывный ужас: дневной страх — как бы о моем позоре не узнали в школе, и ночной — как бы не забрали маму. Ночной страх начинался в одиннадцать вечера и продолжался до пяти утра: почему-то я была уверена, что ни раньше, ни позже маму арестовать не могут. Он был так силен, что в эти часы меня била крупная дрожь, как в припадке; я даже спать ложилась не в комнате, а в коридо-

ре на раскладушке, всю ночь напряженно слушая звуки и шорохи подъезда, и при стуке лифта на ближних этажах кричала от ужаса.

Дневной страх владел мною в школьные часы, превращая меня на это время в маленькую сжатую пружину. Только три девочки из класса знали, что у меня стряслось, три девочки, жившие в нашем доме. Родители строго-настрого запретили им говорить хоть слово даже самым близким подругам — понимали, наверное, что завтра каждая из них может оказаться в моем положении —в таком доме живут, кооператив-то «Медик»! И девочки молчали, хотя легко представить, чего им стоило носить в себе такую сенсационную тайну! А тайна рвалась наружу, жгла кончик языка...

Я изо всех сил старалась казаться естественной, такой, как всегда,— общительной и жизнерадостной. И одна из трех не выдержала. На переменке эта девочка отозвала меня в сторону:

— Ты что, думаешь, если мы молчим, ты можешь вести себя как полноправный член нашего общества?

Трах! Месячное напряжение разряжается звонкой пощечиной, которую я впечатываю в лицо обидчицы. Класс мгновенно замыкает нас в круг:

— Что случилось?

Поборница чистоты рядов глядит на меня со смесью изумления и ненависти, и всем своим вмиг ослабевшим существом, едва удерживаясь на ватных ногах, я физически ощущаю, как правда заполняет ей рот, просачивается сквозь зубы и сейчас, вот сейчас сорвется с губ...

Звенит звонок! Он выводит меня из оцепенения: я лечу в класс, лихорадочно собираю свои вещи и ухожу из школы — может быть, навсегда...

Как мы жили? Маму уволили на следующий день после папиного ареста. Все имевшиеся в доме деньги, облигации, сберкнижку отобрали при обыске. В этом была, вероятно, своя логика: хотели посмотреть, кто бросится к нам на помощь, и, потянув за эту нить, обезвредить всю злодейскую цепь, до самого последнего звена. Люди понимали это и боялись. Соседи, встречаясь со мной во дворе, отводили глаза и норовили проскользнуть мимо: не заметили, не узнали. Но не все. Никогда не забуду Беклемишевых — Владимира Николаевича и Нину Петровну — старых русских интеллигентов, наших соседей. Владимир Николаевич — высокий, красивый человек с бородкой клинышком, академик, как будто сошел с портретов великих ученых девятнадцатого столетия, аристократов духа. Встречаясь с мамой во дворе, он теперь не просто с ней здоровался — нет, он буквально кланялся ей в ноги, давая окружающим вызывающий пример мужества и благородства. Его жена Нина Петровна в один из первых после папиного ареста дней пришла к нам в дом (!), предложила маме денег. Мама не взяла — у нее ведь не было никаких шансов когда-нибудь их отдать, но Нина Петровна не ушла до тех пор, пока не получила с мамы твердого обещания обращаться к ним в любой момент, днем и ночью, за любой помощью!

...Однажды меня встретила во дворе и привела к себе домой тетя Юля Мошковская. Она меня накормила, обо всем расспросила, дала с собой еды для мамы и быстро выпроводила: не дай бог вернется с работы Шабсай и застанет эту картину — умрет от ужаса! Шапсай был замечательный, добрый, очень интересный, безусловно, порядочный человек, обожал детей, и они платили ему взаимностью. Я, например, звала его Папсик (как бы зам. папы), любила его нежно, хотя и с некоторым оттенком снисходительности, находя в нем массу странностей: например, вместо чая он пил неприличного цвета горячую воду, тщательно мыл руки, ел только абсолютно свежие продукты, в рот не брал спиртного и вообще был чрезвычайно осторожен. На его фоне тетя Юля, с удовольствием выпивавшая с друзьями рюмку-другую за праздничным столом, казалась чуть ли не алкоголичкой, и ее сын-первоклассник написал в школьной анкете в ответ на вопрос, пьют ли его родители: «Отец — непьющий, мать — пьющая»! Встревоженная учительница пришла к ним домой и была немало обескуражена, когда дверь ей открыла прелестная женщина с тонким, интеллигентным лицом, а на стенах она увидела картины замечательных художников с дарственными надписями авторов... Тетя Юля потом долго служила мишенью разнообразных острот.

На фоне Шабсаевой постоянной осторожности тети Юлина бесстрашная импульсивность граничила с безрассудством, и я ее оценила.

...Забегала Наташка Томилина, девочка из нашего дома, учившаяся в параллельном классе. Раньше она редко бывала у нас в доме, а теперь зачастила. Вытаскивала из портфеля неизменный бутерброд и яблоко:

— Слушай, съешь, а? Мать узнает, что я в школе не завтракала,— убьет!

Ни разу не бросив даже беглого взгляда на опечатанные двери, не поинтересовавшись, почему я сижу на раскладушке в коридоре — ну, живет себе человек в коридоре на раскладушке, подумаешь, обычное дело,— Наташка доставала из портфеля учебники:

— Слушай, реши физику (алгебру, химию, геометрию...). Галиматью какую-то сегодня проходили. Посмотри.

Наташка до сих пор уверяет, что делала это без малейшего умысла: просто какой же нормальный человек станет сушить свои мозги над решением дурацких задач, когда для достижения той же цели есть гораздо более простой, элегантный и надежный путь. Врет, наверное. Она сама прекрасно училась, и решать «дурацкие задачи» ей ничего не стоило. Но так или иначе, а благодаря Наташке я оставалась в курсе школьных новостей, школьных сплетен и школьной программы, и, когда вернулась в школу, мне почти не пришлось догонять...

Еще помогали жить классики. В коридоре стоял книжный шкаф с подписными изданиями: Толстой, Пушкин, Гюго... Мама носила их к букинистам, возвращалась с хлебом, крупой, молоком — жили. Но классики покидали наш дом в объемистых и увесистых сумках, и кто-то написал донос: мама продает вещи из-под печати. Снова обыск. Мне он чуть не стоил жизни: я ведь думала, что это приехали за мамой. Приехавшие снимают нетронутые печати, сразу видят, что донос ложный, чертыхаются, но обязаны проверить. И все сначала — по описи. А я бьюсь и кричу. Нет, маму не забрали. Опечатали все заново. Уехали.

...И была одна семья, которая помогала постоянно.

6. Губера́

С тетей Раей Губер моя мама сидела за одной партой. Гимназическую эту дружбу они пронесли через всю жизнь, были ближе сестер. Когда я родилась, моя мама заболела тифом, и тетя Рая кормила меня вместе со своей Маришкой, родившейся на два месяца раньше. Был там еще Шурик, старше нас на год.

— Я вскормил тебя грудью своей жены,— постоянно попрекал меня Андрей Александрович Губер, справедливо полагая, что у человека, вскормленного *такой* грудью, не должно быть *таких* недостатков. Губера были моей второй семьей.

Какая это была красивая пара! Тетя Рая — маленькая, изящная, веселая; Андрей Александрович — высокий, элегантный, сероглазый, заводила и душа наших детских игр. Лапта, штандр, салочки, горелки, лото — он играл изобретательней и азартней всех!

Андрей Александрович был из обрусевших немцев, его предки переехали в Россию еще в петровские времена. Искусствовед, профессор Московского университета, специалист по Ренессансу, Главный Хранитель Музея изобразительных искусств имени Пушкина. Он был замечательный рассказчик — с моим отцом они составляли ослепительный дуэт, на мелодиях которого мы росли.

Музей в ту пору был для нас родным домом. Нас знали все музейные «бабушки», мы бегали туда слушать лекции, шатались по залам, иногда Андрей Александрович брал нас в запасник.

Несмотря на высокое положение, у Губеров был очень трудный быт. Они жили в огромной коммуналке на улице Москвина, в небольшой комнате, разделенной, как в поезде, на купе. Сходство усиливалось тем, что Шурик спал над Маришкой на двухэтажной кровати — обыкновенную поставить было негде. Основное пространство занимали книги. Друзья настаивали, чтобы Андрей похлопотал об отдельной квартире, но сму постоянно отказывали, а бороться с чиновниками или давать им взятки он не умел. Наконец, появилась возможность купить небольшую кооперативную квартиру. Переезд погубил его: перебирая и упаковывая книги, Андрей переутомился, случился инфаркт. Спасти его не смогли.

...Музей прощался с ним в Итальянском дворике. Маленький оркестр играл удивительно светлую музыку, читали Тютчева, и не было ощущения похорон: казалось, этот человек здесь,— в стенах, умножению славы которых он посвятил всю свою жизнь. Вместе с нами с ним прощался

Давид, и фрески на стенах, и химеры на сводах арки, под которой стоял гроб. Люди говорили прекрасные слова о человеке, который навсегда остался жить в хранимых им сокровищах. В этих словах была скорбь, и не было скорби...

А тогда, в те страшные дни, Андрей Александрович прислал ко мне Маришку: велел каждый день приезжать к обеду.

Мои ежедневные визиты были сопряжены для Губеров с огромным риском, тем более что жили они в коммунальной квартире, где кого только нет! Но Губера оказались выше страха. Они принимали меня каждый день, кормили, давали еду для мамы и для передач папе. Поездки к ним я запомнила на всю жизнь.

В нашем подъезде, во дворе и под аркой постоянно дежурили «искусствоведы в штатском» — следили. Глаз быстро приучился отличать их среди других людей — впрочем, это было несложно. Мама научила меня «уходить» от слежки. Я ехала в метро, стоя у самой двери вагона. Когда двери уже начинали закрываться, я быстро выскакивала на какой-нибудь промежуточной станции, садилась во встречный поезд и проезжала остановки две-три. Такую операцию на пути от Сокола до Центра я повторяла несколько раз, благо спешить было некуда. Я должна была увериться, что «ушла»: иначе обязана была вернуться домой. Не помню, чтобы такое случилось.

Выходить во двор было для меня му́кой по другой причине. Во дворе стояли бараки. После папиного ареста и утро еще не наступило, а обитатели бараков уже точно знали и информировали всех окружающих, что мой отец брал гной у раковых трупов и мазал им здоровых людей. Барачные мальчишки живо взяли на себя акт возмездия за чудовищное преступление отца, швыряя в меня все, что под руку попадется,— гнилые овощи, дохлых мышей, а иногда и довольно увесистые булыжники. Приходилось, как это ни унизительно, уворачиваться и спасаться бегством: если я не проявляла достаточной резвости, мне здорово доставалось...

7. Возвращение

...Однажды, кажется, в середине февраля 1953 года, мама вернулась домой едва живая: передачу не приняли.

— Больше передач не приносите, они больше не нужны,— заглянув в какой-то список, сказал маме дежурный сотрудник. На мамины расспросы отвечать отказался. У этого могло быть только одно объяснение: папы больше нет.

Потянулись дни — пустые, однообразные, черные.

...4 марта 1953 года. Мама, не отрываясь, напряженно слушает радио. Чейн-стоксовское дыхание! Мама молчит, ждет... 5 марта! Свершилось! Сквозь черную ночь в маминых глазах впервые пробивается какой-то робкий, неуверенный свет. Если бы папа был жив! Теперь многое может измениться!

...8 или 9 марта. Телефонный звонок. Мужской голос.

— Я вам звоню по поручению профессора (!). Профессор просит вам передать, что он здоров, чувствует себя хорошо и волнуется за семью. Что передать профессору? (Вы поняли? Не убийце, не выродку, не злодею — профессору!)

Он жив!!!

— Мы прекрасно,— почти кричит мама,— передайте ему, что мы прекрасно, мы здоровы, мы... счастливы,— совсем уж неуместно заключает она в дни всеобщей скорби.

Мы счастливы! Со своей потрясающей новостью я лечу к Губерам. Меня обнимают, тормошат, потом тетя Рая несется на кухню ставить пирог.

— Поминальный,— смущенно и не совсем уверенно объясняет она пораженным соседям,— хотим помянуть Иосифа Виссарионовича, по русскому обычаю.

Я несусь домой с пирогом и снедью для грандиозного пиршества!

...Он еще в Колонном зале, он еще жаждет новых жертв, он еще должен умыться кровью сотен раздавленных, перемолотых в гигантской мясорубке людей — скорбящих или просто любопытных. А у нас праздник! Впервые в жизни так пронзительно и остро чувствую я свое отъединение и совсем уже по-взрослому его осознаю. Это — начало зрелости.

Теперь мы с мамой живем надеждой. Мама вновь возит передачи: оказывается, папу переводили на «особый режим», не предусматривающий передач. Выяснилось позже: он ничего не подписывал, никаких ложных показаний, ни на себя, ни на других, и его перевели на режим, который должен был «помочь» ему изменить позицию. Но он и тогда ничего не подписал.

...Проходят дни и недели. Неизвестность, передача, неизвестность... И вдруг!..

Ночь с третьего на четвертое апреля 1953 года. Собачка Топси внезапно безумеет, начинает метаться по коридору, ударяясь то в опечатанную дверь столовой, то во входную дверь, в один прыжок преодолевая мою раскладушку. Надрывно лает. Я в панике: идут за мамой... Телефонный звонок. Папин голос:

— Дорогие, это я. Я сейчас буду дома! Звоню из автомата в подъезде, чтобы вы не упали в обморок!

...Топси напряженно застыла у входной двери, восторженно повизгивает, хвост ходит, как маятник: туда-сюда, туда-сюда. Через минуту звонок в дверь. Папа!!! С ним полковник МГБ и тот лейтенант, который его забирал,— несет его чемоданчик. Первой папу приветствует Топси: в рекордном прыжке с места обнимает за шею, лижет в губы, в нос, в глаза. Потом очередь мамы, потом — моя. Смеемся, плачем — все одновременно.

А лейтенант той порой снимает печати, а полковник звонит куда-то по телефону:

— Товарищ генерал, профессора доставили. Много радости, много слез...

..Изъятый при обыске торжественный черный костюм с приколотым к нему орденом Ленина болтается на папе, как на вешалке; орден Ленина (получил за военные заслуги) слепит глаза. Дома! Живой! Со справкой о полной реабилитации! Вот она — справка, мы по очереди читаем ее, вертим, смотрим на свет — слова пока плохо до нас доходят. Полковник говорит, что днем нам привезут отобранные при обыске вещи, прощается, желает счастья, и они уезжают. Мы остаемся втроем: папа, мама и я. Папа рассказывает, мама слушает, а я ничего не слышу — только смотрю.

...6 часов утра. Радио разносит на весь мир весть о прекращении дела врачей-вредителей и полной их реабилитации. Звонок в дверь. Соседи — Беклемишевы, за ними — Капланы. Они не спали всю ночь, слышали шум и думали, что это пришли за мамой... Но вот — радио! С этой минуты дверь в квартире не закрывается. За несколько часов у нас перебывал весь дом. Цветы, цветы... Неожиданно в полном составе является мой класс: теперь уже ничего не надо скрывать, и осведомленные девочки вознаграждают себя наконец за многомесячное молчание неслыханной сенсацией! Приходят все, даже моя обидчица, и в руке у каждой — цветок. Они по очереди отдают цветы папе. Я реву в голос — даже сейчас реву, когда пишу эти строки. Потом приходят мои учителя (без исторички, конечно), спрашивают, когда я вернусь в школу. Да завтра же и вернусь! Я так соскучилась!

Господи, какой день, какой праздник! Папа обзванивает друзей — все на месте. Не все в состоянии передвигаться и даже говорить, но все — дома!

Папа едет на работу. Директор института, замечательный человек Семен Иванович Диденко, в слезах обнимает его: он тянул, сколько мог, но недавно все-таки вынужден был провести партийное собрание, на котором папу клеймили как врага народа, убийцу, выродка и злодея и исключили из партии. Семен Иванович счастлив, что папа на свободе, и папа от души просит его забыть о собрании — он же все понимает, он удивляется, как это Семену Ивановичу удалось так долго тянуть...

...Жизнь постепенно вошла в свою колею. Я вернулась в шко́лу. Учиться было естественно, как дышать. Жгучий интерес ко мне со временем угас, и жить стало легче — оказалось, я не приспособлена для славы. Папа вышел на работу, где многие стеснялись смотреть ему в глаза. А через какое-то время в нашей жизни вновь возникла Лина, одна из немногих членов Советского еврейского антифашистского комитета, пережившая в свои неполные 80 лет и тюрьму, и лагерь. Мы с ней очень подружились, и я бережно храню в памяти наши встречи и разговоры.

...Четвертое апреля стало в нашей семье традиционным праздником. В первые послесталинские годы в этот день у нас за столом собиралось человек двадцать пять — тридцать, переживших «дело врачей» в тюрьме и на свободе. Постепенно, теперь уже по естественным причинам, их становилось все меньше, и сегодня, увы, из этой когорты живы лишь несколько человек, среди них и мой отец.

Но мы все равно продолжаем отмечать этот день — как день их второго рождения.

Габриэль Гарсиа
МАРКЕС

СССР: 22 400 000 КВАДРАТНЫХ КИЛОМЕТРОВ БЕЗ ЕДИНОЙ РЕКЛАМЫ КОКА-КОЛЫ

Габриэль Гарсиа Маркес (справа) в подмосковном колхозе в дни фестиваля.

В 1957 году молодой колумбийский журналист Габриэль Гарсиа Маркес побывал на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве. Вскоре в одном из венесуэльских журналов появился его репортаж об увиденном.

Даже по отрывкам из репортажа, с которыми мы знакомим читателя, станет ясно, что взгляд Гарсиа Маркеса на жизнь СССР тех лет — это взгляд, во многом близкий нам, какими мы становимся сегодня. Образ страны и народа впечатляет жизненной неоднозначностью, противоречивостью и динамичностью. Критичность взгляда особенно важна сейчас, ибо позволяет понять, что изменилось, а что не изменилось в нас за эти 30 лет — иначе не понадобилась бы нам сегодня перестройка.

Конечно, каждый, кто прочтет этот репортаж, легко обнаружит некоторые шаблонные представления, неточности, ошибки. Они связаны как с влиянием традиционных западных газетных клише того времени, так и с недостаточной информированностью молодого журналиста, о чем Гарсиа Маркес пишет сам. И все же мы почувствуем, что будущий писатель ощущает народ, с которым познакомился, как нечто ему родственное. Недаром то, что писатель увидел в свой последний приезд в нашу страну, находящуюся на крутом повороте своей истории, он назвал «самым важным событием в своей жизни».

Полностью репортаж из Москвы 57-го печатается в третьем и четвертом номерах научного и общественно-политического журнала «Латинская Америка». Многие латиноамериканские политические деятели, ученые, писатели, журналисты, художники считают этот журнал «своим московским домом». Здесь в прошлом году Гарсиа Маркес вновь встретился со своими московскими друзьями и дал разрешение на публикацию репортажа, который редакция приурочила к 60-летию со дня рождения писателя.

...Городок Чоп — в двух километрах от границы — первый на западе населенный пункт Советского Союза. Хотя последние делегаты фестиваля проехали здесь неделю назад, станция все еще была украшена картонными голубями, лозунгами мира и дружбы на разных языках и флагами со всего света. Переводчики нас не встречали. Девушка в синей форме сообщила, что можно погулять по городу, так как поезд на Москву отправляется в девять вечера...

В центральном зале вокзала, по обе стороны от входа, ведущего прямо на городскую площадь, стояли недавно окрашенные серебряной краской две статуи в полный рост: Ленин и Сталин, оба в штатском и вполне домашних позах...

В центре площади, по хорошо ухоженному, утопающему в цветах скверику, разбитому вокруг бетонного фонтана, прогуливались военные с детьми. На балконах кирпичных домов, свежеокрашенных в яркие, простые тона, и у дверей магазинов без витрин — всюду были люди, вышедшие подышать вечерней прохладой. Несколько человек, нагруженных чемоданами и сумками с едой, ожидали своей очереди за единственным стаканом перед тележкой с газированной водой. Здесь царила и деревенская атмосфера, и провинциальная скудость, мешавшие мне ощутить разницу в десять часов, что отделяла меня от колумбийских деревень. Это словно подтверждало, что земной шар на самом деле еще более круглый, чем мы предполагаем, и достаточно проехать всего лишь 15 тысяч километров от Боготы к востоку, чтобы вновь оказаться в поселках департамента Толимы.

На следующее утро мы все еще ехали по Украине. В деревнях, украшенных в честь всемирной дружбы, приветствовать нас выходили крестьяне. На площадях среди множества цветов, там, где обычно ставят памятники знаменитым людям, возвышались статуи, символизирующие труд, дружбу и здоровье, созданные в грубых сталинских представлениях о социалистическом реализме: фигуры в человеческий рост, выкрашенные излишне нарочито, чтобы выглядеть реальными...

На станциях разгуливали люди в ярких пижамах очень хорошего качества. Сначала я принял их за пассажиров нашего поезда, которые вышли размять ноги, но потом догадался, что это местные жители, пришедшие встречать поезд. Они ходили в пижамах по улицам в любое время дня с совершенной непринужденностью. Мне рассказали, что для лета это вполне традиционно. Государственные служащие не в состоянии объяснить, почему пижамы выше качеством, чем обыкновенная верхняя одежда...

В Киеве устроили шумный прием с исполнением гимнов, цветами и знаменами и всего с несколькими словами на западноевропейских языках, свежеразученными за пятнадцать фестивальных дней. Однажды мы попросили показать, где можно купить лимонаду, и, словно по мановению волшебной палочки, со всех сторон на нас посыпались бутылки с водой, сигареты, шоколад в фестивальных обертках и блокноты для автографов. Самое удивительное в этом неописуемом энтузиазме было то, что первые делегаты побывали здесь две недели назад. Две недели, предшествовавшие нашему приезду, поезда с делегатами следовали через Киев каждые два часа. Толпа не выказывала признаков утомления. Когда поезд тронулся, мы обнаружили, что на рубашках не хватает пуговиц, и было непросто войти в купе, заваленное цветами, которые бросали через окно. Казалось, мы попали в гости к сумасшедшему народу, даже в энтузиазме и щедрости он терял чувство меры.

Я познакомился с немецким делегатом, который похвалил русский велосипед, увиденный на одной из станций. Велосипеды редки и дороги в Советском Союзе. Девушка, хозяйка велосипеда, сказала немцу, что дарит его ему. Он отказался. Когда поезд тронулся, девушка с помощью добровольных помощников забросила велосипед в вагон и нечаянно разбила делегату голову. В Москве можно было наблюдать картину, ставшую обычной для фестиваля: немец с перевязанной головой, разъезжающий по городу на велосипеде.

Надо было проявлять сдержанность, чтобы русские, с их упорным желанием одарить нас чем-нибудь, сами не остались ни с чем. Они дарили все. Вещи ценные и вещи негодные. В украинской деревне какая-то старушка протиснулась сквозь толпу и преподнесла мне — обломок гребенки. Все были охвачены желанием дарить просто из желания дарить. Если кто-нибудь в Москве останавливался купить мороженое, то вынужден был съесть двадцать порций и вдобавок еще печенье и конфеты. В общественном заведении невозможно было самому оплатить счет — он был уже оплачен соседями по столу... Я не думаю, что эта чрезмерная и всеобщая щедрость была следствием приказа властей, желавших поразить делегатов. Но даже если это невероятное предположение верно, все равно Советское правительство может гордиться дисциплиной и преданностью своего народа.

Портреты гигантских размеров придуманы вовсе не Сталиным. Это нечто, издавна укоренившееся в сознании русских: чувство чрезмерности. За неделю в Москву съехалось 92 тысячи человек, как иностранцев, так и советских туристов. Поезда, доставившие эту громадную массу, шли бесперебойно. 14 тысяч переводчиков прибыли в установленное время в установленное место с конкретными указаниями, исключавшими путаницу. Каждый иностранец мог быть уверен, что ему будет уделено персональное внимание. Не было недоразумений в обеспечении питанием, медицинским обслуживанием, городским транспортом и зрелищами. Никому из делегатов лично ничего не запрещалось, казалось, каждый действовал по собственному усмотрению, без какого-либо контроля или ограничений, и никто не подозревал, что составляет часть хорошо организованного дела. Был введен «сухой закон». Каждая делегация имела в распоряжении определенное количество автобусов пропорционально численности группы — всего 2300. Не было ни пробок, ни опозданий транспорта. Кроме того, каждый делегат имел карточку со своим именем, фонетически записанным по-русски, с указанием национальности и с московским адресом, эта карточка обеспечивала бесплатный проезд на любом виде городского транспорта. Никому не указывали, в какое время ложиться спать, но точно в полночь все заведения закрывались, в час прекращалось движение, и Москва становилась совершенно безлюдной.

Мне посчастливилось увидеть, что происходит в Москве после часа ночи. Однажды я опоздал на последний поезд метро. Наша гостиница находилась в 45 минутах езды на автобусе от Красной площади. Я обратился к проходившей мимо девушке — она несла целую охапку пластмассовых черепашек, в Москве, в два часа ночи! — и она сказала мне, что надо взять такси. Я, как мог, объяснил ей, что у меня только французские деньги, а фестивальная карточка в это время не действует. Девушка дала мне пять рублей, показала, где можно поймать такси, оставила на память одну пластмассовую черепашку, и больше я ее никогда не видел. Два часа я прождал такси; город, казалось, вымер. Наконец, я наткнулся на отделение милиции. Показал свою фестивальную карточку, и милиционеры знаками предложили мне сесть на одну из стоявших рядами скамеек, где клевали носом несколько пьяных. Милиционер взял мою карточку. Через некоторое время нас посадили в радиофицированную патрульную машину, которая в течение двух часов развозила собранных в отделении пьяниц по всем районам Москвы. Звонили в квартиры, и только когда выходил кто-либо, внушающий доверие, ему вручали пьяного. Я забылся в глубоком сне, когда услышал голос, правильно и ясно выговаривающий мое имя так, как произносят его мои друзья. Это был милиционер. Он вернул мне карточку, на которой было записано мое имя в русской транскрипции, и показал мне, что мы подъехали к гостинице. Я сказал «спасибо», он поднес руку к козырьку, вытянулся по стойке «смирно» и коротко ответил: «Пожалуйста»...

В такой стране трудно вообразить камерный театр. В Большом театре шел «Князь Игорь» — по три раза в день в течение недели, и в каждом спектакле участвовало 600 сменявшихся актеров... На сцене находится весь актерский состав спектакля и, кроме того, полдюжины настоящих, живых лошадей. Этот грандиозный, идущий четыре часа спектакль невозможно показать за пределами Советского Союза; только для перевозки декораций необходимо 60 железнодорожных вагонов.

Миша, незабвенный наш переводчик, со светлой, падающей на глаза прядью, явился... в украинской рубахе и с ароматной сигаретой в зубах. Такая манера курить позволяла ему демонстрировать свою очаровательную улыбку, не вынимая сигареты изо рта. Он сказал что-то, но я ничего не понял и, думая, что это по-русски, спросил, не говорит ли он по-французски, тогда Миша напрягся и сообщил по-испански, что он наш переводчик.

Позднее, покатываясь со смеху, Миша рассказал, как выучил испанский за шесть месяцев. Этот тридцатилетний рабочий мясокомбината изучил язык, чтобы принять участие в фестивале. В день нашего приезда язык у него все еще заплетался, он постоянно путал глаголы «будить» и «рассветать», но о Южной Америке знал намного больше, чем рядовой южноамериканец. За время нашего пребывания в Москве он достиг угрожающих успехов, и в настоящий момент это единственный советский специалист по шоферскому жаргону Барранкильи.

То, что мы находились в Москве при необычных обстоятельствах, несомненно, было препятствием для знакомства с подлинной жизнью. Я по-прежнему думаю, что всех определенным образом проинструктировали. Москвичи, обладающие замечательной непосредственностью, проявляли подозрительно единодушное сопротивление, едва мы обнаруживали желание посетить их дом. Многие уступали: им казалось, что живут они хорошо, а на самом деле жили они плохо. Власти, наверное, подготовили людей, приказав не пускать иностранцев в свои квартиры. Большинство инструкций по сути были столь же несущественны и бессмысленны.

И в то же время эти обстоятельства были необыкновенной удачей: фестиваль стал спектаклем для советского народа, в течение 40 лет оторванного от всего света. Все хотели увидеть, потрогать иностранца, удостовериться, что он сделан из той же плоти и крови. Мы встречали много русских, никогда не видевших иностранца. В Москву съехались любознательные из всех уголков Советского Союза. На ходу они изучили языки, чтобы разговаривать с нами, и дали нам возможность совершить путешествие по стране, не покидая Красную площадь. Другое преимущество фестиваля в том, что в фестивальной суматохе, где был невозможен милицейский контроль за каждым, советские люди могли высказываться более свободно.

Должен честно признаться, что в пятнадцатидневной суете, не зная русского языка, я не смог прийти ни к каким окончательным выводам. В то же время, полагаю, мне удалось уловить многие отдельные явления, пусть лишь бросающиеся в глаза и поверхностные,— все-таки это весит больше, чем плачевный факт полного незнакомства с Москвой. У меня профессиональный интерес к людям, и, думаю, нигде не встретишь людей, более интересных, чем в Советском Союзе. Какой-то парень из Мурманска, быть может, целый год копивший деньги на пятидневный проезд в поезде, остановил нас на улице и спросил:

— Do you speak English?

Больше он не знал по-английски ни слова. Но он дергал нас за рубашки и что-то говорил-говорил — увы, безнадежно по-русски. Иногда, словно посланный провидением, появлялся переводчик. И тогда начинался многочасовой диалог с толпой, жаждущей узнать обо всем мире. Я рассказывал простые истории из колумбийской жизни, и обескураженность слушателей заставляла меня думать, что то были чудесные истории.

Простота, доброта, искренность людей, ходивших по улицам в рваных ботинках, не могли быть следствием фестивального распоряжения. Не раз с обдуманной жестокостью я задавал один и тот же вопрос лишь с целью посмотреть, каков будет ответ: «Правда, что Сталин был преступником?» Они невозмутимо отвечали цитатами из доклада Хрущева. Я ни разу не заметил агрессивности. Напротив, люди осознанно старались, чтобы у нас осталось приятное воспоминание о стране. И это позволяет мне считать, что советские люди преданы своему правительству. Это не была надоедливая толпа. Они не торопились раскрываться, наблюдали за нами с деревенской застенчивостью и с гусиной осмотрительностью, не решаясь беспокоить. Когда кто-нибудь из делегатов хотел вступить в разговор, он обращался прямо к толпе, ни к кому в отдельности: «Дружба». И тут же на нас накидывались со значками и монетами, в обмен прося автографы и адреса. Это народ, который отчаянно жаждет иметь друзей. На наш вопрос: «Какова разница между настоящим и прошлым?» — довольно часто повторялся знаменательный ответ: «Теперь у нас много друзей». И они хотят иметь друзей еще больше: переписываться лично, разговаривать о том, что интересует всех, с людьми всего мира. У меня на столе груда писем из Москвы, которые я не могу даже прочитать, письма от безымянной массы, от тех, кому мы оставляли адреса, лишь бы выйти из положения. И только теперь я отдаю себе отчет в нашей безответственности. Невозможно было запомнить, кому ты давал адрес. Если какой-либо делегат останавливался перед храмом Василия Блаженного дать автограф, то через полчаса толпа не умещалась на Красной площади. Здесь нет никакого преувеличения: в Москве, где все подавляет своими гигантскими размерами, Красная площадь — сердце столицы — удивляет своей миниатюрностью.

...Советским людям свойственно впадать в экзальтацию при выражении своих чувств. Они выражают радость столь зажигательно, как будто «выдают» казачью пляску, готовы отдать последнюю рубаху и, прощаясь с друзьями, плачут настоящими слезами. Но они становятся в высшей степени осторожными и скрытными, едва заговорят о политике. Бесполезно пытаться узнать у них что-либо новое в этой области — все ответы опубликованы, и они лишь повторяют аргументы «Правды». Материалы XX съезда — секретные, по утверждению западной прессы — изучались и обсуждались всей страной. Это одна из черт советского народа — политическая осведомленность. Скудость международной информации компенсируется поразительной всеобщей осведомленностью о внутреннем положении...

...В Советском Союзе не найдешь книг Франца Кафки. Говорят, это апостол пагубной метафизики. Однако, думаю, он смог бы стать лучшим биографом Сталина...

У него не было возраста. Когда он умер, ему было больше семидесяти, он был совершенно седой, с признаками физической изнуренности. Но в воображении народа Сталин был в возрасте своих портретов. Портреты донесли его вневременное существование даже в самые отдаленные уголки тундры. Его имя звучало повсюду: на проспектах Москвы, на скромной телеграфной станции мыса Челюскин, за Полярным кругом. Его изображения висели в общественных зданиях, в частных домах, печатались на почтовых марках. Его статуя в Сталинграде — высотой 70 метров, каждая пуговица на кителе — полметра в диаметре.

Лучшее, что можно сказать в его пользу, неразрывно связано с худшим, что можно сказать против него: в Советском Союзе нет ничего, что не было бы сделано во имя Сталина; а все, что делалось после его смерти, состоит в попытках высвободиться из пут его системы. Не выходя из своего кабинета, он лично контролировал строительство, политику, руководство, личную жизнь, искусство, лингвистику...

В тот вечер, когда мне разъяснили в Москве, в чем смысл сталинской системы, я не обнаружил в ней ни одной детали, не описанной ранее в книгах Кафки.

На следующий же день после смерти Сталина система начала шататься. В то время как одно министерство изучало вопрос о мерах по увеличению производства картофеля, поскольку поступали сообщения о его нехватке, другое министерство, извещенное о перепроизводстве картофеля, рассматривало возможности расширения выпуска производимых продуктов на его основе. Таков эффект бюрократического узла, который Хрущев старается распутать. Возможно, в сравнении с мифическим и всемогущим Сталиным Хрущев представляет собой для советского народа возврат к реальной действительности. Но у меня сложилось впечатление, что в отличие от западной прессы люди в Москве не придают большого значения личности Хрущева. Советский народ, за 40 лет совершивший революцию, переживший войну, период восстановления хозяйства и создавший искусственный спутник, с полным правом желает лучшей жизни. И он поддержал бы всякого, кто предложил бы ему это. Таким человеком стал Хрущев. Полагаю, ему верят, потому что он земной человек. Он руководит не посредством своих портретов, а выезжает в колхозы и, посинев от водки, заключает пари с крестьянами, что сможет подоить корову. И доит. Его выступления в отличие от доктринерских спекуляций основаны на здравом смысле и написаны ясным, обиходным языком. Для выполнения своего обещания Хрущев должен в первую очередь достичь двух целей: всеобщего разоружения, что высвободит ресурсы и позволит использовать их в производстве товаров потребления, и децентрализации управления. Молотов, купивший себе очки в Соединенных Штатах, выступил против децентрализации. Я приехал в Москву неделю спустя после его отставки, и мне показалось, что русские так же, как и мы, сбиты с толку этой мерой. Но советский народ с его долготерпением и политической зрелостью уже не наделает глупостей. Из Москвы отправляются поезда с архивами, служащими и конторскими принадлежностями — целые министерства перемещаются в индустриальные центры Сибири. Только улучшение положения подтвердит, что Хрущев был прав, отправив в отставку Молотова. А для начала в Советском Союзе слово «бюрократ» стало самым тяжким оскорблением.

«Должно пройти много времени, прежде чем мы поймем, кем же в действительности был Сталин,— сказал мне молодой советский писатель.— Единственное, что я имею против него,— это то, что он хотел управлять самой большой в мире страной, словно собственной лавкой». Он же считал, что господствующий в Советском Союзе дурной вкус не может не быть связан с личностью Сталина, грузинского крестьянина, растерявшегося перед роскошью Кремля. Сталин никогда не выезжал за пределы Советского Союза[1]. Он умер в уверенности, что московское метро — самое красивое в мире. Да, оно хорошо действует, удобно и очень дешево. В нем невероятно чисто, как и повсюду в Москве: в ГУМе бригада женщин целый день напролет протирает лестничные перила, полы и стены, которые все время пачкает толпа. То же самое в гостиницах, кинотеатрах, ресторанах и даже на улице; но с еще большим усердием это делается в метро, сокровище города. На деньги, истраченные на его переходы, мрамор, фризы, зеркала, статуи и капители, можно было бы частично разрешить проблему жилья. Это апофеоз мотовства.

На семинаре по архитектуре, проводившемся в рамках фестиваля, зодчие со всего мира беседовали с руководителями советского строительства. Одному из них — Жолтовскому — 90 лет. Самому молодому из руководителей генерального штаба архитектуры Абросимову — 57 лет. Это архитекторы сталинских времен. Отвечая западным критикам, они выдвигали единственный аргумент: монументальная архитектура следует русским традициям. Итальянцы в своем блистательном выступлении доказали, что архитектура Москвы не соответствует традиционному стилю — это гиперболизированная и приукрашенная фальсификация итальянского неоклассицизма. Жолтовский, который 30 лет жил во Флоренции, несколько раз пытался разогреть свои идеи, но в конце концов вынужден был это признать. И тогда произошло нечто неожиданное: молодые советские архитекторы показали свои проекты, отвергнутые руководителями сталинской архитектуры,— они были великолепны. После смерти Сталина в советской архитектуре веет духом обновления.

Возможно, самой большой ошибкой Сталина было его желание во все соваться самому, вплоть до самых потаенных уголков личной жизни. Полагаю, с этим связана атмосфера мелочного деревенского ханжества, которая пронизывает все в Советском Союзе. Свободная любовь, рожденная из революционных крайностей, — легенда прошлого. Если взглянуть объективно, никакая иная мораль не напоминает так христианскую, как советская. В своих отношениях с мужчинами девушка подвержена тем же предрассудкам и пользуется теми же психологическими увертками и обиняками, что стали притчей во

[1] Кроме Тегерана и Берлина, на встречи глав государств антигитлеровской коалиции.

язычек в отношении девушек испанских. И с первого взгляда становится ясно, что в вопросах любви они управляются с той простотой, которую француженки называют невежеством. Их волнует, кто и что скажет, и в обычае долгие и контролируемые помолвки по всей форме.

На пресс-конференции с руководителями советских издательств, выпускающих книги на испанском языке, задаю вопрос, запрещено ли писать детективные романы. Отвечают, что нет. И тут меня осенило: ведь в Советском Союзе не существует преступной среды, которая вдохновляла бы писателей. «Единственный гангстер, который у нас был,— это Берия,— сказали мне однажды.— Сейчас он выброшен даже из советской энциклопедии». Таково общее и категорическое мнение о Берии. И любые дискуссии исключены. Но его преступления не стали сюжетами для детективов. А научная фантастика, которую Сталин считал вредной, была разрешена всего за год до того, как искусственный спутник превратился в суровый социалистический реализм. Самый покупаемый русский писатель в этом году — Алексей Толстой (нет, они вовсе не родственники[1]), автор первого фантастического романа. Считают, что среди иностранных изданий наибольший успех выпадет на долю «Пучины» Хосе Эустасио Риверы. Официальные сведения: за две недели продано 300 тысяч экземпляров.

За два дня до отъезда мы пожертвовали обедом и предприняли последнюю попытку попасть в Мавзолей. Встали в хвост очереди, ничего никому не объясняя, и дежурный милиционер доброжелательным жестом пригласил нас. У нас даже не спросили пропусков, и через полчаса, пройдя через главный вход с Красной площади, мы оказались под тяжелым сводом сделанного из красного гранита Мавзолея. Узкая и низкая бронированная дверь охраняется двумя солдатами, вытянувшимися по стойке «смирно» и с примкнутыми штыками. Кто-то говорил мне, что в вестибюле стоит солдат с таинственным оружием, зажатым в ладони. Он там и стоял. Таинственное оружие оказалось автоматическим прибором для подсчета посетителей.

Маленькое квадратное помещение, стены из черного мрамора с инкрустациями из красного камня, напоминающими языки пламени. Вверху мощная вентиляционная установка. В центре, на возвышении, два гроба, освещенные снизу мощным красным прожектором. Входим справа. В головах у каждого гроба по стойке «смирно» замерли еще по два часовых с примкнутыми штыками...

Людской поток обтекал возвышение справа налево, пытаясь сохранить в памяти мельчайшие детали виденного. Но это было невозможно. Вспоминаешь ту минуту и понимаешь: в памяти не осталось ничего определенного. Я слышал разговор между делегатами фестиваля через несколько часов после посещения Мавзолея. Одни уверяли, что на Сталине был белый китель, другие — что синий. Среди тех, кто утверждал, что белый, находился человек, дважды посетивший Мавзолей. А я думаю, что китель был синий.

Ленин лежал в первом гробу. На нем строгий темно-синий костюм. Левая рука, парализованная в последние годы жизни, вытянута вдоль тела. Ниже пояса тело скрыто под покрывалом из той же синей ткани...

Сталин спит последним сном без угрызений совести. На груди с левой стороны три скромные орденские колодки, руки вытянуты в естественном положении. Поскольку под колодками маленькие синие ленточки, которые сливаются с цветом кителя, то на первый взгляд создается впечатление, что это просто значки. Мне пришлось сощуриться, чтобы рассмотреть их. А потому я знаю, что китель на нем синий, такого же густо-синего цвета, как и костюм Ленина. Совершенно белые волосы кажутся красными в подсветке прожектора. Выражение лица живое, сохраняющее на вид не просто мускульное напряжение, а передающее чувство. И кроме того — оттенок насмешки. Если не считать двойного подбородка, то он не похож на себя. Ничто не подействовало на меня так сильно, как изящество его рук с длинными прозрачными ногтями. Это женские руки.

...Одно из самых тяжких обвинений против Сталина, которого считают безжалостным, лишенным человеческого сочувствия правителем, состоит в том, что для ускоренного строительства социализма он пожертвовал целым поколением. Чтобы западная пропаганда не достигла слуха соотечественников, он запер изнутри двери в страну, форсировал процесс и добился беспримерного исторического скачка. Новые поколения, испытывающие чувство недовольства, теперь могут позволить себе роскошь протестовать против нехватки обуви.

Железная изоляция, в которой держал нацию Сталин, чаще всего является причиной того, что советские люди, сами того не подозревая, попадают в комические положения перед иностранцами. Во время посещения колхоза мы пережили тяжелые минуты демонстрации национальной гордости. Однажды по тряской дороге нас провезли мимо украшенных флагами деревень, где дети с песнями выходили навстречу автобусу и бросали в окна почтовые открытки со своими адресами, написанными на всех западноевропейских языках. Колхоз находился в 120 километрах от Москвы — это огромное «феодальное» угодье, окруженное печальными деревнями с грязными улицами и ярко окрашенными домиками. Директор колхоза, некто вроде социализированного феодала, совершенно лысый, с одним незрячим глазом, закрытым, словно у пирата из кинофильма, повязкой, на протяжении двух часов рассказывал нам о коллективном возделывании земли. Переводчик переводил почти сплошь астрономические цифры. После обеда на свежем воздухе, сдобренного старинными песнями, которые исполнял хор школьников, нас повели смотреть аппараты механического доения. Чрезвычайно полная, так и пышущая здоровьем женщина собиралась, видимо, продемонстрировать гидравлическую доилку, которая в хозяйстве считалась последней технической новинкой. Это был всего-навсего соединенный с емкостью резиновый шланг с всасывающим устройством, с одной стороны он прикреплялся к соску коровы, с другой — к вентилю. Достаточно было отвернуть кран, чтобы силой воды осуществлялась работа, которую в средние века выполняли доярки. Все это в теории, а на практике — и это было одним из самых неловких моментов нашего визита — мастерица механизированного доения не сумела как следует присоединить приспособление к соску, безуспешные попытки продолжались четверть часа, в конце концов она поменяла корову. Когда, наконец, цель была достигнута, мы готовы были аплодировать, причем без всякого злорадства, просто оттого, что затрудненне удалось преодолеть.

Американский делегат, разумеется, несколько преувеличивая, но, в сущности, с достаточным основанием рассказал директору колхоза, что в Соединенных Штатах с одной стороны ставят корову, а с другой получают пастеризованное молоко и даже масло в упаковке. Директор вежливо выразил свое восхищение, но на лице его было написано, что намека он не понял. Потом он признался, что и в самом деле был убежден, что до появления советской гидравлической доилки род человеческий не был знаком с механической системой извлечения молока из коровы.

Молодежь, начинавшая сознательную жизнь, когда промышленность уже была создана, восстает против контрастов. В университете проводятся публичные диспуты, и перед правительством ставится вопрос о необходимости достигнуть уровня жизни Запада. Совсем недавно студентки Московского института иностранных языков вызвали скандал, выйдя на улицу одетые по парижской моде, с прической «конский хвост» и на высоких каблуках. Вот как все произошло: какой-то непредусмотрительный чиновник дал разрешение Институту иностранных языков получать иностранные журналы, чтобы будущие переводчики могли знакомиться с обиходным языком и обычаями на Западе. Эта мера дала свой результат. Но студентки, насмотревшись журналов, укоротили платья и изменили прически. Увидев их на улицах, толстые матроны, как повсюду и во все времена, схватились за головы и возмущенно заголосили: «До чего же испортилась молодежь!» Но, очевидно, постоянное возмущение молодежи отразилось на советской политике. Незадолго до своей смерти знаменитый парижский модельер Кристиан Диор получил от Советского правительства предложение выставить свои коллекции в Москве.

Последний вечер, проведенный мною в столице, завершился событием, которое довольно точно отражает настроение молодежи. На улице Горького молодой человек не старше 25 лет остановил меня и спросил, какой я национальности. Он сказал, что пишет диссертацию о мировой детской поэзии и нуждается в сведениях о Колумбии. Я назвал ему Рафаэля Помбо, и он, покраснев от обиды, перебил: «Разумеется, о Рафаэле Помбо мне все известно». И за кружкой пива с сильным акцентом, но удивительно бегло наизусть читал мне до полуночи целую антологию латиноамериканской поэзии для детей...

Перевод с испанского Н. ПОПРЫКИНОЙ.

[1] Имеется в виду Лев Толстой.

Дневник критика

Андрей МАКСИМОВ

НЕИСЧЕРПАЕМОСТЬ ДЕТСТВА

Вначале хотелось спорить с невидимым оппонентом: мол, если вы думаете, что Берестов — поэт детский, то вы ошибаетесь, это тонкий лирик, это прекрасный поэт для всех возрастов, это... Но потом подумалось: есть ли сейчас хоть один читатель, мало-мальски разбирающийся в современной поэзии, которому надо было бы доказывать столь очевидное? То, что Берестов пишет «детские» стихи, в которых он мудр, как взрослый, и стихи «взрослые», в которых видит мир с непосредственностью ребенка, сегодня, мне кажется, понятно всем.

В прошлом году в издательстве «Современник» вышла большая книга избранных и новых стихотворений Валентина Берестова «Определение счастья». Книга разошлась в магазинах мгновенно. Почему? (Вообще Берестов если и обижен, то вниманием критиков, а не читателей.) Ведь сегодня принято считать, что читатели истосковались по остроте, и в книгах ищут что-нибудь о том, что еще вчера было под запретом.

Но вот пишет поэт о тридцатых годах:

Смеется летчик в шлеме
С газетного листа.
Вот это было время!
Вот это высота!
Счастливые пилоты,
Герои детских лет.
Рекорды. Перелеты.
Простых полетов нет.

Простите, и это про тридцатые годы? В книжке 1987 года издания? Кому рассказывает все это поэт? Нам, которые уже и «Покаяние» видели, и «Детей Арбата» читали? Умерим пыл. Подумаем. Во-первых, все это на самом деле было: и летчики, и полеты, и рекорды. А во-вторых, стихи эти сегодня же воспринимаются иначе, чем, скажем, лет пять назад.

Берестов однажды заметил: «Пишу я, что хочу, о чем хочу, о том и промолчу. Ну, а подтекст, в отличье от подвоха, стихам дает не автор, а эпоха». То, о чем умолчал Берестов, известно нам, подтекст эпохи понятен. И страшно в этих стихах именно то, что они точно передают восприятие времени тогдашним ребенком, ведь мы-то знаем, что может случиться с его отцом, матерью, с ним самим и его друзьями...

Неназванные, но известные нам события стоят за этими строками, будят нашу память, и это, мне кажется, посильнее иных лобовых стихотворных разоблачений. Но, объективности ради, надо сказать еще вот о чем. Для Берестова добрый взгляд на мир естествен. А если уж он борется с тем, что его возмущает, то тут главное его оружие — ирония.

Литература опытною нянею
Использовалась с целью назидания.
«Жил-был на свете Петя-петушок.
Он вовремя просился на горшок.
Иван-царевич спать ложился рано.
Бери пример с царевича Ивана.
Вот на картинке дядя-Геркулес.
Он в сахарницу пальцами не лез».
Когда подрос питомец этой няни,
Он сочинил немало всякой дряни.

Не у каждого поэта есть своя тема. У Берестова есть — это великая тема Детства, которая может быть и во взрослых стихах, и в лирических, и в каких угодно еще.

Для него детство — критерий истины. Вслед за великим сказочником Джанни Родари он мог бы воскликнуть: «Как вы смеете утверждать, что есть плохие дети?!» И вправду: если дети становятся плохими,— это верный признак того, что они выросли.

Критики часто и охотно пишут о том, чем была война для поколения поэтов-фронтовиков. Но война не гаснет и в памяти тех, кто видел ее детскими глазами.

Может быть, взрослыми снова расстались
Двое мечтателей — я и ты,
Потому что в детстве не домечтались
До какой-то недетской общей мечты.

Фото Л. Шимановича

Ведь нас предвоенное детство растило.
Дороги не вовремя нас развели.
И может быть, нескольких дней не хватило,
Чтобы мы до нее домечтаться могли.

Поколение поэтов-фронтовиков уходило на фронт «не долюбив». Поколение, к которому принадлежит Берестов, уходило из детства «не доиграв». Может быть, поэтому так важен в его стихах элемент игры? Не игры-развлечения, но игры серьезной, умной, из которой вырастают фантазия и доброта.

Гляжу с высоты
На обиду.
Теряю обиду
Из виду.

Берестов любит такие миниатюры. В них — игра. В них — взгляд поэта. Берестов умеет в своих стихах удивляться. Он не признает злых ухмылочек — его улыбка добра и естественна, как добра и естественна улыбка ребенка, для которого все в этом мире удивительно.

Мальчик, чье детство определялось коротким и жутким словом «военное», хорошо понял, что жизнь — «нечаянная радость», счастье, дар. Недаром в предисловии к одной из своих книг Берестов написал: «...еще одно чувство идет от трех самых первых эпох развития человека. (Берестов имеет в виду: детство, отрочество, юность.) Мне бы очень хотелось его передать. Оно возникает, когда что-то происходит с вами первый раз в жизни. Зрелым людям тоже нужно это детское и юношеское чувство. У них оно называется чувство нового».

Берестов не спешил становиться профессионалом, что бывает редко. Долгое время он познавал детство человечества — занимался археологией. И это познание, умение видеть сегодняшний день как результат многовековых дней человечества еще больше развили в поэте то самое «чувство нового». Археолог, который держит в руках осколок, скажем, древней амфоры, и ничего, кроме этого осколка, не видит,— плохой археолог, копатель, а не открыватель. Берестов всегда был — и остается — открывателем. Как ребенок, открыв самую обычную дверь, входит «в мир безбрежный, в его простор желанный, неизбежный», так и археолог в темноте земли видит безбрежные дали.

Потеряла девушка перстенек
И ушла, печальная, с крылечка.
А спустя тысячелетье паренек
Откопал ее любимое колечко.
Он и рад бы то колечко возвратить.
Да не в силах... Время любит пошутить.

Для археолога, как, впрочем, и для любого человека, который не просто знает, но чувствует историю, время конкретно. По-детски конкретно ощущение времени у Берестова. В одной из его книг есть три раздела: «Детство», «Отрочество», «Юность» — каждое стихотворение раздела рассказывает именно об одном из этих периодов жизни.

Привычный круг. Привычная работа.
Жизнь без чудес. К ним даже вкус исчез.
Живешь, и вдруг тебя полюбит кто-то.
За что? Про что? Вот чудо из чудес.

Издавна поэты предпочитают говорить о любви с некоторой ностальгической интонацией. Для Берестова любовь — ежедневное, ежесекундное счастье. Мы привыкли удивляться любви, когда она осталась за спиной. Берестов удивляется ей, когда она шагает рядом...

Полна, как в детстве, каждая минута,
Часы опять текут неторопливо,
И сердце переполнено твое.
Любовь — замена детства. Потому-то
Насмешливо, презрительно, ревниво,
Пугливо смотрит детство на нее.

«Любовь — замена детства...» Вот основа восприятия любви. Не знаю поэта, который бы с такой легкостью и естественностью соединил бы любовь и детство.

Когда ушла из жизни художница Татьяна Ивановна Александрова — верный друг, жена, он написал цикл, посвященный ее памяти.

Розы в блеске морозного дня.
У могилы стою на ветру.
И впервые утешит меня
Мысль о том, что я тоже умру.

Признаемся: известное словосочетание «любовь не умирает» воспринимается нами не более, чем избитый образ. Но ведь не умерла. И вышла книжка стихов Берестова с иллюстрациями Татьяны Ивановны. Значит, они неразлучны.

Время, детство, любовь живут в стихах Берестова, дополняя, разъясняя, досказывая друг друга.

Один из главных учителей Берестова — и в жизни, и творчестве,— Самуил Яковлевич Маршак, заметил: «Иногда я с некоторой даже досадой думаю: какое несчастье изобретение легкого письма — пера, чернил, пишущей машинки. Когда слова высекались на камне — вот когда был лаконизм! Вот когда каждое слово действительно стоило дорого. Поверьте, я почти не шучу. Поэтическое слово должно стоить поэту столько же, сколько оно стоило, когда его высекали на камне».

Сказано не о Берестове. Но и о нем тоже. Стих Берестова лаконичен.

Стоит зима. Но капля дождевая,
Листок последний с тополя сбивая,
Спешит упасть на розовый бутон.
И распускаться начинает он.

Берестов умеет создать образ мгновенным взглядом. В его стихах есть простор для человеческой мысли. При чтении его стихов душа трудится.

Другому ты привет передала.
Другое имя крикнула смущенно.
И словно вспыхнул свет из-за стекла
Готового отправиться вагона.
Негаданно-нежданно встречен мной
И не ко мне стремился в час прощальный
Полузабытый, но такой родной
Горячий взгляд любви первоначальный.

И чем больше читал я стихи Берестова, тем яснее становилась для меня мысль о том, что для любого поэта его читатель — в огромной степени — ребенок, внимание которого надо обратить на что-то важное в мире, чему-то необходимому надо его научить...

Берестову повезло: его учили хорошие люди и настоящие поэты. Может быть, поэтому он сейчас так много «возится» с молодыми и многие молодые называют его своим учителем.

А еще Берестов занимается исследованиями Пушкина. Он нашел неизвестные стихи великого поэта, точнее, песня, которая до недавнего времени считалась народной, обрела своего автора, да еще какого — Пушкина!

А еще Берестов пишет воспоминания о своих встречах с замечательными людьми. А еще... переводит. А еще...

Не правда ли, есть в этом что-то от детского стремления объять необъятное?

Все возвращается к детству. А детство возвращается к нам с мудрыми строками поэта. Не «детского», не взрослого, а просто настоящего поэта Валентина Берестова...

Дневник критика

Андрей ТУРКОВ

«ИДТИ, НЕ ОСТАНАВЛИВАЯСЬ»

Признаюсь, когда иные писатели заводят речь о критике, чувствуешь себя так, будто тебя вызвали «по начальству» и распекают, забыв даже сесть предложить:

«Современная мировая (!) критика... или односторонне социологична, или элитарна, или бесстыдно рекламна (покупатель — товар) по отношению к любой книге, как, скажем, к лечащей десны зубной пасте, либо к таблеткам, якобы увеличивающим мужскую силу».

Но больше всего достается нашей, отечественной «середины восьмидесятых»:

«Красота формы, глубина характера, сообразность стиля встречаются ею пожиманием плеч, недоумением («А зачем это? Устарело!»), вызывает у нее кислую гримасу («Два года назад мы сетовали на скуку, царящую в журналах»), раздирающую рот зевоту... эстетический инстинкт презираем ею, порой закрыт глухими заслонками, превосходство же чужого мышления рождает сопротивление и бешенство. Вместе с тем нелюбовь к литературе маскируется любовью к народу, правда — заботой о гражданственности... Здесь лицемерие и лицедейство так же победоносны, как заманивающие конные атаки времени Чингисхана».

Не сразу и сообразишь: зачем этой зловредной критике маскировать правду (по смыслу — вроде высказываемую ею же?) заботой о гражданственности, а уж апелляция ко временам Чингисхана повергает в полнейшую растерянность.

Невольно вспомнишь причитания некрасовского героя:

«Господи помилуй!
Сорок лет я прослужил
Верой, правдой, силой;
Много видел на тракту
Генералов строгих,
Нет ребра, зубов во рту
Не хватает многих,
А такого не видал,
Господи Исусе!
Небывалый генерал,
Видно, в новом вкусе!..»

Впрочем, нового-то здесь — лишь словесные фиоритуры.

Подобные упреки критике давно стали общим местом. Один былой сотрудник «Литературной газеты» юмористически вспоминал, как много лет назад ему с товарищем из отдела внутренней жизни поручили писать передовую на тему «Литература и действительность», и он, полный юношеского энтузиазма, предвкушал напряженную совместную работу. Однако многоопытный коллега осадил его, предложив писать по отдельности (я, мол, про жизнь, ты — про литературу), а потом объединить написанное словами: «А между тем литература...»

Теперь про литературу уже так не пишут. А вот о критике — пожалуйста! Стоит перечесть доклады и выступления разноименных руководителей наших писательских организаций, чтобы убедиться в полнейшей безадресности раздающихся там упреков злосчастному «жанру».

Просто с трудом верится, что четверть века назад тогдашний глава Московской писательской организации Степан Щипачев с удовольствием цитировал в столь же пространной речи целый отрывок из статьи Александра Лебедева — критика, ни тогда, ни ныне отнюдь не избалованного вниманием.

В бытность мою студентом Литературного института имени Горького среди прочих неожиданностей, возникавших порой на преподавательской кафедре, был и некий «специалист по белорусской литературе», заунывно начинавший чуть не каждый академический час словами о том, что ее история «не столь интересна, сколь трагична».

С грустью думаешь, что некоторые страницы истории советской критики, пожалуй, больше заслуживают подобной аттестации.

Нет, совсем уж неинтересной ее не назовешь! Раздобудьте-ка вышедшую в издательстве Московского университета тиражом... 500 экземпляров работу Галины Белой о судьбе литературной группы «Перевал» (до сих пор мало изученной), и в частности А. Воронского, Д. Горбова, А. Лежнева.

Нет, «есть и Руси чем гордиться»! И примечательно, что той же Г. Белой принадлежит недавно вышедшая книга «Литература в зеркале критики» (издательство «Советский писатель»). Высокая объективность тут выигрышно контрастирует и с уже упомянутыми суждениями, и с той огульностью, которую порой проявляют сами критики, говоря о работе своих коллег. Так, совсем недавно Владимир Гусев, совершенно справедливо сетуя на малое внимание «текущей критики» к новому писательскому пополнению — «тридцатилетним», в запале не только окрестил его «равнодушным, безответственным, а то и... бесстыдным поведением», но даже объявил причиной происходящего то, что эта критика «материально, корыстно, а то и родственно связана с поколением старших».

Это уж, если презренной — спортивной — прозой говорить, удар ниже пояса. Ведь речь снова не о каких-либо конкретно указанных случаях, которые, вполне вероятно, существуют; нет! — речь обо всей критике!

И, видимо, не представляется нужным вникать в «детали», в то, что часть этой «текущей» критики — сами представители «старшего поколения» и связаны с ним его судьбами: и войной, и всем пережитым позже; что у них в прошлом «были ж схватки боевые, да говорят еще какие!», из которых они, увы, не всегда выходили победителями (если вообще уцелевали), но, право, имени критики не роняли.

По вашему мнению, это все в прошлом? Не знаю, не думаю,— хотя бы уже потому, что слишком многое сейчас из этого прошлого возвращается к нам, поворачивается новыми гранями, обдумывается заново.

Случайно ли, что многие заметные статьи последних месяцев принадлежат авторам из числа наиболее активно действовавших как раз в сравнительно отдаленный период, будь то Ю. Буртин или В. Кардин, Б. Сарнов или В. Лакшин, С. Рассадин или Ю. Карякин?

«Сосед» Владимира Гусева по журнальной публикации («Литературная учеба» № 5, 1987) прозаик Анатолий Шавкута — тоже далеко не беспричинно! — настолько сердит на нашего брата-критика, что не может удержаться, чтобы не устроить ему «вселенскую смазь»; «Конечно, иметь дело с лидерами любому критику удобнее...» Стало быть, к примеру, и Игорю Дедкову, обвиненному после своего отзыва об «Игре» ни мало ни много, как в «стремлении... дискредитировать русскую литературу в ее наиболее значительных явлениях» («Наш современник» № 11, 1986), или Ольге Кучкиной, имевшей неосторожность высказать свое мнение о «городском» романе Василия Белова?!

И вообще, замечает А. Шавкута, «хлеб большинства критиков (кроме тех, кто отстаивал спорное) сделался легким».

Да полноте, впрямь ли вы едали этот хлеб?!

«Эх, эх! Придет ли времечко, когда (приди желанное!..)» — все на своих постах проникнутся чувством ответственности и отважатся «сметь свое суждение иметь» не для домашнего употребления, а отстаивать его прямо, не прячась за спину «любителей легкого хлеба», не кивая на этих кровожадных зоилов, ни с того ни с сего набрасывающихся на «бедного автора», которого иначе беспременно бы издали!

Или пресловутая «текущая» критика будет по-прежнему отвечать не только за свои собственные грехи, которых у нее и так хватает?!

Признаться, мне даже странно, что в тех громовых филиппиках по ее адресу, которые я приводил, не нашлось места для упоминания о том захваливании, той аллилуйщине, которым предавалось — да и предается еще! — немало кри-

тиков (или это как раз не кажется грехом нашим обличителям?).

Иных книг читатель уже и с библиотечных полок не берет, а критик рьяно утверждает, будто они «не утеряли со временем ни единого кванта своего идейно-художественного напряжения, своей актуальности и социально-гражданской значительности».

А вот к тем произведениям, которые в последнее время возбудили живейший читательский интерес, часть критиков оказалась куда придирчивее, и в суть этой неожиданной требовательности хотелось бы вникнуть.

Зачин статьи Владимира Бондаренко «Очерки литературных нравов» («Москва» № 12, 1987) многообещающ. Если, скажем, художник Борис Ефимов недавно на страницах «Правды» высказал «некоторую зависть» не только к кинематографистам, но и к писателям, у которых «съездовские баталии давно позади» и которые «имеют возможность погрузиться в практические дела», то Бондаренко рисует картину этих «практических дел» весьма язвительно:

«Те, кто совсем недавно вел сонные советы по критике и прозе, поэзии и драматургии, кто определял очередь на Государственные премии и звания... сегодня летят на коне, размахивая шашкой. А присмотрись повнимательнее — все бутафорское, и конь картонный на одном месте стоит, а на задней стене ускоренной перемоткой демонстрируют летящее мимо пространство».

Этой картинке не откажешь в меткости! Многие другие стрелы критика тоже попадают в цель. «Презираю,— пишет он, например,— дешевую групповщину, борьбу за кормушку, но понимаю необходимость литературных направлений...»

Прекрасно! Но продолжение фразы несколько настораживает:

«...за которыми в итоге всегда стоят разные взгляды на развитие общества, разный подход к государственности, разное понимание роли искусства».

Правда, Бондаренко соглашается с тем, что «без оттепели (шестидесятых годов, как он пишет, да и пятидесятых, как следовало бы добавить.— **А. Т.**) была бы невозможна деревенская и военная проза, составившая большую часть современной классики, невозможен «Новый мир» А. Твардовского», и провозглашает: «Ратую за максимально возможную демократизацию, не боясь неизбежной пены».

Правильно, без пены не обойтись. «...несущественное, кажущееся, поверхностное чаще исчезает,— говорится в ленинских «Философских тетрадях»,— не так «плотно» держится, не так «крепко сидит», как «сущность». Etwa[1]: движение реки — пена сверху и глубокие течения внизу».

Тут бы и остановиться, не правда ли? Но ленинское перо внезапно добавляет: «*Но и* пена есть выражение сущности!»

Похоже, дело обстоит не так просто, чтобы, не задумываясь, брезгливо снять и отбросить эту пену критической шумовкой (есть такая ложка у домохозяек)...

Тем более что пены, согласно самому же Бондаренко, больно много выходит,— да, в сущности, и какая там пена, когда речь идет уже о «волне «прогрессивного мракобесия»!

Начать с того, что, как считает критик, «романы А. Бека «Новое назначение», В. Дудинцева «Белые одежды», А. Рыбакова «Дети Арбата» — это скорее событие общественное, чем литературное», поскольку, в отличие от фильма «Покаяние», «обладают некоей одномерностью... как бы в одной плоскости... информативны».

И это — всего лишь разминка, прежде чем приступить к делу всерьез.

«Сейчас,— утверждается далее,— *с удовольствием* (курсив мой.— **А. Т.**) нам показывают изнанку советского семидесятилетия. Последовательно, по частям перемалывают год за годом, везде выбирая только темное, мрачное, печальное, везде видя только застой, насилие, лагерные бараки».

Если суждение об «одномерности» в конце концов дело вкуса, то тут мы уже подошли, кажется, к «разным взглядам на развитие общества, разному подходу к государственности», и на свет явилось обвинение, в сущности, оскорбительного свойства, замешанное на густой неправде.

Итак, Бек с удовольствием разбирается в сложностях судьбы Онисимова. Рыбаков — с не меньшим — изображает возвышение Шарока и мытарства Саши Панкратова, а Дудинцев — драму честных ученых.

Но и это еще не все. «Каких только перемен не наблюдаем мы сегодня в литературе! — иронизирует критик.— Надо было воспитать поколение детей на «Кортике» и «Бронзовой птице», увлечь их поисками врагов народа, вредителей и диверсантов, чтобы спустя время прийти к «Детям Арбата». Надо самому лично запретить десятки кинофильмов, чтобы спустя время писать об этих же фильмах восторженные статьи».

Писатель приравнивается здесь к заведомому конъюнктурщику, который сегодня строчит одно, а завтра другое, диаметрально противоположное.

Но возможно ли, нравственно ли начисто «забывать», что между названными произведениями Рыбакова пролегают целые десятилетия, когда в сознании народа и самого автора совершались трудные и драматические перевороты?

Ведь, пользуясь таким «методом», можно не только годами шельмовать Юрия Трифонова, жив ли он или уже давно не может ответить оппоненту [1], но и Твардовского «уличить», ехидно поставив в счет автору поэмы «По праву памяти» его же стихи начала пятидесятых годов «К портрету» («Глаза, опущенные к трубке...»), и в Исаковского бросить камень за строки, ныне звучащие как трагический документ эпохи:

Мы так Вам верили, товарищ Сталин,
Как, может быть, не верили себе.

Видимо, к «пене» следует отнести и пьесы Людмилы Петрушевской. Если как-то не всегда ловко употреблять слово «поэтесса», слегка отдающее жеманством (Цветаева, например, очень на него обижалась), то Бондаренко бесстрашно пустил по адресу Петрушевской неологизм «драматургесса», сомнительная честь изобретения которого, кажется, всецело за ним. Оказывается, эта драматургия «расположена на уютном «пятачке» женского бытия».

Пена, предостерегает критик, ожидает нас и в ближайшем будущем. «Предчувствую,— вздыхает он,— волну инсценировок «Доктора Живаго», «Детей Арбата» и других ранее запрещенных произведений. Но это все «оживляж», погоня за модой и за зрителем».

Не уразумев, при чем тут «оживляж», и стесняясь своей непонятливости, уже как-то робеешь спросить: а нельзя ли допустить, что будут и талантливые инсценировки?

«Пена», наконец,— и отнюдь не последнее, а, как явствует из всего изложения, одно из самых главных ее проявлений! — это и оживление в печати, и изменение лица ряда ее органов, и «сверхтиражи» этих изданий.

Жил-был, скажем, журнал «Огонек», ни в чем предосудительном замечен не был — ну, разве что нередко терял всякую меру в прославлении «своих» и лютом охаивании «чужих», будь то «Новый мир» Твардовского, или Театр на Таганке, ставивший все, что угодно, кроме пьес главного редактора журнала, или покойный ныне режиссер Анатолий Эфрос, который, если верить одному из любимых тогдашним «Огоньком» авторов — М. Любомудрову, «опрокидывал на лежанку... чеховских трех сестер» (впрочем, это двусмысленное обвинение было высказано в статье, напечатанной уже в «Нашем современнике»; любопытно, что дружную критику этой статьи в печати Бондаренко именует «вакханалией», которая «вообще ни с чем не сравнима»).

Итак, жил-поживал «Огонек» и до того дожил, что целыми кипами лежал в киосках — вероятно, в силу отменных своих достоинств...

Но вот пришли к руководству журналом новые люди и начали делать его по-новому, перестраивать, обращаться к авторам, к которым тут раньше отродясь не обращались («он — ихний»,— как выразился в аналогичном случае один писатель,— не наш, значит...).

И исчез журнал с прилавков, стал за ним читатель в очередь с утра вставать, подписываться заторопился.

Быть может, в азарте перемен новая редакция что-то и не так сделала,— но порадуйтесь же все-таки, что еле тепливший «Огонек» ожил, ищет новые формы, устроил на своих страницах широкую читательскую трибуну!

Не-е-ет, он, как и газета «Московские новости», о которой до недавнего времени большинство читателей и знать не знало, и ведать не ведало, не удостоились в статье Бондаренко иного наименования, чем «органы «быстрого реагирования» ... оказавшиеся в руках приверженцев «отрицательной культуры»,— сиречь несущие с собой опасность «разложения, сладостного нигилистического тлена всеразрушения».

[1] Примерно (лат.).

[1] См. статью Вадима Кожинова «Мы меняемся?» («Наш современник», 1987, № 10).

Согласитесь, что, какие бы ошибки ни совершали названные органы (кто от них застрахован?), приписывать им роль неких отравителей общества... по меньшей мере смело!

Послушать Бондаренко и некоторых других, так «вся «гласность» заканчивается на погромах талантливых писателей», например: «сосредоточили огонь на В. Белове и Ю. Бондареве... пробуют приглушить голос В. Белова».

А весь-то сыр-бор — из-за двух-трех рецензий на «Все впереди» и «Игру»!

Эх, молодо-зелено, не помнят, какие раньше были погромные дарования и как им порой удавалось развернуться, уничтожая «фальшивую прозу» Твардовского «Родина и чужбина», роман Василия Гроссмана «За правое дело» или рассказ Александра Яшина «Рычаги»! Вот там действительно сосредоточивали огонь...

А нынче что! Этак и я могу возвестить о травле Даниила Гранина за «Зубра» или Юрия Трифонова за «Исчезновение» на основе двух статей Александра Казинцева в «Советской России» и «Нашем современнике» плюс высказывания самого Бондаренко насчет некоторых аспектов гранинской повести [1].

И пойдем мы опять по старому «доброму» обычаю стенка на стенку, да еще кто-нибудь, не дай бог, озаботится свинчатку в кулак положить для особой полемической убедительности...

Не надоело еще? Не пора ли нам другие примеры перенимать?

Уж, бывало, чуть ли не до рукопашной доходило порой у Достоевского с Щедриным, но не лучший ли отзыв о творце «Идиота» принадлежит его вечному оппоненту — и сделан при этом в непрекращающемся споре:

«По глубине замысла, по ширине задач нравственного мира, разрабатываемых им, этот писатель стоит у нас совершенно особняком. Он не только признает законность тех интересов, которые волнуют современное общество, но даже идет далее, вступает в область предвидений и предчувствий, которые составляют цель не непосредственных, а отдаленнейших исканий человечества. Укажем хотя на попытку изобразить тип человека, достигшего полного нравственного и духовного равновесия, положенную в основание романа «Идиот»,— и, конечно, этого будет достаточно, чтобы согласиться, что это такая задача, перед которою бледнеют всевозможные вопросы о женском труде, о распределении ценностей, о свободе мысли и т.п.».

Перечтешь такое — и не просто отдохнешь от иных наших баталий, но и еще раз задумаешься о сложности переплетений, в которые вступают в реальной действительности, в реальной истории живейшая злоба дня, те вопросы, которые Щедрин далее уподобляет «промежуточным станциям» на пути к конечной цели, с тем, что мы вслед за классиками называем «вечными, общечеловеческими интересами».

И негоже побивать одних другими — ни на основании, осмелюсь сказать, рыцарского признания Щедриным преимуществ Достоевского, ни на основании высказываний, принадлежащих другим нашим корифеям, но тем не менее отнюдь не являющихся бесспорными.

Так, в своей статье «Литературная критика: долги и надежды», напечатанной в «Известиях», Валентин Курбатов напомнил читателям некоторые места одной речи Льва Толстого:

«В последние два года политическая и в особенности изобличительная литература, заимствовав в своих целях средства искусства и найдя замечательно умных, честных и талантливых представителей, горячо и решительно отвечавших на каждый вопрос минуты, на каждую временную рану общества, казалось, поглотила все внимание публики... можно ли было думать о поэзии в то время, когда перед глазами в первый раз раскрывалась картина окружающего нас зла и представлялась возможность избавиться от его».

«Но он не был бы гением,— добавляет Курбатов,— если бы не глядел далее нужд дня и не видел главного,— что «литература народа есть полное всестороннее сознание его, в котором одинаково должны отразиться как народная любовь к добру и правде, так и народное созерцание красоты в известную эпоху развития».

А Валентин Курбатов не был бы острым критиком,— скажем уже мы,— если бы, приводя эти толстовские высказывания, не отдавал дань той самой «злободневности», против которой устами Толстого предостерегает.

Однако привел он эти высказывания не полностью! В частности, говоря о том, что «изобличительная литература» поглотила все внимание публики, Толстой заключает фразу словами: «и лишила художественную литературу всего ее значения», а далее, говоря о послышавшихся в обществе «толках о том, что темные картины зла надоели, что бесполезно описывать то, что мы все знаем, и т.п.», говорит: «И общество было право».

В свое время Лев Николаевич писал одному чрезвычайно начитанному гимназисту: «Желаю вам думать самому».

А не попробовать ли и нам не спешить согласиться с цитируемой речью — тем более если «проецировать» ее на современность?

Все-таки ее произносил еще не автор «Войны и мира» и тем более «Воскресения» или «Не могу молчать», а тридцатилетний человек, довольно вызывающе аттестовавший в ней себя как «одностороннего любителя изящной словесности». Пройдет еще тридцать лет, и сам «оратор» то ли сердито, то ли добродушно отмахнется от нее: «Сказана была глупая речь об искусстве для искусства...»

Так что вряд ли это подходящий материал, чтобы пытаться соорудить из него плотину «волне «прогрессивного мракобесия», как выражается наш современник, или, если вспомнить слова из той же толстовской речи, «долго сдержанному прорвавшемуся политическому потоку».

Нет, по-моему, в духе великих традиций нашей литературы и традиций самого Толстого совсем другие слова, сказанные Львом Николаевичем в письме к Герцену об опасливых созерцателях совершающихся реформ:

«...эти люди — робкие — не могут понять, что лед трещит и рушится под ногами — это самое доказывает, что человек идет; и что одно средство не провалиться — это идти не останавливаясь».

[1] См. об этом письмо в редакцию «Литературной газеты» академика В. Струнникова и др. «Необоснованные обвинения» (27 января с. г.).

ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ ЖУРНАЛА

В той же статье «Очерки литературных нравов» В. Бондаренко пишет следующее: «В «Юности» печатались, одна за другой, две повести родственника Ш. Рашидова, молодого прозаика Нурали Кабула, его имя мелькало в хвалебных рецензиях, но пришли перемены — и главный редактор «Юности» Андрей Дементьев заявил в одной из статей, что Нурали Кабул не оправдал ожиданий. Талант увял, что ли, или его вовсе не было?.. Подобной перестройкой сегодня занимаются многие. Отворачиваются от своих покровителей, рядятся в тогу борцов за справедливость».

Назовем вещи своими именами: «факт» этот сфабрикован на уровне литературной сплетни.

Начнем с того, что первоначальная удача молодого литератора не является, к сожалению, гарантией последующих. Судьба дебютантов складывается по-разному, это известно всем работникам журналов и издательств.

Не ровен путь и Нурали Кабула, дебютировавшего в «Юности». Первая его повесть «Небо твоего детства» была горячо одобрена Б. Н. Полевым: «...компактная эта повесть сделана довольно выразительно. Способности Кабула очень своеобразны. Мне кажется, они носят национальные черты узбекской литературы. Словом, я за то, чтобы приготовить повесть к номеру «зеленого листка» будущего года...» Но затем из пяти предложенных Кабулом рассказов три были отклонены. Впоследствии мы были вынуждены вернуть автору еще две повести. Эти события никак не связаны с посмертной оценкой деятельности Рашидова, поскольку произошли... при его жизни.

Мог это уточнить В. Бондаренко? Мог. Но не захотел по понятным причинам.

Что же касается публиковавшейся в нашем журнале прозы Нурали Кабула, то — в отличие от В. Бондаренко — читатели «Юности» до сих пор пишут молодому писателю письма и ждут от него новых произведений. Видимо, в литературе их интересует прежде всего литература.

В № 12 «Юности» за 1987 год было опубликовано письмо новгородца А. Орлова «Никто не забыт?», в котором поднимался больной и трудный вопрос о жертвах войны, о преступлениях живых против павших, о неблагодарной памяти нашей. Речь шла о тысячах и тысячах наших воинов, которые и сейчас, сорок лет спустя, лежат незахороненными в Мясном Бору, где проходил Волховский фронт. Да и не только там...

В ответ редакция получила сотни писем — потрясенных, возмущенных, негодующих; писем, в которых наши читатели предлагают свою помощь для захоронения павших воинов, требуют кардинальных мер, решений от Министерства обороны и других государственных учреждений.

Публикуя письмо нашего читателя из Ленинграда О. П. Ханеева, дополняющее рассказ о трагической истории Мясного Бора и обороне Ленинграда, редакция выражает надежду, что Министерство обороны СССР найдет возможность откликнуться на эти два материала.

НЕ ЗАБЫВАТЬ. НИКОГДА!

Уважаемая редакция! Хотелось бы несколько дополнить то, о чем написано в письме А. Орлова «Никто не забыт?» (№ 12, 1987). О документальном фильме «Комендант Долины смерти». Он действительно снимался на ЛСДФ, однако работа над ним не была завершена. И тут даже печальную формулу не применить — «лег на полку», ибо, вероятнее всего, материал «смыт», «сдан на серебро», «пошел на гребешки». История, к сожалению, слишком частая для эпохи «культа» и периода «застоя», когда не только правда приходилась не по нутру, но и всемерно унижались творческий труд, честность, искренность, талант.

Сергей Сергеевич Смирнов сам привез этот сценарий в Ленинград. До этого, как выяснилось потом, он предлагал его московской студии, однако там сценарий был отвергнут, несмотря на всенародную известность автора (лауреат Ленинской премии, что было еще в то время редко, ведущий одной из самых популярных в те годы телепередач). Конечно, и мы, на ЛСДФ (я тогда был главным редактором студии), понимали некоторую уязвимость сценария, в котором, как говорят документалисты, был не прописан изобразительный ряд. Да и сложность съемок учитывали и особенно все трудности сдачи готового фильма. Ведь в те времена каждый короткометражный фильм должен был приниматься не только объединением, редакцией, директором, художественным советом студии, но и обкомом партии (всеми секретарями обкома во главе с первым, всеми секретарями горкома, заведующими всех отделов и др.), Роскино и Госкино, а нередко еще и каким-нибудь министерством или комитетом. И любой из представителей этих инстанций, которому что-то «показалось» в силу его недостаточной компетентности или просто скверного настроения, мог приказать что-то вырезать или вовсе искорежить, а чаще всего «завернуть»: на переработку или навсегда. Студия понимала: в таком фильме, как «Комендант Долины смерти», очень многое могло потом «показаться». И все-таки решили снимать его.

Не скрою, у меня были и «личные мотивы». Мне довелось воевать в составе 2-й Ударной армии. Правда, не под Мясным Бором, но все-таки пройти с ней из-под Синявина (где эта армия, переформированная и пополненная, вела также очень тяжелые бои в 1943 году) на Ленинградский фронт и в Ленинград, откуда армия была скрытно перевезена на баржах на «Ораниенбаумский пятачок», с которого она и наступала на Нарву (там — уже в феврале 1944 года — я и был ранен).

Съемки были поручены режиссеру, также знавшему, что такое война, фронт, окружение. Ю. Ф. Рябов был документалист профессиональный — один из немногих тогда вгиковцев.

С самого начала съемок Сергей Сергеевич Смирнов нашел творческий контакт с режиссером. Ибо во время первого же просмотра отснятого материала они выступили единым фронтом.

Сняты были в огромном числе трупы, их эксгумация и захоронение. Сотни, тысячи черных черепов, ребер, берцовых костей. Сотни метров черно-белой пленки... И гробы, гробы, гробы... Признаюсь, мне, прошедшему войну, было страшновато видеть все это четверть века спустя.

Договорившись с авторами о съемках новых эпизодов, которые могут лечь в основу ленты, об «осветлении» материала, решили продолжать работу. Группа возвратилась в Новгородскую область, вскоре там в местной газете появилась заметка о картине. И вдруг, когда съемки подходили к концу, разразилась катастрофа. Раздался телефонный звонок из Роскино. Приказывалось немедленно, ничего не монтируя и не подбирая, отправить весь материал в Москву. «До единого метра и все дубли!» Такого еще никогда не было. И никто не знал, зачем и кому потребовался материал. Но больше никто на студии его не видел. Выяснилось, что затребован он был военными, которым случайно попалась на глаза заметка в областной газете. Существует якобы международная конвенция об устранении всех последствий войны в установленные сроки. К моменту снятия фильма эти сроки прошли. Поэтому высказывалось опасение: а что, если «там» увидят фильм, как будет выглядеть тогда наша страна? Сработал комплекс страуса: ничего вокруг не существует, если я этого не желаю видеть. Основной принцип «застоя» — ничего не видеть, чтобы ничего не делать.

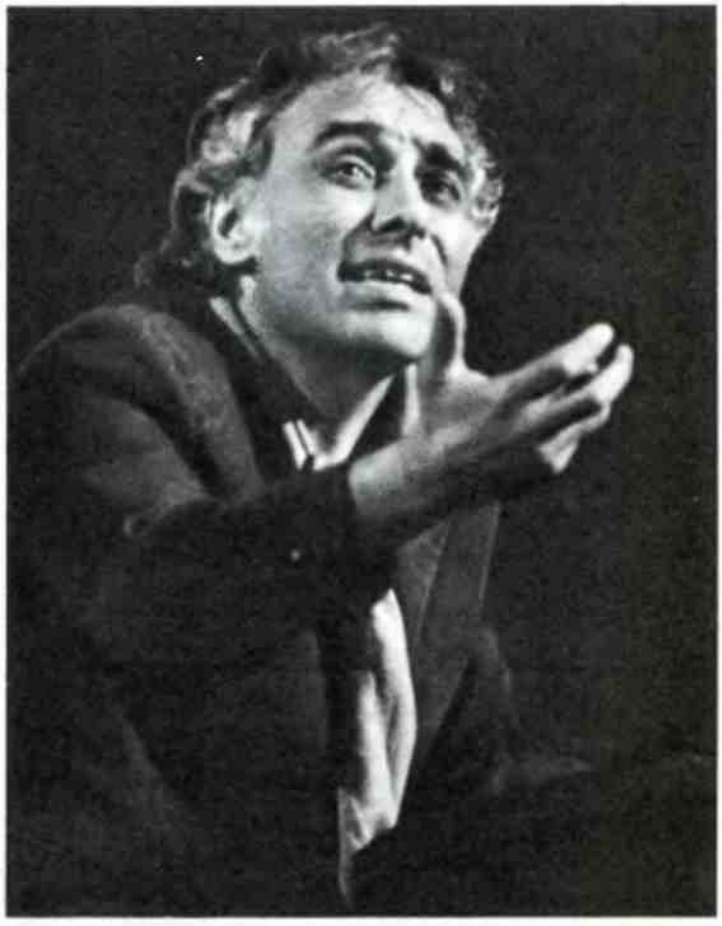
...Немецкая оборона у Мясного Бора была прорвана 17 января 1942 года. Хотя в момент приказа о наступлении в батареях не было ни одного снаряда, считалось, что у нас перевес в пушках и минометах в 1,6 раза. Плохо было с продовольствием. В бой бросались в основном необстрелянные, необученные, плохо обмундированные части. Операция планировалась поспешно и неумело. Десятки тысяч солдат, кавалерийский корпус, тыловые части необдуманно вводились в мешок, протянувшийся почти на сотню километров и образовавший, по сути, новый фронт протяженностью более двухсот километров. Держали же его против боевых немецких дивизий, против испанской дивизии, голландской мотобригады, легиона «Фландрия» и норвежских квислинговцев. К тому же Ставка затеяла какую-то странную реорганизацию фронтов, упразднив неожиданно Волховский. Это и вовсе нарушило координацию между армиями. Особенно с 54-й, которая так и не пробилась навстречу 2-й Ударной.

Солдаты ели кору, ремни, а в это время комиссар Зуев доносил армейскому комиссару 1 ранга Запорожцу: «Многие от истощения вышли из строя... Несмотря на это, настроение людей здоровое». Армия погибала, а в Ставке продолжали разделять и опять соединять фронты, издавать директивы, выполнить которые подчас было невозможно. Примечательна одна из формулировок директивы от 8 июня 1942 года: «За бумажно-бюрократические методы управления войсками, за отрыв от войск...» Это о снятии с должности командующего фронтом.

О ленинградской блокаде необходимо наконец сказать все. О ее причинах, о героизме и трагизме, о просчетах в стратегии (особенно начального периода), о таких операциях, как бои на «Невском пятачке», на котором погибло почти столько же, сколько в армии США за всю вторую мировую войну, о Петергофском десанте (погибшем целиком в 1941-м) и о Мерекюльском (из которого спаслось семь человек — в феврале 1944-го), о Любанской и первой Синявинской операции, о причинах падения Мги и Шлиссельбурга, о народном ополчении, о «Лужском рубеже» и еще об очень многом. Да и жертвы бы посчитать заново. И подумать: а все ли было сделано, чтобы оказалось их меньше? Это необходимо живым, чтобы действительно усвоить трагический урок (кстати, и понять бы истинную философию подвига ленинградцев, как и всякого подвига). Это необходимо и павшим, если действительно никто не забыт. А забывать, как мы теперь начинаем понимать, вдумываясь в слова, повторявшиеся иной раз по привычке, нельзя. Никогда.

О. П. ХАНЕЕВ, ветеран Великой Отечественной войны, г. Ленинград

«ФАРАОНОВО ПЛЕМЯ» В ГОСТИНИЦЕ «СОВЕТСКАЯ»



Тайны всегда влекут — так уж создан человек. Желание разгадать тайну, смею сказать, в равной степени движет великим ученым и простым любителем детективов (второму, правда, легче, зато и удовольствия меньше). Тайны влекут рассудочных и восторженных, практически заинтересованных в разгадке и обычных любопытствующих, как я, да ты, да мы с тобой...

Цыгане всегда стояли в ряду тайн, «коих мы не в состоянии понять и которые, слава богу, отделены от нас темной, непроницаемой завесой», как писал А. К. Толстой.

О цыганах одни утверждают, что с берегов Ганга занесло их в Россию; другие Египет называют их родиной. Так или иначе — откуда, из каких краев и тысячелетий забрели они на наши земли — никому точно неведомо.

Но есть в Москве место, где каждый может хоть на йоту, но приблизиться к истине в своем постижении цыганской тайны. Пока не отстроено новое, собственное здание для театра «Ромэн», «фараоново племя» (по выражению А. И. Куприна) обосновалось в концертном зале гостиницы «Советская». Вот уже много лет тянутся сюда со всех уголков России, всего Советского Союза цыгане-самородки. Вот так театр — если талант есть, и без образования берут в труппу, подучивают, кому чего не хватает. (Выяснилось, правда, что бывают цыгане и без музыкального слуха, и такие тоже часто приходят: мол, возьмите, я же цыган — разве недостаточно?)

С 1977 года театр возглавляет Н. А. Сличенко, народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР, сам когда-то пришедший сюда совсем мальчишкой.

— Николай Алексеевич! Что стоит за словом «ромэн»? Если взять, скажем, такой экзотический язык, как гавайский, там есть слово-символ «алоха» — это и просто приветствие, и «мир», и «радость», и «счастье», и целая жизненная философия...

— Нет, со словом «ромэн» как раз все наоборот. Хотя армянские цыгане называются «боша», иранские — «карачи», среднеазиатские — «люлю», испанские — «гитана», английские — «джипси», обращение «ром» понятно любому из них. «Ромэн» — множественное число, то есть «цыгане, театр цыган». Но в цыганском языке, конечно, есть случаи, подобные приведенному вами: например, слово «рат» — это и «ночь», и «кровь», и различимы только в контексте...

— Театр существует с 1931 года (индо-ромским театром-студией назывался он тогда), но только в последние пять лет стал выезжать на гастроли — в Японию, Югославию, США, Израиль. Как вас встречают?

— В 1982 году мы поехали на гастроли впервые — в Японию. В этой стране никогда не было цыган, вот для кого мы были полной загадкой! Артисты наши почувствовали двойную ответственность, подтянулись — стали еще красивее. И смотрели на нас там буквально как на посланцев с другой планеты. Перед поездкой нас предупреждали, что публика в этой стране вежливая, но сдержанная, однако раз дело дошло до того, что какая-то японка пошла танцевать в зрительном зале! Потом они сами говорили: «Что вы с нами, японцами, сделали, мы и сами не знали, что мы такие!» А в рецензиях на спектакль «Мы — цыгане» писали: «Цыганские песни напоминают японские по самобытности, по манере исполнения»...

— Лесков и Горький, Пушкин и Мериме, Сервантес и Гюго, Лорка и Лев Толстой — почему столько обращений самых великих писателей к судьбе маленького народа? Может, потому, что над самыми великими довлеет и самое великое бремя — их гениальность, и они особенно остро воспринимают тему воли, свободы, к которой всю жизнь стремятся. Наверное, в образе цыганского народа они видят какой-то идеал?

— Я часто об этом думаю. Порой смотришь: боже, за что нас так любили великие? Ведь не все в цыганской жизни гладко, путь к вершинам так долог и сложен, и не так часто она совпадает с воспетым идеалом. Но иногда вдруг понимаешь: ах, вот почему, вот за что... Вторая картина в «Живом трупе» — Федя Протасов среди цыган — всякий раз идет поразному. Иногда так стройно, что думаешь: в каком храме ты находишься? Русские поэты XIX века посвящали цыганам стихи, а цыгане запели песни и романсы на слова Державина, Пушкина, Лермонтова, Апухтина, Кольцова, Фета... Это удивительно, как цыганская и русская культуры обогатили друг друга. Я слушал как-то хор сибирский и думал: как похоже на цыганскую песню, как мы бы спели...

С. Яковская в роли Маши в спектакле «Живой труп».

— Но, кажется, русский человек склонен петь, играть, словом, музицировать скорее «для себя». Фольклористы говорят, что даже игру пастуха на жалейке не так-то просто записать — не играет он «по просьбе», приходится записывать его импровизацию издалека, укрывшись в лесу. А цыгану нужно все время от публики заряжаться, грубо говоря, «на зрителя работать»?

— Это совсем не так! Бывают минуты, когда поешь только для себя, словно думу думаешь. А уж если цыгане вдвоем соберутся — здесь и слезы, и радость, все вместе... Но для себя — это одно, а в театре — другое. Очень больной вопрос — чувство вкуса, меры. Песенное искусство всегда на острие. Скатиться до пошлости — одна секунда...

— Насколько вы гарантируете подлинность того, что поют и танцуют в театре?

— Молодой человек, пришедший к нам, попадает в большой коллектив — семьдесят человек,— много лет стоявший на страже того, чтобы не допустить «цыганщины». Эту заповедь оставили нам в наследство замечательные актеры первого поколения. Их талант, подлинность их искусства стали критерием для поколений следующих. А оно передается из души в душу, из рук в руки, в ежедневной, кропотливой работе.

— В вашем театре много молодежи. Вы ездите за рубеж, ребята наверняка привозят модные записи. Как они у них в голове уживаются рядом с песнями, которые они ежедневно поют искренне, страстно?

— Мне кажется, молодежь нашего театра все-таки чувствует подлинные ценности — сказывается постоянное непосредственное музыкальное воспитание. Мы пронесли свою музыку через века, в каком-то смысле и она нас сохранила, и важно, чтобы у нашей молодежи было постоянное сознание этого.

— О темпераменте ваших актеров даже говорить как-то неудобно. Глаза сверкают — не подходи! Просто дополнительный эффект какой-то. Как вообще можно управлять такой горячей труппой? И управляема ли она?

— Я счастливый человек: «Ромэн» — театр единомышленников. Я служу этому театру вот уже 36 лет и не смог бы работать в коллективе с иным градусом страстей. Как его руководитель, я делаю все, чтобы равнодушие не вползло в нашу труппу, в наши отношения, в отношение к делу, которому мы все служим.

— Когда у вас возникло ощущение, что надо ломать стереотип чисто реликтового театра? С чем это было связано — с желанием доказать, что театр способен подняться над узкоцыганскими проблемами? С вашей личной актерской неудовлетворенностью? С человеческим честолюбием? С тем, что вы видели у труппы большой, оставшийся за бортом потенциал?

— В вашем вопросе есть неточное ощущение жизни театра многих десятилетий. Он всегда стремился выйти за рамки чисто этнографического. За 56 лет было много взлетов, интересных спектаклей. Были и падения. Таково вечное движение поиска. Я всегда понимал, что сугубо фольклорных спектаклей или спектаклей о чисто цыганских проблемах маловато для разговора со зрителем, много лет испытывал ностальгию по разумному, глубокому, философскому разговору с ним. Вот почему я сегодня мечтаю поставить «Отелло». И разве это будет не актуальный спектакль? Яго рядом с Отелло — тема вечная: Моцарт и Сальери, Пушкин и Дантес... А разве мало именно сегодня в нашей жизни всяких яго — такой живучий тип!

— Теперь о публике. Очень обидно, что в зале много людей, как я считаю, случайных. Я понимаю, нельзя отказать им в праве «словить свой кайф» на «Сколько счастья, сколько муки», на «Ай, да зазнобило». Никто не осуждает даже их желание просто поглазеть на «живого Сличенко». В этом смысле со спектаклем «Живой труп» им не очень повезло (да не на них расчет, как я понимаю)...

— Наверное, есть зрители, которые хотят видеть нас только поющими и танцующими, не понимают, что и мы страдаем от несовершенства мира вокруг, мучительно ищем новые пути самовыражения. Со спектаклем «Живой труп» мы шли на определенный риск. Пьеса пролежала в театре все годы, что я тут работаю. И каждый год говорили: «У нас в портфеле Толстой!», каждый раз прикидывали: кого пригласить со стороны на роли Феди, Лизы, Каренина... Мне же всегда хотелось поставить эту пьесу своими силами.

— Два года говорили мне: сходи посмотри Сличенко в «Живом трупе», не верила, однако... Пришла — действительно, первая сцена идет довольно натянуто, страшно стало: что будет дальше? За то ли театр взялся? Но вот появились цыгане и Протасов, которому с этим вольным народом дышится легко. И действие сразу втягивает, потому что нельзя не поддаться обаянию общности цыган, уникальной слитности огромного актерского коллектива, заполнившего сцену, будоражащего фантазию. Для Феди ли одного поют они, пробуждая его к жизни? Для каждого из нас, унося в мир надежды, которая умирает последней... Пришла я с вашего спектакля — захотелось перечитать. И вот какую тайну помогите разрешить: Маша, уводя Протасова из обрыдлой ему жизни, обещает: «Будем жить во славу». Проходит год — и мы видим его в трактире, одинокого. Значит ли это, что цыгане отвергли Федю? Или он не принял каких-то их законов?

— Для меня разгадка в словах Феди, обращенных к Маше: «Коли останусь жить, то погублю тебя». Не хочет мешать никому, отказался от всего, сжигает себя... Но как только слух о его «возвращении» прошел — цыгане тут же появились! В этой последней сцене — смысл, секрет нашей постановки. В том, что цыгане не разрешают людям «того» круга даже прикоснуться к безжизненному телу Феди, сами хоронят его. Это сцена, ради которой я ставил спектакль...

Вот создали в Москве театр «Дружбы народов», где постоянно, сменяя друг друга, будут гастролировать коллективы со всех концов страны. А моя мечта скромнее (как сказать!): театр, куда продаются абонементы, скажем, вроде филармонических — на пять спектаклей. Вместо пяти очередей выстаиваешь одну, правда, в пять раз длиннее, и покупаешь абонемент «Русская классика». И весь год спокойно смотришь: «Дядю Ваню» Некрошюса и мхатовского, «Кроткую» с Борисовым в постановке Додина, таганкинские «Три сестры», «Живой труп» со Сличенко. Надолго впечатлений бы хватило.

(Беседу вела Н. КОРЕНЕВА)

Александр
ДУДОЛАДОВ

РОМАНТИКА

— Почем у вас огурцы? Почем у вас огурцы? Почем у вас огурцы? — три раза повторил я. Но он не обращал на меня внимания. Невысокий молоденький паренек в белой куртке продавца. С той стороны уличного торгового лотка.

Он стоял и смотрел вдаль, куда-то туда, где меня нет. Наверное, так смотрят в море старые морские волки, вспоминая былое, подумал я. И еще я подумал: наверно, ему ужасно скучно здесь, среди ящиков с кривыми бурыми огурцами. Ведь мальчик еще, а туда же — к доходам.

Не глядя на меня, будто рассуждая вслух, он сказал:

— Почему-то все считают, раз человек работает в торговле, значит, он ворует. Вот я работаю в торговле и совершенно презираю деньги. Совершенно! Не верите?

Он отчаянно глянул на меня.

Я съежился.

Он выхватил из кармана пачку червонцев и бросил в урну.

Я вскрикнул и инстинктивно бросился их вытаскивать. Пачка была тяжеленькая, перетянутая черными суровыми нитками.

Я подал ему. Он безразлично сунул деньги в карман халата и сказал:

— Зря вы так. Все равно они фальшивые.

— Но-о,— протянул я.

А он вдруг быстро оглянулся по сторонам и шепотом заговорил:

— Это же мафия! Синдикат! Сговор! Правильно люди думают. У них все воруют. Все! И меня заставляют!

— А вы? — предчувствуя ответ, спросил я.

— Я — нет! — сказал он и гордо откинул назад голову.— Я с ними бьюсь! Один.

— Хм...

— Они мне простить этого не могут. Боятся, конечно. Убрать меня пытались,— многозначительно произнес он.

— В каком смысле?

— В прямом. Яд из перстня. Пистолет с глушителем. Винтовка с оптическим прицелом... А однажды — я тогда в вагоне-ресторане работал — едем как-то глухим таким местом, кругом топь, гарь. Место гиблое! Ни один тепловоз не взялся нас провести. Поэтому к нам на станции пристегнули какой-то паровозишко, который не жалко. Кое-как тянет. Машинист ругается, дрова сырые, стекла дребезжат. Я в буфетной был, вдруг слышу: он вскрикнул...

— Кто?

— Машини-ист! И сразу конский топот! Гиканье, свист! Я — к окну! Поздно! Они со всех сторон прямо с коней, как саранча из травы, на поезд прыгают, на поручнях виснут.

Ну, выволокли меня. Привязали к дереву.

А пассажиры в окно пялятся, улыбаются, руками машут, довольны. Думают, кино снимается. Какое кино! Сам управляющий трестом Спиридонов там!

Спрыгнул с коня. Поводья бросил подбежавшим и ко мне медленно так идет (никогда не забуду), хлыстом по зеркальному тугому голенищу постукивает. Звук такой противный: ццач, ццач. Я в белой куртке, с толкушкой для пюре, как был, стою к сосне привязанный.

Подходит. Выхватывает из-за пазухи приказ об увольнении и — мне! В лицо! Я смотрю прямо в буквы его подписи, не дрогнул! Ни одним мускулом лица ничего им не показал.

Он зубами скрипит. И... первым не выдержал, закричал:

— Ну! Долго ты будешь над нами издеваться?!

Я молчу.

Он:

— В последний раз спрашиваю: будешь пюре водой разбавлять или нет?!

Я звонко так, на весь лес:

— Н-нет!

— А-а-а! — закричал он, за голову схватился, вскочил в седло и помчался в топь. Ну, и вся банда за ним.

Тут эти, с поезда, бегут, падают, обнимают меня, целуют. Машинист связанный выскакивает, веревки на бегу зубами рвет. Да где их порвешь — нейлон. Хорошо, у одной пассажирки маникюрные ножницы при себе оказались. Освободила нас...

— Да-а-а, — потрясенно сказал я,— вот это история!

— Что вы,— снисходительно протянул продавец,— это еще что. Я как-то в шашлычной работал, истопником.

Они мне по телефону звонят: «Согласен,— спрашивают,— вместо березовых дров на мазуте жарить? Дело верное. В неделю кубометр дров. За полгода пиломатериала на дачу накопишь».

Я им так звонко в трубку, наверное, на всю АТС:

— Н-нет!

Они шепотом:

— Ну, смотри, парень. Ты нас знаешь.

— Знаю, знаю,— говорю,— как же не знать: зав. производством, кладовщик, бухгалтер Емельянов.

На следующий день прихожу домой. Ба! Соседа похитили!

У меня в комнате все перерыто, разбросано. Наверное, уголовный кодекс искали. Не нашли. Он у меня в чемодане с двойным дном в тайнике под двойным полом спрятан. Только профессионал может найти. А эти? Грубо сработали! Соседа вот похитили. А зачем он им?

Но все равно, думаю, надо выручать.

Утром на работу приношу ведро мазута. Они ко мне. Смеются, по плечу хлопают: «Наконец-то, наш».

Я говорю: «Ваню сначала отпустите!»

Едем на загородную дачу Емельянова. Спускаемся в подвал. Цветомузыка! Девушки! Бар! Коньяк! Ваня сидит, разрумянившийся такой, веселый. Уходить не хочет. Гады, знали, чем взять!

Бешено соображаю: что же делать? И вдруг осенило! Хватаю ведро. Выливаю на Ваню мазут!

Он вскакивает. «Как же я в таком виде вон ту девушку теперь на танец приглашу?!» Обижается на меня и уходит билет на электричку покупать. Эти его уговаривают, бегут за ним. А он им принципиально: нет, мол, в следующий раз, может быть, если без этого идиота.

Расстроил, в общем, я их планы...

Продавец замолчал, о чем-то ласково задумавшись.

А я робко спросил:

— Ну, а может, в милицию лучше было в тот раз обратиться?

Он глянул на меня и неодобрительно произнес:

— Что ж все на милицию надеяться? До каких пор? А сами-то мы на что?

— Да-а,— протянул я,— действительно.

— Ну ладно, сколько вам огурцов? — спросил он.

— Что? А, килограмма три.

Он начал класть огурцы на весы и вдруг выхватил один — я успел разглядеть на его кожуре нацарапанный череп — и швырнул в кусты, дико крикнув: «Ложись!»

Я упал, закрыл голову руками.

Мы лежали минуты три: я по одну сторону лотка, он — по другую. Под прилавком мне хорошо его было видно. Лежал он умело.

— Сейчас жахнет! — сказал он.

— Мафия? — понимающе прошептал я.

Он утвердительно моргнул.

Мы лежали еще минут пять. Но не жахнуло.

Подошли чьи-то ноги. Мы встали. Отряхнулись. Это была девушка. И какая! И с каким восхищением она смотрела на него, обыкновенного продавца!

Они начали болтать о чем-то, видимо, знакомые. Но как она смотрела! Раньше так смотрели на моряков, на парашютистов!

В тот день я, кажется, понял, почему молодежь теперь идет в торговлю. Раньше — в летчики, детективы, полярники. Теперь — в торговлю.

И вовсе не из меркантильных соображений.

Тут дело глубже!

Молодежь во все времена искала романтику! Везде.

ПРИЗРАК

Где-то в верховьях канализационной системы нашего здания, в отрогах чердака, там, где никто никогда не бывал, а если бывал, то живым не возвращался, и жил он.

Кто он, откуда взялся, чем питался и зачем там жил — никто в нашем учреждении не знал. Мы считали его привидением, или, лучше сказать, призраком, и ко всем его выходкам давно привыкли.

Да, бывали времена, производил он на нас впечатление. Женщины взвизгивали, когда он появлялся. Мужчины прятались в шкафы...

Бывало, ворвется в комнату, сам черный такой, глаза, как уголья, горят. Встанет в дверях и скажет зловеще:

— Негодяи! Вы обидели Ковригину! Вы не дали ей премию по новой технике! И поэтому вы умрете, как шакалы!

Сверкнет глазищами и растает в воздухе, хлопнув дверью. Заслышится конское ржание в коридоре, забьет конь копытами. И — все! Стихнет все. И тишина наступит жуткая.

А мы сидим — прямые, белые. Потом кто-нибудь скажет: «А ведь верно, зря мы Ковригину обидели». И все головами закивают: да, зря, зря, надо дать.

Чаще всего он за обиженных и оскорбленных заступался: ну, там поздравить кого-нибудь забудут, или насплетничают о ком, или в очереди на квартиру кому-нибудь житья не дадут.

Но бывало, и в производственные вопросы вмешивался. Ворвется, огненным взором полыхнет и жутким голосом проскрежещет:

— Вы зачем Цапченко в колхоз послали? Чтоб он колхоз разорил? Умрете, как шакалы!

Или прямо на вороном коне ворвется в кабинет, размахивая нагайкой, пуская бумаги по ветру:

— Зачем план себе скостили? Стервятники! Зачем телеграмму в главк давали? Болтаться вам на суку!

Но, в общем, он безобидный был. Пугать пугал, а до дела не доходило. За все это время никто из нас, как шакал, не умер. Иванов только несколько раз запивал в рабочее время и в пьяном виде кричал:

— Это же совесть наша! Как вы не понимаете? Он же — наша совесть, а никакой не призрак! Он нам — правду! А мы-ы... му-у-у...

Иванова мы, конечно, на собрании прочистили и на поруки взяли. А насчет призрака строго было указано: «Ну какая же он — совесть? Он же черный весь, во-первых. А во-вторых, он просвечивает, и сквозь него многое видно».

Вот так и жили мы. Спорили, развивались...

И призрак наш на месте не стоял — развивался.

Сначала ведь он активный был, пунктуальный такой, как что — сразу: «А-а! Собаки! Дождетесь вы моей кары!»

Но потом, честно сказать,— то ли мы попривыкли, то ли он подустал, то ли время такое наступило,— но стал он реже появляться.

А то явится какой-то заспанный, тихий, посмотрит на нас грустно, и только сил у него и хватит вздохнуть тяжело и махнуть на нас рукой.

А то вообще, прежде чем войти, постучится, спросит: можно ли, не помешает ли? Бочком так войдет, шапку с головы сдернет, постоит, переминаясь с ноги на ногу, и вдруг чего-то такое забормочет быстро-быстро, будто жалуется. Но ничего понять нельзя. И только слезы по его морщинистым щекам стекают.

И жалко станет. Смотришь на него, думаешь: «Вот ведь, чудак, чего он? У нас такие успехи кругом, взять хоть добычу стали, или балет, или ...опять же добычу стали. Так чего же?»

А потом он вообще исчез!

Мы уж думали: все, отмаялся. Но слухи ходили в курилке, что жив еще. Рассказывали, будто бы кто-то там, наверху, слышал его стариковский храп.

Так и жили.

А потом вдруг — бац!

Однажды! Утром! Иго-го-го! Фр-р-фр-фыр!

Вываливаем в коридор. Ба! Он! Да какой! Конь под ним белый!

Сбруя новая! А сам-то, са-ам! Будто лет пятьдесят сбросил! Красавец, джигит! Кавалерист! Бурка, папаха! Усы торчком!

И опять все снова началось. Пошла жизнь!

«А, бараны! Долго вы будете экстенсивные методы вместо интенсивных внедрять?! Будут ваши кости гнить в бездонной пропасти! Эгегей!»

«А, шакалы трусливые! Бумаготворчеством занимаетесь?! Дождетесь! Вырастут у вас бумажные головы! Достанет вас моя суровая рука!»

Ну, и мы ожили как-то. Честное слово, как-то веселее стало. Мы даже гордиться им начали.

И вот недавно пришла к нам весть, что должен к нам прибыть зам. нач. главка товарищ Пупышев — проверять, как идет перестройка.

Мы долго думали, как бы его принять посолиднее, и решили ему про призрака рассказать. Так, мол, и так, есть у нас, как в лучших домах, то есть как бы на уровне мировых стандартов, свое привидение. Правдуматку режет чем попало, ничего не боится. Так что насчет гласности и критики у нас есть сдвиги.

И вот, значит, приезжает зам. нач. главка товарищ Пупышев. Ходит по учреждению. Строго смотрит в лица людей. Записывает в блокнот впечатления. Ну и заходит, значит, к нам. «Здрасте, здрасте. Чем порадуете?»

Ну и мы давай ему про нашего обличителя рассказывать.

Слушал, слушал товарищ Пупышев, положительно головой качал, одобрительно покашливал и говорил, что это очень интересно: такая форма критики — в виде призрака.

И вдруг дверь распахивается! И входит он!

Входит и с порога начальнику:

— А-а! Попался! Тебя-то мне и надо! Сколько лет тебя поджидаю! Ты зачем их дуришь? Зачем хорошие дела наизнанку выворачиваешь? Зачем их бумагами и призраками завалил? Ешь их теперь! Эти бумаги!

Товарищ Пупышев говорит:

— Интересный взгляд на проблему. Поддерживаю товарища. Очень, знаете ли, современная критика.

А мститель наш желваками зашевелил, зубами заскрипел, шерсть на его бурке дыбом встала.

— Зачем,— говорит,— обман произносишь? Завалю я тебе горло, как мусоропровод в новом доме!

Начальник голову в плечи втянул, покрепче в пол ножками уперся и бодро так говорит:

— Это как фамилия у товарища? Надо его срочно на районную конференцию по проблемам сближения умственного и физического труда выдвинуть. А то, я вижу, у него зазор между теорией и практикой.

Тут наш джигит прямо всем телом заскрежетал, потемнел весь и говорит жутким таким шепотом:

— Сгинешь ты сам в пропасти между умственным и физическим трудом! Стервятник!

— Да, хорошая у нас молодежь растет, боевая, кипит! — говорит товарищ Пупышев.— Нам теперь нужны такие вот.

Ну и тут пришелец наш не выдержал. Мы даже вскрикнуть не успели. Хвать товарища Пупышева! Мешок ему на голову — хлесть! И дверью — хлоп!

Хвать! Хлесть! Хлоп! Конское ржание в коридоре! Хлест нагайки! Крики! Мы только успели к окнам броситься и увидели, как он на белом коне через ограду перемахнул и скрылся в облаке пыли.

А товарищ Пупышев, через седло переброшенный, только ножками дрыгал.

Куда он его?

А через час входит наш мститель как ни в чем ни бывало. Стуча сапогами, проходит через весь кабинет, садится у окна.

И странное дело — вроде как не просвечивает он, вроде как настоящий, а не призрак вовсе.

Посмотрел он на нас строго так, руки отряхнул и говорит:

— Бросил я его на один трудный участок... одной пропасти.

Мы стоим и думаем: «Е твое, что ж теперь будет-то?»

А он подмигнул нам и вдруг говорит весело:

— А ничего не будет. Или — нет! Лучше сказать, только теперь все и начнется. Ну, где у вас тут свободное место? С вами остаюсь.

И мы думаем: правильно он решил. Чего ему по чердакам мотаться? Будто здесь дел нет.

Пусть уж лучше всегда с нами будет.

Страшно, но — хорошо! И пусть будет так.

Правильно?

Юрий БУКОВСКИЙ

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Космонавт Нарасим Фетюша Визим Нури, еще до нашей эры запущенный из гигантской рогатки в космос, возвращался на Землю.

«Как-то там жена моя Мимиля? — с нетерпением ждал он встречи.— За два-то тысячелетия! Если плохо мумифицировали, развалится при первом же поцелуе».

...Он покинул Землю в сложный момент. Воды Нила начали загрязняться отходами гончарных умельцев. Дохли крокодилы. В Черном море исчезла черная икра. В Красном — красная. На священной для каждого африканца горе Килиманджаро таяла ледяная шапка. И не от жары — ее распиливали на куски браконьеры и продавали леденцы вождям враждующих племен для личных погребов и коктейлей. На вершине горы вымирал снежный человек. Дикарь был с белой кожей, светлыми волосами и голубыми глазами. «Если не успели закопать хотя бы один экземпляр в вечную мерзлоту, как мамонтенка Гошу, пропадет человек для музеев»,— подумал Фетюша.

Он взглянул в иллюминатор космической шхуны. Через пузырь голубой антилопы планета казалась тоже голубой. «Теплее было бы затянуть окно шкурой зебры,— поежился Фетюша.— Но тогда все в окне казалось бы полосатым».

Внизу что-то зажелтело. «Наверное, Китай,— подумал Фетюша.— Родина пороха». Он вынул огниво, высек кремнем огонь и поджег боковой двигатель. В иллюминаторе показались гигантские аэродромы инков. Они были в заброшенном состоянии и без космических шхун.

«Ага! — обрадовался Фетюша.— Инкская программа освоения космоса с треском провалилась!» И он удовлетворенно повернул к дому.

Вдали виднелись родные пирамиды. Тысячи рабов построили их для того, чтобы он — Нарасим Фетюша — не перепутал планету.

«Жаль, везу вести неутешительные,— подумал Фетюша.— Нигде, кроме родной Африки, развитых цивилизаций нет. Вдруг за плохие новости — голову с плеч?»

Он потянул вожжи управления на себя. Космическая шхуна на высокой скорости вошла в плотные слои атмосферы и, врезавшись в истребитель израильских ВВС, развалилась на части.

От космонавта до Земли долетел только один башмак. Его поднял кочевник-бедуин, примерил на левую ногу — он был мал, примерил на правую — башмак оказался не на ту ногу. Бедуин выругался и погрозил кулаком своему аллаху.

г. Ленинград

КОСАЯ ЛИНЕЙКА

Такие девушки, как Ольга, уже давно надоели Онегину, да и Пушкину тоже.

* * *

Гамлет был сыном покойника.

* * *

Бедная Лиза рвала цветы и этим кормила свою мать.

* * *

Глаза ее застыли в радостной позе.

* * *

Лермонтов родился у бабушки в деревне, когда его родители жили в Петербурге.

* * *

Сокол, ослабевши, садится на скалу и рассказывает Ужу о своем горе. Уж дает ему совет спрыгнуть со скалы.

* * *

Давыдов был матросом Путиловского завода.

* * *

Скованная земля не поддается ни лопатам, ни киркам, ни зубам.

* * *

Когда Барон опустился на дно, всплыли все его светские привычки.

* * *

После пожара бабушка сидела на кровати с обожженными руками. Вот что значит женщина на пожаре.

* * *

Сравнивая княжку Мэри с английской лошадью, Печорин тем самым намекал Грушницкому на то, что она брыклива.

* * *

Бедный, бедный Пьер Безухов! Элен наставила ему рога, а князь Курагин сделал из него дойную корову.

* * *

Черт дернул Фауста увлечься Маргаритой — и ему на старости лет забота, и ей тюрьма.

прислали О. Ипполитов (Запорожье), Г. Пархомов (Минск), И. Киняева (Брест), А. Гаврилов (Челябинск).

В номере

Проза

Борис МОЖАЕВ. Единожды солгавши. Трагикомедия (18)

Юрий НАГИБИН. Страдания цензора Красовского. Рассказ (44)

Наша публикация

Эрнест ХЕМИНГУЭЙ. Райский сад. Главы из романа (50)

Поэзия

Владимир СОКОЛОВ (15). Константин ВАНШЕНКИН (16), Валентин КУЗНЕЦОВ (39), Кирилл КОВАЛЬДЖИ (40), Александр ТИМОФЕЕВСКИЙ (42), Наталья АСТАФЬЕВА (43), Белла ВЕРНИКОВА (72), Алексаидр ЩУПЛОВ (73).

Публицистика

20-я комната. Заседание пятнадцатое, состоявшееся в городе Касимове (3)

***Юность — СПТУ.* «Невспаханная нива» (74)**

Наталия РАПОПОРТ. Память — это тоже медицина (76)

Габриэль Гарсиа МАРКЕС. СССР: 22 400 000 квадратных километров без единой рекламы кока-колы (82)

Критика

Андрей МАКСИМОВ. Неисчерпаемость детства (86)

Андрей ТУРКОВ. «Идти, не останавливаясь» (88)

Почта «Юности»

О. ХАНЕЕВ. Не забывать. Никогда! (91)

Культура и искусство

Н. КОРЕНЕВА. «Фараоново племя» в гостинице «Советская» (92)

Зеленый портфель

Александр ДУДОЛАДОВ. Рассказы (94)

Юрий БУКОВСКИЙ. Возвращение (96)

Косая линейка (96)

Оформление обложки Г. Мурышкина
Главный художник О. Кокин
Художник Ю. Цишевский
Технический редактор О. Трепенок

Адрес редакции: 101524, ГСП, Москва, К-6, ул. Горького, д. 32/1

Телефон для справок 251-31-22

Сдано в набор 03.02.88.
Подп. к печ. 26.02.88. А 12517. Формат 84×60¼.
Офсетная печать.
Усл. печ. л. 11,68. Уч.-изд. л. 17,75.
Усл. кр.-отт. 19,53. Тираж 3 100 000 экз.
Заказ № 1965.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда».
125865, Москва, А-137, ГСП, ул. «Правды», 24

© Издательство ЦК КПСС «Правда», «Юность», 1988 г.

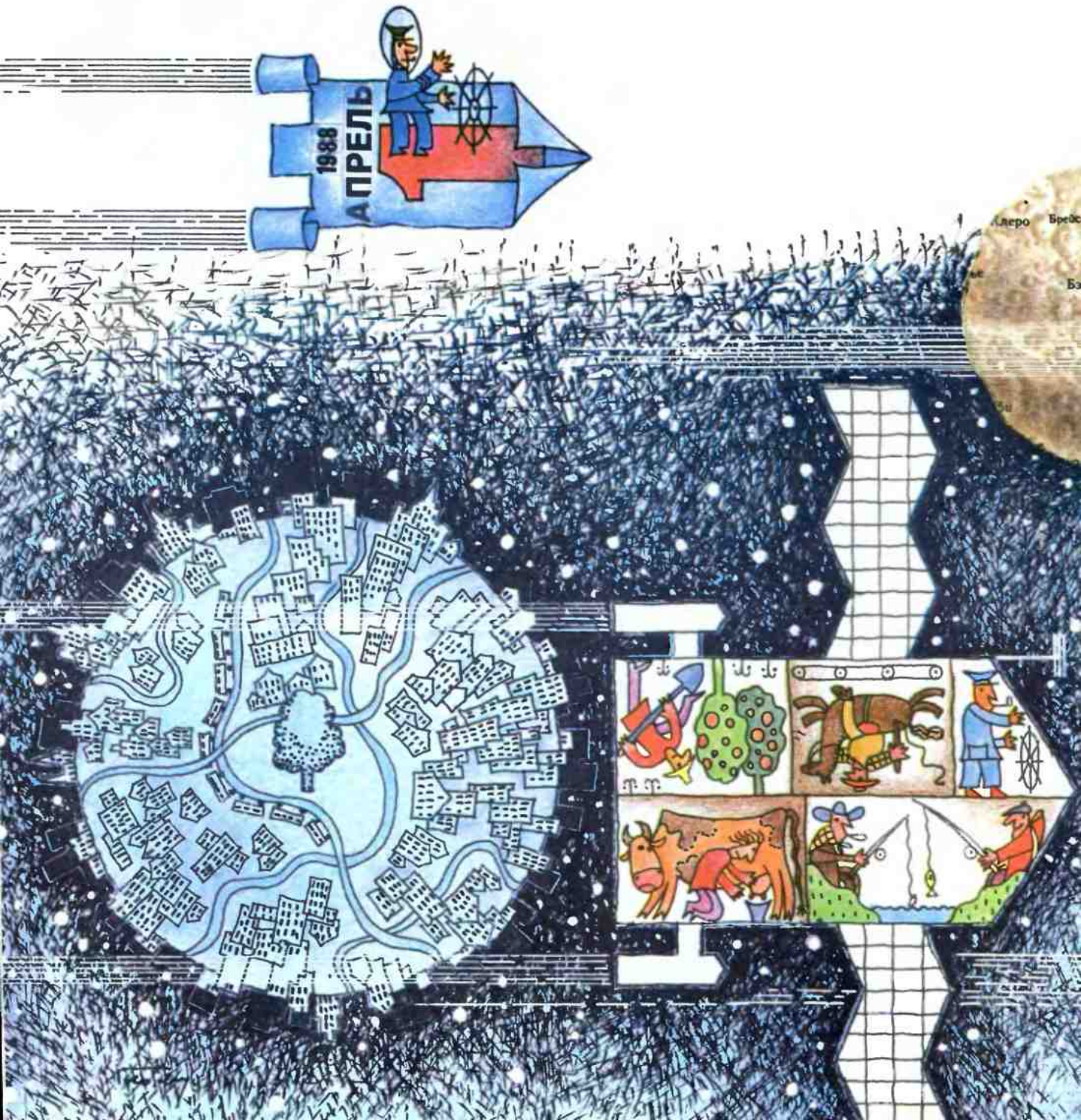
Возможно ли передать самое сокровенное в монументальной форме? Не только возможно — монументальное искусство, как это не кажется парадоксальным, способно передавать именно чувства наиболее глубинные, остро пережитые, а, значит, истинно сокровенные.

«Вдовы» и «Мать надеющаяся» — две крупные работы ведущих художников-монументалистов страны Л. Г. Полищука и С. И. Щербининой.

— Мы оба пережили войну лично и вместе со всем нашим великим народом,— говорит Л. Г. Полищук.— Вот почему эта тема для нас сокровенна. «Вдовы» — это кровь наша, боль всех матерей, крик, стон и плач тех, кто потерял самых близких. Нам хотелось сказать, что те, кто в залах заседаний ООН решает судьбу человечества, не должны терять ощущения, что речь идет в конце концов не о чьей-то победе, а о возможной гибели самых близких, самых дорогих людей. Сегодня в нашем новом мышлении главное — обращение не только к разуму, но и к сердцу человека, к его чувствам. И «Мать надеющаяся» — это именно такое обращение: только жизнь спасет жизнь!..

Когда-то, еще до войны, когда республиканцы в Испании вели бои с франкистским режимом, по старому Арбату ходили люди с копилками. Мы, мальчишки, несли в эти копилки свои гривенники от школьных обедов и неувиденных кинофильмов. Теперь, когда панно «Вдовы» и «Мать надеющаяся» были выставлены в клубе Русакова, мы сочли возможным установить в зале копилку для сбора средств в Фонд мира, как это было тогда, почти пятьдесят лет тому назад.

Л. ПОЛИЩУК, С. ЩЕРБИНИНА. Диптих.
«Заседание ООН»: «Вдовы», «Мать надеющаяся».

Юность. 1988 № 4, 1-96
Индекс 71120
Цена 70 коп.

8